

«ДН» — 2015-2016

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. *Существо. Роман***Заир АСИМ.** *Книга дней. Повесть***Наталья БИРЧАКОВА.** *Мысль изреченная. Фантазмагорические заметки о Гоголе, или Всеобщая теория всего***Валерий БОЧКОВ.** *Время воды. Роман***Резо ГАБРИАДЗЕ.** *Доктор и больной. Повесть***Хамид ИСМАЙЛОВ.** *Пляска бесов, или Большая игра. Роман***Елена КЛЕПИКОВА.** *Из жизни Марты. Повесть в рассказах***Виктория ЛЕБЕДЕВА.** *Без труб и барабанов. Роман***Афанасий МАМЕДОВ.** *Перезагрузка в Тунисе. Короткий роман***Марина МОСКВИНА.** *КРИО. Роман. Книга вторая***Юрий ОСИПОВ.** *Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной***Юрий ПЕТКЕВИЧ.** *Голубь в Казейках. Повесть***Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ.** *Новая повесть***Дмитрий СТАХОВ.** *Свет ночи. Роман***Алексей УСТИМЕНКО.** *Хмарь стеклянной Бухары. Повесть***Сергей УТКИН.** *История болезни. Повесть в рассказах***Левон ХЕЧОЯН.** *Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского*

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Олега БОНДАРЕНКО, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Мариам ПЕТРОСЯН, Сергея РЯЗАНЦЕВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Арслана ХАСАВОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые сочинения: Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Ицхокаса МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛОДОВА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА и других авторов



ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 8/2015



● **Гурам Одишария**
Очкастая бомба
Роман

● **Золотые страницы «ДН»**
*Т. Табидзе, П. Яшвили, О. Чиладзе,
А. Каландадзе, Ш. Нишнанидзе*

● **Григол Робакидзе**
Сталин как дух Аримана
Метафоры времени

● **Георгий Лорткипанидзе**
Грузия на распутье
От личной диктатуры к кулуарному правлению

● **«Сны о Грузии»:**
впечатления и воспоминания



8 '2015

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.06.2015.
Подписано в печать 30.07.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 9481. Цена свободная.

Дружба народов 8'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор	Александр ЭБАНОИДЗЕ
	Лев АННИНСКИЙ
	Леонид БАХНОВ
	Ирина ДОРОНИНА
Зам. главного редактора	Наталья ИГРУНОВА
	Галина КЛИМОВА
	Владимир МЕДВЕДЕВ
Ответственный секретарь	Сергей НАДЕЕВ
Зам. главного редактора	Александр СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Резо
ГАБРИАДЗЕ
Алла
ГЕРБЕР
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Александр
КЛЯЧИН
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Золотые страницы «ДН»

Тициан ТАБИДЗЕ. Всё кончится... *Перевод Наталии Соколовской (3)*;
 Паоло ЯШВИЛИ. Поэзия. *Перевод Яна Гольцмана (79)*;
 Отар ЧИЛАДЗЕ. Стихи. *Перевод Наталии Соколовской (131)*;
 Анна КАЛАНДАДЗЕ. Шла горами Нино. *Перевод Аллы Ахундовой (156)*;
 Шота НИШНИАНИДЗЕ. Тамерлан. *Перевод Владимира Леоновича (204)*

Проза и поэзия

Гурам ОДИШАРИЯ. Очкастая бомба. Роман. *Перевод Тамары Гаидаровой 4*
 Звиад РАТИАНИ. Отцы. Стихи. *Перевод Владимира Саришвили 65*
 Бесо СОЛОМОНАШВИЛИ. Мама умерла. Рассказ. *Перевод Нино Цитладзе 68*
 Бека КУРХУЛИ. Рассказы. *Перевод Анны Григ 80*
 Дато МАГРАДЗЕ. Джакомо Понти. Главы из поэмы. *Перевод Николая Голя 111*
 Нугзар ШАТАИДЗЕ. Два друга. Рассказ. *Перевод Ирины Модебадзе 124*
 Иракли ЛОМОУРИ. Рассказы. *Перевод автора 132*

Сны о Грузии

Борис МЕССЕРЕР. Дружбу нельзя предать **157**
 Наталия СОКОЛОВСКАЯ. Зеркалка **159**
 Михаил СИНЕЛЬНИКОВ. Нежность **173**
 Олеся НИКОЛАЕВА. Грузинская рапсодия **176**
 Олег ХЛЕБНИКОВ. След шаровой молнии **191**
 Бахытжан КАНАПЬЯНОВ. Зов дня ушедшего и дня грядущего **193**
 Вадим МУРАТХАНОВ. Все мы немного грузины **199**
 Анна БЕРДИЧЕВСКАЯ. Ниточка, иголочка, петелька, узелок и янтарная капля **202**

Метафоры времени

Григол РОБАКИДЗЕ. Сталин как дух Аримана. С немецкого.
Перевод Сергея Окропиридзе 205

Публицистика

Георгий ЛОРТКИПАНИДЗЕ. Грузия на распутье. От режима личной диктатуры
 к кулуарному правлению **220**
 Георгий НИЖАРАДЗЕ. На пути к Европе. *Перевод Динары Кондахсазовой 233*

Книжный развал

Лев АННИНСКИЙ. Излучение Кавказа **243**
 Наталия СОКОЛОВСКАЯ. Великий подвиг книги **245**
 Наталия МИМИНОШВИЛИ. Грузинский текст русской литературы **248**
 Ольга ЛЕБЕДУШКИНА. Срез **250**

Эхо

Гамарджоба, Сакартвело! Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ **254**
 Summary **256**

Золотые страницы «ДН»

Тициан Табидзе

(1895—1937)

Перевод Наталии Соколовской



* * *

Всё кончится. Всему придёт конец.
И не останется на свете очевидца,
Который описал бы наши лица
В тот час, когда срывали с нас венец
Любви, что не смогла осуществиться.

Кто станет вспоминать, как жили мы?
Как мы любили — вспомнят ли об этом?!
Но для того, чтоб вырвать нас у тьмы,
Воображенье мучает поэтов.

Надгробьем нашим станет нам сонет.
Он воскресит и озарит слезами
Всё, что для вас давно сошло на нет,
Но животрепетало между нами.

А под конец попросит он Творца —
В бездушных буднях и бессрочных битвах
Поэтов беззащитные сердца
Не обходить в живых Своих молитвах.

Октябрь, 1915

«ДН», 1995, № 12

Гурам Одишария

Очкастая бомба

Роман

С грузинского. Перевод Тамары Гаидаровой

Телеоператорам ВСЕХ СТРАН посвящается

Любой митинг — всегда один и тот же митинг

Как всегда, просыпаюсь задолго до рассвета. Кручусь, кручусь в постели, безостановочно переключая телеканалы... Местные, чужие, трансатлантические... В конце концов застреваю на местных. В ту же минуту пульт теряется в постели. Да где ж ты там прячешься, где, чтоб тебя... Ох, шайтан!..

Ньюс: микроавтобус, перевернувшийся на автобане, беспомощно растопырившиеся колеса, весь разодранный, обгоревший, дымящийся. А в микробусе — трупы, обугленные, тоже еще дымящиеся. Пожарные. Пожарная машина. Полицейские. Автомобиль полиции. Множество других автомашин.

С обеих сторон «пробки».

Надо было снять издали тоже. Из-да-ли тоже.

Это были студенты, они спешили на панихиду по отцу товарища. Почему так поздно?... Из двенадцати уцелели только двое: водитель и какой-то низкорослый паренек. Видимо, микро боком ударился о бордюр, потом перевернулся, и его протащило метров сто, наверное, в криках и воплях пассажиров, в скрежете металла о бетонку и бордюр. Говорили, что его баки были полны бензина, и скорость — не меньше ста двадцати. Может, кого-то неудачно обогнал или его самого неудачно обогнали. Да и автобан — из новых, выстроен наполовину.

Мне надо было снять и издали. Около полуночи, когда наша машина пробиралась сквозь «пробки» к TV-компании, хорошо были видны и дым, и огни автомобилей. Но мы спешили. Больше всех спешила Нини. Ее торопил

Гурам Одишария — родился в 1951 г. в Сухуми. Окончил Сухумский пединститут. Работал в СМИ Абхазии журналистом; возглавлял литературный журнал «Рица». С 2012 г. по 2014 г. был Министром культуры Грузии.

Прозаик, поэт, автор двух десятков книг, переведенных на многие языки. Лауреат ряда литературных премий.

продюсер, намертво впившийся в мобилу Нини. Материал пустили сразу, как приехали, без монтажа, «грязный». Несмотря на нескончаемый лепет по мобиле, к приезду в TV текст у Нини был почти готов.

Я вернулся домой за полночь. И все-таки проснулся до рассвета. Как всегда.

Нет, все же трупы (или покойники? Как-то слишком библейски звучит — покойники) надо было снять крупным планом. Другой оператор так бы и сделал: ведь налицо — десять трупов!

Вытаскиваю с полки пистолет, спрятанный за выцветшими книгами. Вынимаю обойму, по одной вытряхиваю из нее пули. Пули падают на одеяло, глухо позвякивая друг о друга. Ну и как ты поживаешь, Святой Петр?! Петр-р-р Бер-р-р-е-тт-а! Arrive deici, амиго! Петр-р-ручио!

Не сегодня — завтра убью его! Завтра соберется намного больше народу. Позавчера было 50 тысяч. Вчера — 70, завтра толпа будет больше 100 тысяч. Может, и 150. Тем более, что они начали голодовку.

Завтра, завтра убью. Завтра!

Возвращаю мои пули в обойму моего пистолета, и все это — вставляю в «Беретту». И становится смешно. Представляю, какое у меня сейчас лицо. Собираюсь человека прикончить — а мне смешно. Ну и шалунья же ты, жизнь! Засовываю «Беретту» обратно за пропыленные книги.

Спускаюсь в магазин, покупаю чай. У меня есть немного сыра, кусок хлеба. Ржаного хлеба. А сигареты кончились. Как обычно бывает в фильмах — у главного героя неожиданно кончаются сигареты.

Во дворе минут пятнадцать ожидаю Нини. Такая она — для нее оговоренное время ничего не значит. Холодно. Ноябрь. Время от времени срывается дождь. Наконец-то на повороте к моему дому появляется синий «Фольксваген».

Пыхтя, взбирается по подъему «фольксик». И Нини всю дорогу пыхтит, как и ее автомобиль. Домашние собаки и их хозяева с годами становятся похожими друг на друга, точно так же и машины со своими владельцами.

Сначала заезжаем на TV. Беру камеру. Нини ненадолго задерживается у продюсера. Минут через десять мы уже на митинге.

«У-хо-ди! У-хо-ди! У-хо-ди!» — скандирует толпа перед зданием парламента. Пожалуй, уже больше ста тысяч. Жаль, надо было сегодня взять его с собой.

Прямо посередине проспекта, или в самом центре митинга, устанавливаю камеру, поправляю штатив. Проспект закрыт для автомашин. Ну, ноженьки мои, крепитесь, не подведите! Должны выдержать — целый день нам стоять здесь. Я надеюсь на вас. И вы тоже, нервы мои! Нер-виш-ки!

Моя Нини затерялась в толпе — ищет респондентских клиентов.

Иногда в торопливо пробегающих свинцовых облаках призрачным «летучим голландцем» проскользнет серебристый диск солнца — как в фильмах про Гарри Поттера. Иные из облаков наполовину освещены, то есть полупрозрачны, другие же — сумрачно-черные и тучные.

И сам митинг тоже свинцового цвета. На этом месте — на проспекте перед парламентом — собравшийся в любое время любой митинг черно-свинцового цвета. И так уже лет двадцать. Необъезженное, неукрощенное пространство, мустанг какой-то. Проспект-мустанг.

Вторая наша камера работает на ступеньках парламента, третья — на улице, круто сбегающей с Зеленой горы.

Значит, первая — моя. Камера. Я снимаю выступающих, снимаю издали. Сегодня политики авансены выступают редко, все больше неизвестные и малоизвестные говоруны. Поют, читают стихи, орут. Иногда «зуммирую» лица

митингующих: вот девочка, одна из участниц конкурса задниц; мужчина, который прямо-таки с благоговением держит в руках только что купленный лаваш; седая женщина, которая крестится так, словно в трех ее сложенных щепотью пальцах зажат гвоздь, и она поочередно вбивает его: в голову, в живот около пупка, потом — в правое плечо, в левое, и снова в голову... А тот тип — в одно время популярный до тошноты политик, чей взгляд раньше был похож на взгляд боксера, готового нанести нокаутирующий удар; еще один седовласый мужчина, у которого такое лицо, — он, наверное, плачет, напиваясь...

Нини ведет какого-то клиента. Перед камерой почти у каждого — ангельская улыбка и богобоязненная поза. Потом другого типа приводит, третьего... Я, Нини и моя камера выглядим, думаю, забавно. Если к тому же посмотреть немного издали — нас и не заметить, потеряемся в толпе митингующих. Из еще большей дали — и сам митинг потеряется, растворится в просторах Земли. А если смотреть из еще, еще большей дали — и сама Земля растает, исчезнет в Космосе. Еще, еще и еще дальше...

И сегодня я устану до изнеможения, а ночью мои кости-суставы заночуют, заскулят, как щенки кавказской овчарки, покинутые в горах темной ночью.

А тот... Он и сегодня здесь. Я сразу узнал его по длинным волосам. Марио Чимаро, да?! Завтра я тебя отчимарозю. Я и мой Святой Петр.

Я выстрелю в тебя почти в упор, задырявлю пулями сбоку, трупизирую тебя филигранно. Камера будет стоять сама по себе, будет работать за милую душу, закрепленная на штативе. А я подойду к тебе совсем близко и выстрелю как раз в тот момент, когда толпа будет выть не «У-хо-ди! У-хо-ди! У-хо-ди!» или еще что-то бранное, нет, я выстрелю, когда все будут скандировать: «Ро-ди-на! От-чиз-на! Ро-ди-на! От-чиз-на! Ро-ди-на! От-чиз-на!» — протяжно, с чувством, словно заздравный тост. Мать твою!.. Ни одна душа не услышит выстрела, и ты не услышишь, ведь у PIETRO BERETTA и глушитель имеется. Утром я забыл совсем, не вспомнил о глушителе. Pardon. В бок вмажу тебе, чтобы пули прошили-разодрали сердце-печень-кишки. Правда, это не блуждающие пули, но и они, как спринтеры, промчатся в твоём теле, перехватят дыхание и остановятся лишь после твоего последнего вздоха. Так и будет! Увидишь, братан!

И может, хоть тогда, наконец, успокоится моя душа!.. Твою мать!..

Ладо

С утра мы крутились на «Фиате» Ладо возле самой линии фронта: снимали солдат, пейзажи в черном дыму (в нескольких местах горела военная техника), были в окопах. Раз даже чуть не накрыли нас миной с другого берега реки (с той стороны линии фронта) — желтый «Фиат» Ладо издали хорошо был виден. Я сидел за рулем, Ладо — снимал своей новенькой японской видеокамерой. Потом мы вернулись в город. Дорогу мне показывал Ладо. Иногда он снимал и улицы города. Мы свернули на приморский бульвар. Солнце, розовое, как оперенье фламинго, опускалось на горизонте. Мы проехали мимо двухэтажных домов. Возле одного из них глухо урчал танк. Ладо тогда снимал море и солнце. Когда мы приблизились к ресторану, стоящему на камнях у самого берега, неподалеку от нас в море что-то взорвалось. Мы остановились. Оглянулись. Стоявший у танка солдат наводил на нас свою «Муху». Задним ходом мы возвратились к танку. Сквозь грохот танка мы все-таки разобрали рев солдата: «Зачем нас снимал?! Не снимать нас! Отдай камеру!» Мы не выходили из машины. Солдат

бросился к двери со стороны Ладо, пытаясь отнять камеру. Ладо камеру не отдавал. Она была включена и снимала нашу возню. Как оказалось, танкисты приехали на разборку с кем-то: «Оставьте в покое наших телок!» Ствол орудия был наведен на чей-то балкон на втором этаже: «Уничтожим!» На балконе стоял офицер и кричал танкистам: «Ребята, это же недоразумение, мать их... Сядем, побазарим, мать их...» Когда я остановил машину, Ладо положил камеру у себя в ногах. В это время танк взревел и с грохотом пополз задним ходом прямо на нас, весь окутавшись густым сизым дымом. Солдат успел отскочить. За ревом танка я не услышал, завелась наша машина или нет. Пока я разбирался, траки танка со скрежетом опустились на капот машины со стороны Ладо. Мы с Ладо вцепились в ручки дверей, но их заклинило наглухо. Обе. Гусеницы танка с капота медленно перебирались на крышу «Фиата». «Фиат» сминался, как пивная банка. Я ухватился за Ладо. Ноги его потихоньку исчезали в смятом металле, тело, плечи... Голова Ладо лежала возле моей головы. Он еще дышал. Я выглянул наружу. Думал, в последний раз вижу море и заходящее солнце. Крыша ложилась мне на голову, я едва дышал. Несмотря на оглушительный рев танка, я услышал, как хрустнуло и сломалось мое плечо. И я потерял сознание. Когда пришел в себя, я лежал уже на асфальте и кто-то обливал меня водой. По-моему, это была женщина. В этот момент со стороны ресторана показалась «Шилка», я вскочил и побежал к какому-то дому. Кричал: «Идут! Всех передают!» В доме мне навстречу выскочила молодая женщина с крашеными волосами. Я прижался к ней, спрятал голову у нее на груди: «Всех передают, идут! Идут!» Женщина гладила меня, даже, кажется, целовала. Меня с трудом от нее оторвали: «Тебя надо отправить в больницу». — «Задают!» — «Не бойся, это наша «Шилка», наши они». — «А вы-то сами, вы — кто?!» Танк стоял возле «Фиата» Ладо. Я так и не разобрал, включен был его мотор или нет. Пропали все звуки и все цвета. Желтый «Фиат» Ладо стал белым. Ладо лежал на асфальт между танком и «Фиатом» — совершенно почерневший, будто кто-то вылил на него ведро туши. Мне показалось, что солнце поднялось к зениту. Я опять отключился.

Кладбище ног и рук

По коридору без остановки ходит отец парня, которому только что отрезали ногу, курит сигарету за сигаретой. Больше там никого нет — в коридоре. Из палаты слышно бредовое бормотание раненых. Хирург просит меня помочь. Мы идем к лестнице. Под лестницей стоит ящик от снарядов. В ящике — уложенные в полиэтиленовые пакеты ампутированные конечности раненых солдат. Там три отрезанных ноги и одна рука. Через заднюю дверь мы выходим во двор. Я несу три пакета, хирург — один.

Вскоре мы оказываемся на больничном огороде.

Складываю пакеты на землю.

В огороде, возле грядок с помидорами и огурцами, заступом копаем яму. Потом вторую, третью, четвертую. Хирург достает из кармана листок бумаги, рвет на четвертинки, пишет фамилии солдат и кладет по одной в пакеты.

Я подсвечиваю ему фонариком. Затем мы укладываем пакеты в ямы и засыпаем землей. Ямы становятся похожими на маленькие могилки. Из сложенных неподалеку досок берем четыре узкие дощечки и втыкаем возле могилки. Земля мягкая, заточенные дощечки легко входят в нее.

Пишем на дощечках фамилии хозяев конечностей. Фамилии пишу я, авторучкой, а хирург держит фонарик.

В огороде больницы уже около сорока таких могилочек. Крошечное, мини-кладбище, кладбище рук и ног. Большинство этих могилочек никто не потревожит, но если умрет какой-нибудь из их хозяев, тогда придут, заберут части тела умершего — чтобы похоронить вместе с телом. На этот раз в большой, настоящей могиле.

Хирург продолжает копать ямы:

— Они нам завтра понадобятся.

Мы готовим пять новых погребальных ям — для рук и ног.

Вернувшись в больницу, сразу же засыпаю. Сплю в кресле, прижав к груди видеокамеру.

Глубокой ночью неподалеку от больницы разрывается несколько снарядов. Сначала сверкнет, как молния, потом раздастся взрыв. Да упали снаряды хоть мне на голову, все равно не пошевелюсь, так устал.

На рассвете выхожу во двор. Один снаряд разорвался у самого кладбища конечностей. Вокруг разбросано несколько рук и ног. Доски, земля, руки, ноги... Все перемешалось.

Из глубины огорода выходит хирург, в руке у него нога.

— Принеси заступ, будем копать ямы.

— Да, но...

— Что «да, но...»?

— Чья рука, чья нога?..

— Я все помню, с фамилиями... Заступ неси...

Копаем ямы, собираем разбросанные по огороду доски, руки, ноги...

Выбираю кадры

Студия TV, где работаю — «NEW VISION», — попросила военные кадры. Бегу домой, и из старого шкафа в коридоре выволакиваю со всех полок запыленные кассеты. Включаю телевизор, видеомаягнитофон. Выбираю кадры. Дорога с ободраным асфальтом. Капот нашего побитого «Фиата». Въезд в село. Кое-где сожженные дома. Полуразрушенная психиатрическая больница. Зима, война. Вокруг ни души. Второй этаж психушки. В комнате с выбитыми стеклами, №14, на старенькой железной кровати сидит старушка, на вид лет семидесяти (а может, и намного меньше). Закутавшись в одеяло. Сидит, уставившись в пол, точнее — в одну точку на полу. Позже нам сказали, что она, прозванная здесь «Царица Тамара», уже лет тридцать находится в здешней психушке. Через три месяца после начала войны вместе со всей деревней бежала от войны и психбольница. «Царица Тамара» тоже бежала. Но через неделю вернулась — в свою психбольницу, в свою комнату, на свою койку. Вне психбольницы для нее везде была чужбина.

Этот материал не подойдет студии NV.

Кассета. Просматриваю кадры

Танк-мародер. Нагруженный коврами, стульями, одеждой. Там же и телевизор. Кавказское чудовище.

Кассета. С надписью «Вой» (то есть отснятая во время войны)

На Приморской набережной три солдата расстреливают мужчину. Мужчина средних лет, в гражданском. Плеск волн, «голоса» «калашниковых». Мужик кричит: «Пацаны, вы что?! Пугаете, да?! Ну, какой я изменник! И вы поверили, что я указал им дорогу?! Ладно, хватит вам, довольно!» Слова его тонут в звуке автоматных очередей. Человек падает, содрагаясь всем телом.

Вой

Снятое другом: война, лес, лето, линия фронта. Куда-то несется корова с автоматом на шее. Вдогонку за ней бежит солдат, настигает, отнимает оружие. С той стороны, из окопов противника, слышны свист и хохот. Никто не стреляет в солдата. Пригнув голову, он бегом возвращается в свой окоп.

А дело было так: недалеко от окопа паслась корова, все ближе и ближе подбираясь к окопу. Голодные солдаты решили поймать ее, затащить на веревке в окоп и заколоть. Веревки-то и не было. Один солдат высунулся из окопа, накинул на шею приблизившейся корове ремень своего автомата, потянул. Испуганная корова так дернула головой, что вырвала из его рук автомат и припустила в сторону позиций противника. Солдат предпочел смерть потере оружия, но со стороны противника никто в него не выстрелил.

Вой

Берег моря. Солнечный день. Солдаты «рыбачат» — бросают в море «лимонки». Глухие звуки разрывов. Снимаю издали. Один из них тащит противотанковую гранату. Выбегает самый здоровый, эдакая дубина, и изо всех сил зашвыривает гранату подальше в море. Граната раскрывается в воздухе и медленно опускается на парашюте. Солдаты не ожидали этого. Видимо, никто из них никогда раньше не видел гранаты с парашютом. Морской ветерок относит гранату к берегу, прямиком к ним. Испуганные солдаты опрометью бегут от нее. Граната взрывается на прибрежном песке.

Тогда солдаты еле остались живыми. Я тоже. Хорошо еще, что снимал издали.

Кадры, кадры

Отчаянно, по-женски кричит горящая заживо собака и несется к кустам. Я не успел снять, как детки участников пикника облили бензином бродячую собаку и подожгли. Хотя снял, как перед этим прикармливали собаку и детки, и их родители.

Кадры, кадры

Человек из правительства. Иностранцы, иностранцы. Еще один правительственный чиновник. Иностранцы. Чиновники из правительства передают право собственности на какой-то курорт, сроком на пятьдесят лет. Красивые девушки вносят огромный белый торт — горный мини-курорт, заснеженный, с белыми горами, лыжными трассами, домами, с горной узкоколейкой и крохотным поездом. Потом вносят зеленый торт — с хвойными мини-лесами, с дворцом, с фонтанами из минеральной воды. Разрезают и белый, и зеленый торты. Разносят на тарелочках. Улыбаются. Пьют шампанское.

Клаудия

Я познакомился с Клаудией утром, ранним-ранним утром. Тем ранним-ранним утром, когда меня никто не узнал. Я столкнулся с соседом, поздоровался, а он не узнал меня. Но кивнул головой в ответ. Не узнал меня и зеленщик. И продавщица семечек тоже. Я подумал, может, я вчера вообще в автокатастрофу попал или во сне брожу, может, я — мертвый и потому меня никто не узнает.

Я проверил, отражаюсь ли в тонированном стекле стоящего у тротуара автомобиля. Да нет, это я, из плоти и крови. Я есть «я». В стекле следующего автомобиля еще раз изучил собственную анатомию. В тонированных стеклах мы хорошо отражаемся — и деревья, и дома, и люди. В городе почти на всех машинах затонировали стекла. Ты смотришь в окно на хозяина машины, но не видишь его. Он смотрит на нас и нас видит. Как в фильмах про секретных агентов.

Да-а, в то утро я должен был убить Чимаро. Марио. Может, потому и не могли меня узнать.

Когда ты очень хочешь убить кого-то, тебя не узнают и не видят.

А бывает — некоторые на улице со странным любопытством разглядывают меня. После этого в скором времени обязательно заболеваю. Перед убийством Чимаро, как перед болезнью, по-видимому какие-то нездешние сущности сопровождают меня, а люди чувствуют их или видят — третьим глазом.

Клаудия стояла возле автобусной остановки. Как выяснилось позже, ожидала такси. Вскоре понял, что она — из Европы. Мне показалось, что я попал в какой-то фильм семидесятых годов прошлого столетия — красивая молодая блондинка ожидает возлюбленного на остановке автобуса.

Я остановил машину. Улыбнулся ей и проинглизировал:

— Don't you wait for me?

Она улыбнулась в ответ и сказала мне на моем родном языке, только что выученном и неважном:

— Почему иногда ты обычно опоздаешь... вы?

Так я познакомился с этим милым и странным существом. Она оказалась журналисткой — в ее рюкзаке лежала видеокамера. Она торопилась на открытие новой вышки «Super Line»-а.

— Я тоже еду туда, — не растерялся я.

Я позабыл о Чимаро. С ума сойти!

— Я тоже журналист, — представился я. А это уже была чистая правда. Она обрадовалась.

Мы отъехали от города километров на двадцать.

На одной из зеленых гор, на верхушке огромного железного креста смонтировали вышку «Super Line»-а. На открытии присутствовало около двадцати человек. После коротких выступлений владельца железного креста и менеджера «Super Line»-а верующие опустились на колени, а остальные сразу же задействовали свои свежеподключенные мобилы. Я заснял крест с вышкой, антенну, людей. Но в моих кадрах чаще всего можно было видеть Клаудию.

Потом я пригласил ее в ресторан, в «Золотой фазан». Там, где стоит «Золотой фазан», есть горячий серный источник. Согласно легенде, вскоре после рождения Христа, так лет через двести-триста, какой-то царь, охотясь, подстрелил из лука фазана. Но судьба решила, что фазану мало будет одной смерти, и упал он прямо в ту горячую воду. Короче, сварился в источнике. Довольный своим успехом, царь и великий стрелок приказал построить на этом месте город!

Построили. А потом, недавно, всего лишь два-три года назад, возле самого источника построили и ресторан.

В «Gold Pheasant»-е нам поднесли курицу. Курица была как бы фазаном, украшенная искусственными перышками и крыльями золотого цвета.

— Это фазан? — спросила меня Клаудия.

— Курица под гранатовой подливой.

— Да, но... А фазан?

— А фазаны все давным-давно улетели.

Клаудии не понравилась жареная курица, украшенная фазаньими перьями. Мы вскоре покинули ресторан, переполненный народом, песнями и нестройным шумом.

Клаудия — жительница Лондона, но сама она парижанка. Лондонская француженка. Она работает в Лондоне, часто бывает на Кавказе. Снимает и документальные фильмы. Для меня иногда наши с Клаудией отношения означают слияние душ Аполлинера и Шекспира одновременно. Я не преувеличиваю. У нее синие-синие глаза, белая-белая кожа и красные-красные губы. Она как бы повторяет цвета флага своей Родины — Франции, и такая красивая, что это всегда меня пугало, да и сейчас пугает.

Когда ласкаю Клаудию, в мои ладони переходит ее теплая и нежная энергия и сердце становится легким, как парящий в воздухе пушок одуванчика.

После той встречи мы часто бывали вместе. Снимали, как шеф полиции уничтожал перед камерами и микрофонами посеы мака, из которого наркоманы варили себе отвары и вводили в вены.

Снимали и уничтожение марганца (наркоманы марганец используют при изготовлении наркотических растворов).

Сняли и запрет забора воды из истока одной реки, про которую тот же шеф сказал, что из воды источника наркоманы также получают свое лекарство, они варят его прямо из этой воды. У истоков этой реки разместили сто человек с целью обеспечения круглосуточной охраны.

Сняли мы также и презентацию американского прибора, измеряющего содержание в воздухе паров опиума. Вместе изучали кавказский воздух. Оказалось, что по содержанию наркотиков в воздухе мой город занимает седьмое место в мире. Об этом сообщали и СВВ и NNC.

Дома у Клаудии есть коллекция привезенных из разных стран камней и веток. Еще у нее есть китайские собачки — Аида и Шанаи. Стены ее спальни увешаны фотографиями, снятыми в разных городах, а фотографии исписаны текстами на несуществующих языках.

У Клаудии фигура Клаудии Шиффер, а груди ее — как у молодой Софи Лорен. И в минуты любви она стонет, как стонут женщины из порнофильмов. Она не похожа ни на одну из женщин моей жизни. Когда она в постели шепчет что-то по-французски, мне кажется, что это другая женщина, а шепчущая по-английски Клаудия — совсем другая. Я прошу ее говорить со мной то на одном языке, то на другом, то на третьем... А иногда прошу помолчать. И когда она умолкает, исчезают и время, и пространство, и я до безумия счастлив.

А однажды, когда мы были в доисторическом скальном городе, она показалась мне похожей на пещерный рисунок, нарисованный миллион лет тому назад. Она часто переносит меня в мир мифов.

Возвращаясь из скального города, мы устроили завтрак на берегу какой-то фригидной реки. Пир на траве. Моне. Мане. Много света, хачапури, помидоры и вино. А Клаудия тогда была похожа на ту самую фригидную реку.

Когда я впервые очутился в Лондоне, мы с Клаудией вдруг оказались в самом центре митинга на главной площади против войны в Ираке.

Этот митинг оставил далеко позади все митинги Кавказа — там шумело народу до двух миллионов, так писали газеты. А война все равно началась.

Мы вместе были и на войне в Ираке и вместе проводили тело погибшего голландского журналиста на его родину.

Дома самым приятным отдыхом для нас было лежать в постели да иногда бездумно смотреть бесконечные латиноамериканские сериалы. Особенно развлекало, когда вдруг на экране выплывала неизвестно откуда бегущая строка: излечиваю геморрой... продаю барабан и гармонию... кого беспокоят запоры, обращайтесь ко мне... имею ультрасовременное лекарство от вшей... минисупермаркет «Голливуд» приглашает...

На банкетах мы приветствуем встречные улыбки, как перелетных птиц. На банкетах, сверкающих полными фужерами и хрустальными люстрами. И на скромных вечеринках-парти... Вольничали и смеялись, а потом вспоминали — со смехом — мини и макси вулканы наших стрессов: войны и укусы ос в детстве, взрывы авиабомб и то, как страшно ругался отец в то время, когда мы сидели в животиках у наших мам.

Когда Клаудия включает свой ноутбук, на экране медленно всплывает золотистый японский иероглиф «счастье», который одновременно иероглиф и Фудзияма. Фудзияма и... Короче, что-то жутко порнографическое...

После знакомства с Клаудией я потерял ощущение своего возраста — я то ребенок, то старик. Пропало ощущение жизни и смерти — я миллион раз умер в ней и вместе с ней и миллион раз воскрес, и даже не осознавал толком, когда я был или есть живой и когда — мертвый, и что вообще со мной происходит. Интересно, спецслужбы какой планеты подослали ко мне Клаудию?!

Даже одежда Клаудии сексуальна, пропитанная нездешними ветрами. Ветрами пустынь и морей и дальних межпланетных дорог. Ее глаза синие-синие, невиданные на Земле, они — брызги Океана, существующего где-то в другой галактике. В предыдущей жизни она была моей Джульеттой.

Вот уже третий год она пишет мне письма на моем родном языке. Как только на экране моего компьютера промелькнет золотистый фазан, я уже знаю, что она мне написала новое письмо. Золотистый фазан — это Клаудия.

Она изучила географию моего города и всей остальной моей страны по похоронам. Так, недавно мы в приморской деревне оплакивали погибшего нашего друга журналиста...

В последний раз мы вместе снимали бомбежку родного города Сталина. В городе разрушились некоторые дома, но памятник вождя не пострадал. Это бомбинг, вождь!

Сняли и это — устроенный для солдат подиум, прямо на линии фронта. Раздобыли интересный материал — погибли три девушки-модели и пятеро солдат. А семеро солдат были ранены. Солдаты прямо с подиума стреляли из гранатометов. Мировые телеканалы показали его. Крутой получился сюжетец.

А еще — затопленные военные суда в порту. Маленькие суденышки. Мы засняли и эти кораблики и военные катера. И те и эти — затопленные. На мачте полузатопленного кораблика сидела чайка и кричала. Отдыхала.

Только раз мы оставили дома видео и фотоаппараты. Мы пошли на море просто отдохнуть. На море для отдыхающих бедняков. Тогда не было войны. И война отдыхала, как чайка, сидевшая на мачте кораблика. На пляже крестьяне продавали вареную кукурузу, хачапури, семечки, мороженое. Даже живого

зайца продавали. Шарики, надувного льва, слона, жирафа, покачивающихся в воздухе на веревочках, как цветные поплавки... Когда мы увидели торговца, обвешанного цветными поплавками, пожалели — надо было взять хоть один фотоаппарат. Пляжный фотограф незаметно сфотографировал нас. Мы дали ему денег. Фотограф таскал за собой на веревке заплаканного медвежонка с перевязанным плечом. Глядя на медвежонка, Клаудия расплакалась.

У моря сила притяжения Клаудии была куда больше, чем у земли.

По ночам мы включали кондиционер. Клаудия складывала на комод свое портативное богатство — сережки и единственное кольцо. И мы не смотрели телевизор.

В кафе мы почти пьянели. Только Клаудия пьянела совсем немножко, со стороны почти не заметно. Когда мы вот так почти что пьянели, безвкусная музыка в кафе притихала, уменьшаясь, и вырастало, увеличивалось море. И сама Клаудия менялась — ее становилось в семь, в девять раз больше, чем была на самом деле.

На потолке нашей комнаты жили несколько паучков. Среди них была одна большая паучиха. Наверное, паучиха-мама. Мы лежали и задумчиво наблюдали за созвездием пауков, как за маленькой моделью Вселенной.

Там, у моря, я совсем не боялся очкастой бомбы. Как только я начинал предчувствовать ее приближение, я целовал Клаудию, целовал и ласкал и гладил ее волосы, плечи, груди и бедра... А потом устремлялся туда... И проникал туда — в Клаудию, всем телом, ногами, плечами... Как космонавт влазит в свою капсулу. Я готов был втащить туда и наше ложе. О Боже!.. Разве могла бы найти меня там очкастая бомба?! Конечно же, нет! Искала, искала, искала меня очкастая и потом возвращалась назад, в космос, и замирала где-то над Тихим, или Атлантическим, или Индийским океаном. А я дооолго нежился там — в Клаудии — и только изредка выглядывал в иллюминатор.

Монолог автомашины (Из спектакля «Очкастая бомба»)

Я ударил его. Я узнал его и как врезал, сразу же. Не раздумывая. Я так долго ждал этого момента. И вот, наконец-то! Я ударил его не смертельно, только ногу ему сломал. Это ничего — он быстро поправится.

А он, разумеется, ни о чем не догадался. Идиот.

Я узнал его издали в этом безумном и одурманенном городе. В городе, в котором странно мечется душа планеты. Где намешаны и другие города — восточные города, западные, а еще — города горные, небесные, подземные. А также люди других городов. В городе, где постоянно ждут Вселенского человека, который придет и скажет Вселенское слово. Бедный, бедный город. Бедный.

Этот придурок не узнал меня. Где ему было узнать, новый хозяин меня перекрасил.

Он вышагивал по тротуару, тут я его и ударил. Прохожие собрались. То на него смотрели, то на моего нового хозяина, и изредка — на меня, наполовину въехавшего на тротуар.

Только уличная собака поняла, что произошло на самом деле... Подошла и заговорила со мной, обнюхала мои колеса, на одном из них обнаружила приклеившуюся жвачку, лизнула ее и потом пописала на колесо, что означало: я твой амиго, не дрейфь!

Мой новый хозяин был поражен. Он был уверен, что затормозил вовремя, что крепко держал руль. Не мог же он догадаться, что все это я сам сделал. Бедный мой новый хозяин, я перед ним виноват, но я не вытерпел и врезал тому придурку!!!

Тому, с поломанной ногой, моему старому хозяину, раньше, когда я принадлежал ему, всегда казалось, что иной раз, пьяный до потери сознания, он сам управлял мною. А ведь это я привозил его домой, чисто и красиво. А на следующее утро он и вспомнить не мог, каким образом добрался до дома. В действительности, ведь это я был его хозяином.

Всю жизнь вот так и берег я его, а он... Убегая от войны, он оставил меня на перевале. Так он отблагодарил меня за верность. Наша собака целый месяц не уходила от меня. Думала, может, хозяин вернется, но потом, когда выпал снег, куда-то пропала. Видно, слишком оголодала. Бедный верный пес — из любви к нашему хозяину все ласкался ко мне, положит, бывало, голову на колесо и дремлет. Хотя вообще-то собаки не любят нас, автомобилей, они часто погибают на дорогах по вине наших дебильных хозяев, да и по нашей вине тоже.

Потом кто-то по моему номеру узнал, чьим я был. Там же на перевале узнал меня. Позвонил ему, и тот по телефону же и продал меня. Сразу продал, даже не приехал, даже не взглянул на меня, в сердце его даже ни словечка благодарности для меня не нашлось. Если бы нашлось, я бы почувствовал, узнал бы.

Сейчас я сам удивляюсь, за что я так его любил. Он ведь был таким же подлым и грязным, как и другие люди. В конце концов, ты же — машина, ну, и оставайся ею, и нечего выпендриваться. Ведь его ложь нам всегда дорого обходилась — и собаке, и растениям в нашем дворе, да и мне тоже.

Сколько раз я развозил по домам целыми и невредимыми провонявшими вином и сигаретным дымом его так называемых друзей, еще более двуличных и злокозненных, чем он сам, секунд-мужиков. Чего они только не говорили о нем за его спиной, какие гадости, это знал только я. Он-то догадывался, потому что и сам он был не лучше их, и, короче, так вот они и жили, в ладу и согласии.

Но вот одного из них мне никогда не забыть — больше всех он льстил ему и подлизывался, и больше всех его же и ругал. Разумеется, за спиной.

Спасибо тебе, Господи, что произвел меня на свет автомобилем, а не человеком! Трижды и многожды спасибо тебе, Всевышний!

То тащил с собой какую-нибудь проститутку и кувыркался с ней на моих сиденьях, у меня дух спирало от запаха спермы. Обманывал жену и детей... О, хранителем каких его тайн был я!

Спасибо, спасибо тебе, Боже!

Леса и озера, горы и долины показывал я ему, возил повсюду, но все воспринимал он равнодушно, без волнения сердца. Хоть бы десятой долей моего сердца обладал бы этот бедняга.

Иногда он включал музыку и будто бы слушал ее. Что он мог понять? Только я слышал эту музыку. Только я понимал и музыку и ее создателей. Я ведь был их амиго. Их музыка никогда не уставала звучать во мне, она струилась, как кровь по жилам, и потому мне никогда не забыть той музыки.

О, с каким восторгом понесся я в зеленой тени деревьев в тот день, когда увидел его. В зеленой прохладе деревьев летел я, как на крыльях, чтобы утолить свою жажду мести.

Повторяю, я ударил его не смертельно, только ногу сломал. Если он опять попадется, я опять вмажу, врежу, прибью. И не буду долго раздумывать. Снова

сломаю ему ногу. Может, хоть в больнице у него в башке прояснится, почему с ним происходит такое.

Врежу ему...

Да кто же был по жизни более верным ему, этой ошибке природы.

Морской конек

Утром, на рассвете, мне приснился отец. И еще два ангела. Так обычно отец предупреждал меня: посмотри за собой, не заболеть бы тебе. Целый день я чувствовал себя хорошо, но ощущал, что хоть один ангел постоянно сопровождал меня, кружил над моей головой.

Меня и Поля, канадского журналиста, привезли в аэропорт. Двухпропеллерный полувоенный самолет раздражающе рокотал, но я все же отказался от наушников, предложенных пилотом. Сотрудники ООН всю дорогу дремали, временами в тумане полудремы пытаясь поправлять наушники. Наверное, шум моторов все-таки доставал их.

Мы с Полем почти кричали, чтобы расслышать друг друга. Поля интересовали истории о войне, и я рассказывал некоторые из них — Полю повторно, а его диктофону — впервые.

После одного из боев Копалиани и его соратники обменивались с противниками с того берега реки телами погибших. Один из тех, с того берега, перешел за телом сына, а на обратном пути у старика подогнулись колени, носилки, на которых покоился сын, выпали из рук. Отца заменил Копалиани, и вместе с парнем-противником они перенесли убитого на тот берег. На полпути Копалиани почувствовал, что ремень его автомата, в двух местах обернутого синей изоляционной лентой, натер ему плечо. Наверное, очень сильно, так что он снял его и передал отцу погибшего. Всю дорогу отец брел за ними с перекинутым за спину автоматом. И только когда убитого парня положили на машину, он вспомнил про автомат. Отец убитого передал автомат хозяину, повернулся к нему спиной и только тогда разрыдался.

Поль спросил, почему Копалиани доверил автомат, ведь мог же отец убитого выстрелить ему в спину, как врагу. Ну что я мог ему ответить, ведь когда я спросил у Копалиани о том же, тот тоже не смог ответить.

Потом я рассказывал ему о дельфине, расстрелянном солдатами.

Поль вспомнил об одном артиллеристе, который выстрелом из гаубицы поднял на воздух деревянную церквушку — якобы противники использовали ее под склад оружия. Оружия там не обнаружили, а церквушка обратилась в пепел. После войны тот артиллерист заболел неизлечимой болезнью. Поль спросил, не была ли болезнь наказанием за сгоревшую церковь. Я пожал плечами.

Немного поговорили об эзотерике. На полпути, на маленьком аэродроме, мы пересели в ооновский вертолет. Вертолет оказался куда более шумным и совсем не давал нам возможности беседовать. А мне как раз этого и хотелось.

В вертолете мне вдруг вспомнилась успокаивающе-печальная мелодия студенческой поры. И слава Богу!

Когда в иллюминаторе показалось море, показался и город, и как будто даже шум волн проник в салон вертолета. Потом вертолет накренился, и вот так, почти лежа на боку, влетел в город. А море было так близко, что мне захотелось прыгнуть в него. Море — оно такое: чем ближе к нему, тем больше торопишься, на ходу начиная раздеваться.

Море сверкало, переливалось, все из сгущенных пузырьков воды и прозрачного утреннего воздуха.

Родной мой город, который я пять лет не видел. Когда я вспоминаю его на чужбине, сразу перед глазами встает дом моего детства, запотевшие стекла окна, стоящая посередине комнаты керосинка, мама, бабушка, наши родственницы и их беседы, вспоминаются рассказанные ими истории. И главное — море, которое так ласково проглядывает сквозь запотевшие стекла, и серое небо, лежащее низко-низко над морем.

На стадионе, где мы сели, нас встречают три автомобиля и двое мужчин. А еще — уличная собака, такая доброжелательная со своими повисшими ушами.

На бывшей турбазе, используемой в качестве офиса ООН и гостиницы, мне устроили встречу с Джумой. Джума был точно такой, каким я его представлял раньше, — мускулистый, с рябым лицом.

— Это я, друг Ваню, — представился я.

— Я узнал вас.

Поля увели по его делам.

Мы уединились в какой-то комнате. Освещенная голубым светом включенных мониторов, комната как будто дрожала. Беззвучно передвигающиеся иностранцы были похожи на инопланетян. Минуты через две Джума перестал обращать на них внимание, он все смотрел мне в глаза, терзая коробку сигарет.

В последнем бою Ваню со своими солдатами попал в окружение. Они укрылись в подвале какого-то дома. К полудню из семи человек в живых остался один Ваню. Про него тоже подумали, что он мертвый, и один из нападавших вполз в подвал. Того боевика Ваню ранил в бедро из револьвера и отобрал у него автомат. Те, из окружения, прекратили огонь, потому что раненый крикнул им: я живой, не стреляйте. Ваню дал возможность своему пленнику перевязать рану. Потом они вместе закурили. Разговорились. Раненый — у меня трое детей. А у Ваню — двое. И общие знакомые нашлись. Потом долго молчали. Потом Ваню спросил, не может ли он как-нибудь ползком убраться отсюда.

— Могу. А ты? — спросил его раненый.

— Вашим не сдамся.

Раненый колебался, но в конце концов уполз. Ваню не сдался. К вечеру его убили.

Тот, раненый в бедро, и был Джума. После войны он искал семью Ваню и наконец отыскал. Я приехал по его письму, мальчишки Ваню меня попросили.

Джума расспрашивал меня о Ваню, его семье, его детях. Прощаясь, передал завернутую в газетный лоскут коробочку: потом откроешь.

Перед тем как подняться в вертолет, я посмотрел на вислоухую собаку. Она словно ждала нас. Глаза у нее были — как у человека.

С высоты я еще раз окинул взглядом город. А потом уже было видно только море. Я достал из кармана коробочку, развернул газету. В коробочке лежал скелет морского конька, с мизинец длиной. Морской конек Ваню! Он поймал его в море до войны, высушил. Носил с собой, говорил: это мой талисман.

Поля расспрашивал меня о Ваню и Джуме, но в шуме вертолета я ничего не смог ему рассказать. Расскажу в самолете, сказал я.

И еще расскажу тебе, пообещал я ему, как один парень перед самой войной подарил другу детства бронежилет: мы должны будем сражаться на противоположных сторонах, пусть у тебя будет этот жилет, чтобы не убила тебя моя пуля.

Ничего я не понял из этого твоего рассказа, прокричал мне в ухо Поля. Может, кто-то выдумывает все это?

Я осторожно поместил морского конька между большим и указательным пальцами и посмотрел сквозь него в иллюминатор, освещенный синим сиянием моря. Иллюминатор походил на планету, схожую с Землей, морской конек — на какой-то ее континент. Я почему-то представил, что этот континент не заселен людьми.

Я уложил морского конька обратно в коробочку и завернул в ту же газету. Газета была старая и очень измятая, спортивная.

Внезапно море подступило к самому иллюминатору. Может, нырнуть, подумал я, и вынырнуть где-нибудь на Ямайке.

Море было такое спокойное и близкое, что я испугался, не расстреляли ли нас неожиданно из «Градов».

Море было таким спокойным и далеким, что я подумал: оказывается, где-то здесь потонул «Титаник».

После войны целых полтора года певчие птицы не прилетали в город. Так сказал мне Джума.

Опускающееся в море солнце нарисовало на его поверхности огромный фужер. Широкий зев фужера растянулся на горизонте, а его ножка сужалась где-то на суше, прямо на песке. Мелкие, в пенистых гребешках волны переливались по поверхности фужера, стоящего на песке. Фужер, наполненный морским шампанским с белоснежным сверкающим льдом, превратившимся в осколки.

И в вертолете было жарко. И в вертолете негромко шелестело море.

И вообще, странно шелестящим был тот день.

Была уже ночь, когда я пришел домой. Перед сном слышались голоса запоров квартир и гаражей, и ворот, и домов. Закрывался, запирался, готовился к обороне город. И город, и Земля.

На голоса запоров я на секунду открыл глаза. У моего изголовья сидел Ангел моего отца. Он выглядел печальным.

Любые конкурсы похожи друг на друга — что соловьев, что задниц

Я вижу с балкона, как мой сосед, мужчина средних лет, вертит в руках сигарету. Видимо, он один дома — сам жарит себе яичницу, режет хлеб. Слышу, как он страшно материт кого-то одного. Потом — многих. Завтракает. Пьет водку, лицо его кривится. Его утренняя трапеза какая-то матерно-горькая.

Я спускаюсь во двор и жду там «фольксик» Нини. У стола, стоящего под елками, сидят соседские ребята и пьют пиво. Так как они пьют пиво, то и тосты произносят «наоборот»: «Да здравствуют нелюди!» Еще и еще кого-то здравствуют.

Во дворе гордо расположились черный «Паджеро» и белый «Мерседес». В моем бедно-богатом дворе.

Приглашают к столу, и я выпиваю стакан пива, тоста не произношу. На газете, расстеленной на столе, — нарезанный хлеб, сыр и ободранная тарань. В газете напечатаны портреты восьми президентов. Им кто-то пририсовал усы и бороды, и некоторые из них стали похожи — кто на Гитлера, кто на Сталина, кто на Фиделя Кастро, и даже на Шота Руставели.

Ребята в хорошем настроении, смеются. Рассказывают, как они в деревне хоронили дедушку своего приятеля, как напились и, когда уже несли покойника на кладбище, всем вдруг захотелось помочиться. Очень сильно захотелось. И они побежали, так что намного опередили всю процессию, забежали в лесок у дороги и, не снимая с плеч гроба, дружно помочились под деревьями. Потом, как

ни в чем не бывало, снова вышли на дорогу. Дед был известный выпивоха, и такие проделки были в его духе.

Еще рассказали об одном осле: как отправились сельские парни порыбачить, рыбу глушить электрическим током. Погрузили генератор на осла и пустились в путь. В лесу кто-то сказал: давайте проверим, а вдруг генератор не работает. Налили почти литр бензина и завели генератор, не снимая его с ишака. Как взвояет генератор! — и понесся перепуганный до смерти осел. Носился по лесу до тех пор, пока не кончился бензин. По дороге наскочил на управляющего деревней, который ехал на лошади. Управляющий от страха упал с лошади, а осел побежал дальше. Изумленный управляющий, сидя на земле, все повторял: осел с мотором, люди, осел с мотором, люди...

Рассказ об осле с мотором заставил хохотать от души Нини, которая в то утро была совсем не в радостном настроении.

Сиденья «фольксика» были засыпаны цветами акации. Видимо, растяпа Нини оставила на ночь открытыми окна машины.

Мы едем на конкурс задниц. Организаторы долго спорили, как назвать этот конкурс — задниц, попок или бикини. Большинством голосов решили, что «Конкурс попок» звучит грубо и пошло, «Конкурс попочек» — гомосексуально, «бикини» — старомодно, что непозволительно для страны, строящей демократическое общество, и, наконец, выбрали задницу. Свободная от бикини, вольная задница. Попка, попочка...

Мы выезжаем на Площадь Чести, или имени Вождя (в недалеком прошлом). По дороге нам встречаются группки из десяти-двенадцати человек, разной окраски, размахивающих флагами, по-всякому расписанными. Флаг держит лидер группы. Это — кандидаты в президенты. Приблизительно тридцать кандидатов попадаете нам навстречу. Сегодня, кроме конкурса задниц, отмечается еще и День Самопожертвования за Родину.

Конкурс проводится во Дворце имени того же вождя, в нынешнем «The Caucasian Star». На одной из стен Дворца до сих пор висит полотнище с огромным изображением женщины с губами в ярко-красной помаде. На прошлой неделе здесь проводили «Конкурс губ». На второй стене — такое же полотнище с изображением белой задницы, которая издавна похожа на грушу.

Замечательное утро. Утро — свет помады на удивительно нежном лице города в ожидании нового конкурса.

Рядом с «The Caucasian Star» стоит наш автобус, и тут же наша космоантенна. Скоро нам выходить в прямой эфир.

— Где вы до сих пор?!

Мне всучили ручную камеру, и я вхожу во дворец уже потяжелевшим на шестнадцать килограмм. Нини — за мной.

Ослепительно освещенный зал радостно гудит, волнуется. Верхнюю часть сцены занимает громадный экран. Экран включен. Ведущие — парень с девушкой — проверяют микрофоны. Известные лица. Звезды эстрады. Политики. Журналисты-политики. Политики-певцы.

На сцену выходит первая двадцатка девушек. Пока что на них мини-платица. Девушкам от семнадцати до двадцати пяти лет. Я приветствую кабельмейстера, поднимаюсь на сцену и начинаю съемку.

Общий план. Одна блондинка. Вторая блондинка. И брюнетка. Их лица, потом лодыжки, колени, ляжки, груди...

— Наклонись и залезь ей под юбку! — слышу в наушнике голос Нини.

Кладу камеру чуть ли не на бедро высокой, немного смущенной блондинке,

потом ложусь на пол и снимаю снизу. Я чувствую, как краснеет девушка, но все же продолжает танец.

Восторженный рев зала перекрывает оглушительную музыку, смывает все вокруг. Потом счищает.

После короткой паузы выходит вторая двадцатка. У зрителей отсутствующие, нездешние лица, словно они только что выпали из Шамбалы.

— Бравоооо... Ууу! — зал выплескивает сперму восторга.

Среди других я узнаю парней из фанклуба сборной по футболу Кот-д'Ивуара. Они швыряют в сторону сцены пустые и полупустые бутылки от «Коки», лимонада и пива, успевая в то же время материть орущих неподалеку фанов бразильских футболистов.

На секунду выхватываю взглядом раскрасневшиеся лица трех новых и неизвестных членов Академии, их выкрашенные бороды и волосы, их чуть ли не полуметровые улыбки.

Раздается тяжелый звон огромных часов зала. Начинается второй тур. Стрелки часов становятся похожими на два фаллоса.

Участницы второго тура выходят уже в чем мать родила, повернувшись задницами к залу, как рыбы, колышутся в ритме музыки Баха. Зал вопит.

Время от времени ложусь на пол и проползаю между ног девушек.

— Ну, а сейчас «АйЯ!»-население, дорогие зрители, разберитесь со своей избранницей! Наше родное население, вы сейчас — все от «А» до «Я» всего мира! Вас обслуживает мобильная спутниковая связь «АйЯ». Будущее за вами! Не ленитесь, не экономьте денег и эсэмэсьте вашей избраннице! Желаем успеха. Успехов, дорогое, космическое «АйЯ!»-население! — верещат в микрофоны в один голос ведущие.

Жюри объявляет, что впереди всех задницы под номерами 7, 4, 37, 20 и 28.

Пот льет с меня ручьем. И моя видеокамера вся в поту. У нее, как и у меня, сердце трепещет. Японская камера. Для меня она такая же одушевленная, как меч предков — для древнего жителя Страны восходящего солнца.

Снимаю большую задницу, потом еще больше, потом пребольшую. Потом самую хорошенькую задницу, потом — застенчивую, потом — наглую, смелую, нежную... На экране снятые мною задницы быстро сменяют одна другую.

Нини ободряет меня: парень-зверь! Нини, Нини! У тебя не характер, а персидский ковер, сотканный в душе. Я почти люблю тебя, Нини.

Одна из задниц дрожит, трепещет теплом будущей матери. Вправду ли это? Или мне показалось?

О, эта 28-я задница! Обладательницу такой задницы, такого сокровища не должны пропускать на таможне без уплаты пошлины. О, эта 28-я! Как похожа она на Джомолунгму, купающуюся в лучах утреннего солнца.

Месяца два назад здесь провели конкурс соловьев. Соловьи соревновались в пении. Конкурс прошел в тишине и птичьем пении. И все-таки — все конкурсы похожи друг на друга — что Мистер Соловей, что Мисс Задница.

Седьмой номер лицом похожа на Мэрилин Монро, волосами — на Джулию Робертс, задницей — на эту, эту... Как ее? Ну, которая застраховала свою задницу на миллион долларов. Мы катаемся по сцене, я и моя камера, ваяем видеоллица девушек, видеозадницы. Каждое тело — прошедшая война, сегодняшний фейерверк, завтрашний труп! Нет, нет, только не труп! Сегодня об этом не думай, Ираклий!

Там, в зале, и моя старая любовь, женщина чудесных волос и поцелуев. Может, и ее дочь тоже конкурсантка. Может, это 28-я? Ведь возможно, что эта

девушка могла быть моей дочерью? №28! Наши поцелуи и через века отыщут друг друга. Наши поцелуи, подобно улетающим в теплые страны птицам, ищут острова воспоминаний.

«Мисс Задницей Родины» становится №37. Приз в 75 тысяч долларов США и плюс путевка в Пекин для участия в финале «Мисс Задница Мира».

По интерактиву «АйЯ» избранницей, или «Мисс симпатией», становится №7. А №28?

«Мисс Задница Родины» требует, чтобы на ее заднице написали пару слов. Пишут фломастером. На экране появляется задница «Мисс Задницы Родины» с надписью: «Люблю тебя, мамочка!»

Музыканты ансамбля «Tornado» наяривают прощальный гимн конкурса. Их сменяют музыканты «Океанского ветра» и «Летнего ливня».

На нас, выходящих на улицу, уже с городского неба глядит задница, нарисованная лазером, с надписью: «Люблю тебя, мамочка!» Одно полушарие задницы, с «Люблю тебя...», сияет над главным храмом города, другое — «...мамочка!» — над Зеленой горой, прямо возле телевышки. Вышки, которая сегодня являет собой образ фаллоса. Общенациональный фаллос! Освещенный тысячами лампочек национальный фаллос весь сияет и струится — то красным, то синим, то серебристым сиянием.

Заполночь в одном из ресторанов на берегу реки звезды эстрады и фаны футбола, с участием «известных лиц», тузят друг друга, таскают за волосы, лупят пластмассовыми бутылками. И это снимаю.

Через несколько дней газета «Творец» написала, что №37 совсем не 17–25-летняя, ей вообще сорок три года и, главное, она и не женщина вовсе, а трансвестит. Еще писала о том, что в жюри большинство членов — голубые, лесбиянки и трансвеститы.

Я не знаю, что там с жюри, но №37 действительно не был похож на трансвестита, я сам снимал каждый, каждый, каждый квадратный сантиметр ее задницы и не только.

Вой

Это отснято Лери: необитаемая деревня, аэропорт. Лай собак. Одна армия оставила это место. Другая, победившая, еще не вошла. Ночь. Перед ярко освещенным зданием аэропорта горка трупов, холм, пирамида. Лай собак. Большинство погибших — солдаты. Наверное, их свезли в аэропорт, чтобы отправить самолетом. К горке трупов подступает стадо бесхозных голодных свиней. Горку трупов окружила стая бесхозных псов и яростно отбивает атаки свиней — защищают мертвых людей.

Кадры, кадры

Из получасового отснятого материала на NV-DISCOVERY показывали только десять минут. Вообще-то планировали три минуты, но получилось нечто очень рейтинговое: молодые сатанисты в течение полуторачасового мучительства убивают кошку. Гвоздями, спицами, ножом, ножницами медленно режут на кусочки, колют, рвут. Кошка — еще почти котенок, непрерывно мяукает и треплет мне нервы. На местных сатанистах — черные маски. Все это происходит на кладбище. Темно, мне надо было осветить кошку — кровь ее кажется не красной, а черной.

Выбираю кадры

Приют для престарелых. Кот по имени Оскар. Вот уже два года, как Оскар живет в приюте. За это время в приюте умерло 25 стариков. За день до смерти Оскар заходил в комнату каждого из них и лизал своим шершавым язычком их руки. У Оскара зеленые глаза. Кто-то сказал, что уберет отсюда этого ангела смерти, но старики воспротивились. Один из них говорит: «Оскар облегчает им предсмертные минуты». Наверное, стариков успокаивает мысль, что перед смертью хоть кто-то, хоть тот же Оскар, не оставляет их и ласкает.

Кассета

Бомбежка. Бегущие люди, звуки разрывов. Упавшая на землю камера снимает корни пальмы — меня ранило в ногу.

Выбираю кадры

Депутат, который что-то рассказывает. Любят обычно такие политики давать ответы на любой вопрос корреспондента, хотя бы и о китайской фонетике. Не по-дой-дет э-тот кадр. Наматываю, наматываю, наматываю кассету. Флиртующий с властью интеллектuala. Еще: блондинка-секс-сотрудница, только не могу вспомнить, чья — интеллектuala или депутата. Наматываю, наматываю, наматываю кассету. И вот это — встреча во «Дворце Хинкали». И вот это — заседание правительства на «Площади Хачапури», под открытым небом. Наматываю, наматываю, наматываю... «Проспект Бикини»... «Шашлычный уголок»...

Кадры, кадры

Тело женщины-самоубийцы. Наполовину снесенный череп. Сыну этой женщины нужна была срочная операция на сердце. Не нашлось донорского сердца. Женщина ворвалась в кабинет врача с прикрепленной к груди запиской: «Пересадите сыну мое сердце». И застрелилась. Из старинного револьвера, не знаю даже, какого калибра. (Дед той женщины был чекистом.) Операцию сделать не смогли. Через неделю скончался и сын.

Вой

Отвоевавшийся мужик рассказывает, как остались на разных берегах реки он и его противник, только двое... Как у обоих кончились патроны. Как прятались за камнями. Как он бросил в противника камнем. Как крикнул ему противник: «У тебя что, патроны кончились?» Как они материли друг друга. Как разговорились потом — окликаая и откликааясь. Оказалось, что у них есть общие знакомые. И все же, как боялись они друг друга (а вдруг, на беду, у кого-то патрон спрятан!). И, пока не стемнело, не оставляли они спасительных камней, реку, войну...

Еще кадр: женщина на улице, с тяжелой сумкой в руках, чей-то голос (того, кто говорит, в кадре не видно): эта женщина несет в сумке тело своего ребенка, погибшего при бомбежке.

В коридоре

В коридоре странная тишина. Здесь не слышно далекой стрельбы. Я второй день в больнице. Санаторий, в котором мы жили, разбомбили. Я еще не ознакомился со здешней обстановкой — до нас никому не было дела, здесь день и ночь оперировали.

Несколько человек несут солдата с оторванными ногами. Идут молча, даже звука их шагов не слышно. Осторожно несут раненного товарища. Стоящая у окна женщина закрывает лицо руками.

Присматриваюсь к раненому. Обе ноги у него оторваны прямо у бедренного сустава. Красноватая глина толстым слоем залепила раны. Солдата несут, как цветок в горшке.

Его сажают на покрытый клеенкой стол в углу коридора. Спиной прислоняют к стене. Все операционные столы заняты.

Из палаты выбегает хирург:

— Промедол!

Солдат попал под бомбежку. Взлетел на воздух вместе с взметнувшейся от взрыва землей, ноги ему оторвало, и бросило в свежевырытую взрывом яму.

На раны солдата налипла глина. Хирурги осматривают его.

В кабинете один хирург говорит другому:

— Если мы уберем глину, он умрет через несколько минут, потеряет всю кровь... Глина останавливает кровотечение... Видимо, горячей была земля... После взрыва...

— Может...

— Конченный он...

Выхожу к солдату. Он все еще на стоящем в углу столе, прислоненный к стене. Ему переливают кровь. Он курит. Левой рукой держит сигарету. На нем тельняшка. Он спокоен. Удивительно спокоен. В систему переливания вводят разные лекарства. Его друзья молчат. Они тоже курят.

— Что там на позиции? — нарушает тишину раненый.

Ему говорят, что на фронте дела идут хорошо, что «заговорила» артиллерия.

На белую клеенку вытекает тонкая извилистая струйка крови, просочившаяся сквозь налипшую на тело глину. Глина красноватого цвета. Гончарная глина. Из такой глины делают кувшины и пиалы.

Солдат опять просит сигарету.

— Напишите мне письмо.

Кто-то приносит бумагу, кто-то — авторучку. Один из солдат пристраивается на уголке стола, приготовившись писать.

— Здравствуй, мама... — говорит раненый.

Замолкает. Он затылком опирается о стену, глаза его полуприкрыты. Медсестра приносит пепельницу. Солдат растирает в ней сигарету медленными, медленными движениями.

В коридоре стоит запах крови. Солдат снова просит сигарету. Струйка крови с клеенки начинает каплями падать на пол, вот уже на полу ручеек крови. Санитарка приносит мокрую тряпку.

Воздух тяжелеет. Запах крови становится все гуще.

Солдат подносит руку к пепельнице, растирает в пепел наполовину выкуренную сигарету. Затем сигарета выпадает из его рук, почти сразу падает и рука.

Глаза солдата закрываются.

Он умирает.

В коридоре стоит запах крови. Запах крови по всей больнице. По всему городу. Меня тошнит. Бегу в туалет.

Слышу, как один из хирургов говорит обо мне:

— У него началась аллергия на запах крови, удалите его из больницы.

Здравствуй, Ираклий,

я в Париже. Ночь, звезды.

В твоём городе был один маг, что потушил памятник женщине, такой маг и здесь есть. Он Эйфелеву башню потушил. Вот такие чуды.

Твой город временами — сонет. Он ещё и скопированный город есть. Город — ксеро: пабы, рестораны (Мексика, Китай, Ирландия). Но города везде такие. И другие города местами — ксерокопии. У твоего города одна нога стоит в Азии, а другая в Европе, он наполовину старый, а наполовину новый. Здорово!

Половина — ад, половина — рай.

Вспомнилось: мы встретились на какой-то улице, возле какого-то фонтана, ты ещё подарил мне какие-то цветы, помнишь?

В твоём городе есть много других городов. И других народов. Душа планеты.

А ты что мне написал: моей стране требуется сто тысяч человеческих манекенов с флагами в руках. Для митингов, для выборов. Для позиции, для оппозиции. Поставишь их на площади, и выберут, кого ты захочешь. А везде так. Всем странам требуются муляжи-манекены. Здесь, там, и дальним, и ближним. И на тех муляжах написано: Made In Mir.

Для твоей книги, может быть, хороша будет такая фантастика: как будто бы существует такая организация «Мухен Интернейшел» Она готовит кладбища для мух и памятники для мух, и надписи для этих памятников. Здорово, да?!

И ещё для книги: фиеста икры, когда люди швыряют друг в друга красной и черной икрой. Я снимала в Испании перестрелку помидорами.

Ещё есть мучная фиеста, мукой обсыпают друг друга.

Ещё кидаются сыром и хохочут. А TV снимает.

Фиеста апельсиновая. Фиеста хинкальная!..

А ещё на аукционе продается единственный волосок с головы Ленина. Здорово?

Посылаю тебе фото, Стефан сфотографировал в аэропорту. На этом снимке я выгляжу умней самой себя.

Скоро тебя увижу. Будь умницей!

Целую

Клаудия

Клаудия,

твое письмо вспорхнуло с моего компа, как розовый фламинго, и присело мне прямо на сердце. Ветерок с твоего океана рассыпал твои слова на экране моего компа. О, как громко звучит! Хотя твоё письмо написано очень тихим голосом.

Я читаю его и слышу твой голос, и вижу тебя.

Ты хорошо выучила мой язык, я же стал забывать его.

А вообще-то мы настаивали наш язык, как вино. Войны с другими народами, путешественники, торговцы, все вместе и по отдельности, оставляли нам свои слова. А мы мешали и перемешивали эти слова, и вот что получилось.

Некоторые оставляли нам свои слова и свои порядки саблями, а некоторые — стихами (что, разве не чувствуется по первому абзацу моего письма?). Может, и ты оставишь нам на память что-нибудь. Хотя бы одно словечко.

Когда ты приедешь? Вчера видел во сне льва. Он встретился мне на дороге и зарычал: ууу! Я испугался, зарычал в ответ: ууу! И проснулся. Один.

Я сегодня дома. Жарко, дышать трудно, но стою, как Великая китайская стена. Листаю журналы в глянцевых обложках. Журналы спрыгивают-запрыгивают (короче, скачут), как цветные резиновые шарики, и, недолго порадовав меня, исчезают. Уже надоели.

В одном изумительная статья: «Почему приумножились в городе мужчины с отрезанными половыми органами и женщины с искусанными грудями?»

Чем занимался в эти дни? Снял презентацию французского супа и музея круассанов. Вчера — сюжет о двухголовой короле. И о коте Оскаре — в доме престарелых. Если Оскар зашел к кому-нибудь в комнату и остался там на ночь, тот человек в течение двух дней умирает. С ума сойти!

Вчера пил коктейль «Засос топмодели».

У нас создали новое NGO «Плюнь в седого». У меня уже 10–15% седых волос среди оставшихся на голове. Может, покраситься?

Отделен от тебя расстоянием в миллион поцелуев.

Ир

Здравствуй, Ираклий,

ты всегда — спешишь, спешишь. И ты торопишься, и твоя страна торопится, и я тороплюсь, немножко и моя страна торопится, но не думаю, чтобы ты торопился больше, чем я. Уже пять дней, как не пишешь и не звонишь.

Давай, построим дом, пригласим людей, выпьем чаю, сделаем хачапури.

Я была в Индии, сняла там Храм Тигра. И помолилась в нем. Почему нет храмов Бабочек? Тигров боятся, поэтому?

А сегодня я в Африке. Знаешь, какое проклятие я здесь услышала? Пусть придут в страну нашего врага машины с Красным Крестом и надписью UN и TV.

В Париже я оставила очень-очень легкую весну. В Лондоне прохладно.

Ты говоришь, что в твоей стране некоторые места для тебя как чужие. Подумай. Может быть, ты чужой для этих мест.

Ты на меня сердишься? Почему? В вашем характере кавказское горячее, чуть что — бах! Иногда ты так взрываешься, так легко загораешься. Бурные вы народы. (Прости, грамматика хромает.)

Для твоей книги. Только это правда, истинное событие: в Латинской Америке один человек подал в суд на Бога: я три толстых свечи сжег, и все равно меня задержали, мне нужна моральная компенсация. Судья сказал ему: «Мы не знаем адреса Господа, сообщите нам, и мы вызовем его на процесс».

Для книги: Стефан снял Преза, который подарил ветерану войны золотой зубной протез. Народ говорил: «О, какой у нас През, молодец!» На протезе было написано: «От президента».

Посылаю тебе фото одного цветка. Цветки его — как маленькие парашютики. Зацветает и посылает на землю свои семена на этих парашютах. Я снимала его в Индии.

Твоя Клаудия

Клаудия,

по ночам мои туфли лаяли (они были из собачьей кожи), мой ремень из

крокодиловой кожи рыкал, ремешок моих ручных часов шипел (из кожи змеи), мой свитер из ангорской шерсти блял... Все это я раздарил людям, и сейчас отдыхаю в тишине.

Под моей кроватью твои тихонько шуршащие чустики. Они и без тебя тихонько шуршат, но не нарушают моей тишины. Наоборот.

Вчера видел тебя по телевизору. Позвонил по мобиле, но твоя была выключена.

Где ты сейчас: в Азии, в Африке или в Америке? Плов вкушаешь, или гамбургер жуешь, или пиццу?

Ираклий

Наi, Irakli,

я в Лондоне. Здесь говорят, что на Кавказе опять будет война, такой маленький блицкриг. Может, не начнется. Но ты все-таки будь осторожней, не подставляй под бомбы камеру и голову.

Я рассматривала наши фотографии: мы на море, один мужик положил голову на зад собаки. Собака надувная. Настоящая и очень маленькая собачка лежит между ног своей хозяйки. О, какое у нее лицо! Старика накрыл голову газетой.

Помнишь уличную собаку? Мы назвали ее «Черным бароном». Она говорила нам: будьте моими хозяевами. Она ходила с нами на море.

Фото волнующегося моря — крылатое море. Ты снял. И снова ночь — восход звезд. Это мое фото.

И фото того парня — его познакомили с девушкой на предмет женитьбы, а он объяснился в любви ее подруге. Перепутал, многовато винца выпил. Утром проснулся в кабине подъемного крана, в женском пальто, меховом.

На море ты не ел ни рыбы, ни птицы: я не ем того, кто плавает или летает. Потом и я тоже не ела. Правда, рыба не живет на земле, и птица тоже не на земле.

Я нашла тебя и узнала, в море, посреди бушующих волн, а не у берега, как какого-нибудь древнего грека.

Что поделявает твоя книга?

Вот случай: гориллу Кики научили понимать 500 слов. Однажды ей сказали, что умерла ее подружка кошка. Кики заплакала. Вот что сделали слова.

Помнишь Лурье? Я вас познакомила год назад. Он стал таким популярным политиком, что на TV пригласили в кулинарную программу. Он передает тебе привет.

Клаудия

Клауд,

когда ты писала мне об африканском фрукте, знаешь, что я подумал: мы и фрукты военизировали — посмотри на гранаты, снаряды, ракеты... Как их называют? — «апельсины», «лимонки», «ананасы», «бананы»... С бананами поосторожней! На одном застолье я почистил для одной женщины банан, протянул ей, так меня чуть не побили: на что вы намекаете, да как вы смее!

А что это за мужик, о котором ты мне пишешь: у него столько денег, что весь год он не покидает берегов теплых морей? Осторожней с тем мужиком! Я тебе не музейный кавказец, я — кинжально-бензиновый!

Вчера вечером я пил с инвалидами войны. Один ослепший на войне оказался парнем с моей улицы, младше меня, и я его не мог вспомнить, а он так старался, чтобы я вспомнил: у тебя щеки краснеют, когда ты пьянеешь, так? Волосы набок зачесываешь? Да видел я тебя! У другого ноги не было, он

рассказал, как собака укусила его за ногу-протез и как она в страхе убежала. Был еще один на протезе, однажды жена случайно плеснула кипятком ему на ногу, а он ничего не почувствовал. Все с ума сошли. Мы столько смеялись, давно не видал такого веселого народа. Домой приехал на такси. Шоферу сказал, что я, мол, военный летчик. По дороге встретилось несколько одинаковых фонтанов. Я ему говорю: это мобильные фонтаны. И таксист посмеялся. Таксист тоже был на той войне и денег с меня не взял.

У нас в одном из роддомов родился ребенок-птица. Система кровообращения в один круг, одно легкое, одна почка, сердце всего из двух желудочков. Все экономично, как у птицы. Пальцы срослись попарно, руки похожи на крылья. Прожил он совсем недолго. Потом ууууулетел. Я сброшу тебе его фото, хотя нет, не надо, тяжелое зрелище.

Я дома, тепло, тихонько шуршат твои чустики.

Вчера я заснял девятилетнего мальчишку, убийцу своего отца.

Пока,

Не переутомляйся.

Ир

Ираклий,

для книги: один президент в День Милосердия помиловал поросенка. Надули резинового поросенка, очень похожего на помилованного. Раздулся, раздулся он, как дирижабль, и повис над городом. Еще раздулся — стал размером с полгорода. Испугались люди: а вдруг он лопнет и сметет город! И вот богатые убегают из города на джипах, целыми семьями, вывозят имущество. На границе что делается!.. Какая паника!..

Кл

Кл,

ты мне пишешь такие вещи, а потом удивляешься, почему у нас президентов ни во что не ставят.

Ир

Ираклий,

вы любите хорошие застолья и хорошего тамаду. А правда, почему не любите презов? Если видите кого-то старшего в одной комнате с вами, вы его любите, а если кого не видите перед собой, то не любите.

Вчера я была в одном мощном цирке, съемку делали. Директор сказал, что его увольняют: нажаловались на него, что, мол, он пьет львиный коньяк. Оказывается, львам дают коньяк, так нужно. Еще директор сказал: называют меня крокодилом. Потому что у крокодила мозг величиной с мизинец.

А еще директор создает ароматы, выдумывает духи: с запахом моря, леса. Эти запахи в его цирке. И мне, как индейцу, представлялось то море, то луг, то детство. По запахам.

Вообще-то хорошо, что мы поговорили по скайпу, наверное, у меня было спокойное лицо. И хорошо было, что ты не слышал моего быстрого пульса. Но все же письмо лучше скайпа. Письмо — это магия.

В Швейцарии в каком-то городе гражданин наступил на лапу щенку, и об этом писали в газетах! Приезжай, поселимся в этом городе.

Приезжай, у тебя все войны будут. У тебя в стране мало надежды на мир.

Подумай!

Клаудия

Клау,
в субботу снимал свадьбу одного миллионерчика за хороший гонорар.

Вернулся поздно, а тут Нини звонит: приезжай, убийство! Я и выскочил. Увидев съемочную группу, сосед убитого, старик, упал на колени: ничего не знаю, дети, ничего не видел, не снимайте меня, пожалуйста, они моими врагами станут!

О, разумеется, мы его сняли, чуть ли не пинали его: что, понапрасну ехали в такую ночь, только кровь должны снимать, что ли? К крови нужна и хорошая история, так ведь? Ну-ка, гони показания!

Раскололи, все выболтал!

Вот такие дела.

Ир

Лери

В день похорон Лери я задумался над тем, почему я не любил собак. Не то чтобы они были мне неприятны, просто они никогда ничего не значили в моей жизни. С трудом вспомнил я, сколько охотничьих собак было у моего отца, но ни одного имени не вспомнил и не мог вспомнить, когда и почему они умирали.

В детстве и Лери не любил собак, особенно уличных. Сколько раз мы их преследовали, швыряясь камнями, многие охромели из-за нас. Бродячих собак, забежавших во двор нашей школы, мы расстреливали из рогаток.

Когда он стал врачом, я часто навещал его в исследовательском институте, где он работал. Там проводили опыты на собаках. И сейчас еще у меня в ушах стоит нескончаемый лай и вой. Они повторяли опыты Павлова, некоторым перерезали горло, другим отрезали ногу, проводили операции на брюшной полости. Все это часто проделывали на глазах у студентов.

Лери говорил, что собаки более чувствительны, чем люди, и при экспериментах требуется гораздо больше морфина, чем для человека. Но морфина для собак не хватало, так как в институте у них было несколько хирургов-наркоманов. И собаки чаще всего погибали от боли.

Институт закупал животных у ловцов бродячих собак, за копейки. Они же забирали мертвых собак.

Я помню, как одна изголодавшаяся собака съела кишки другой собаки, только что вынесенные после операции.

Медики воровали также колбасу, выделяемую для собак.

И на поросятах проводили опыты — ломали им прессом ноги и секундометром замеряли, через какое время они умрут от болевого шока.

Потом несли их в фурну — пекарню, — чтобы зажарить, и вечером пировали в той же лаборатории. И врачи-наркоманы тоже пили вино.

Проводили также опыты на кроликах: возьмут сначала анализ крови, потом большим ножом отсекают голову и снова берут анализ крови. Сравнивали анализы, заполняли таблицы, чертили диаграммы, пестрили бумагу.

Тогда, в институте, Лери не любил собак. Но началась война, и Лери отправился на войну с санитарной частью. Я дал ему маленькую видеокамеру.

С войны он вернулся другим человеком, хотя эту разницу не сразу не заметили.

Вообще, так оно и бывает — ушедший на войну никогда не возвращается таким же, каким был до войны. Ушедшего на войну война засасывает и испепеляет, а потом возвращает — совсем другим человеком.

Лери стал пьяницей.

Только со мной он был до конца откровенным: ты один у меня остался из друзей детства, и только ты сможешь, может быть, понять меня.

Теперь он работал в поликлинике.

Когда война возобновлялась, у него начиналась депрессия, он не ходил на работу, сидел дома и строгал зубочистки из спичек. Или во дворе своего корпуса и на улице разыскивал бродячих собак и бросал им еду, принесенную из дома в полиэтиленовом пакете.

Через какое-то время он сам стал похож на бродягу, в глазах его, казалось, навсегда застыл взгляд изумленной собаки.

Он часто навещал меня на телевидении, я несколько раз снимал его с собаками. Сейчас часто смотрю эти кассеты.

Вернувшись с войны, на следующий же день навестил меня. Он был грустным и подавленным. Наша меланхолия в тот вечер плавно перешла в обычное для нас застолье, и мы как следует напились.

Тогда впервые он сказал мне: мы — фашисты для животных, особенно для собак, не знаю, как выпросить у них прощение за мучительство. Человек — бацилла планеты, и скоро он погубит все и вся.

Медицинские исследовательские институты он называл концентрационными лагерями, а бродячих собак — амиго. Собаки, в общем животные, навсегда дети, это человек временно, всего несколько лет — ребенок. А некоторые и совсем не бывают детьми.

Несколько раз он увязывался за машиной-собаколовкой, останавливал и давал деньги собачникам, освобождал собак.

Собачьи глаза всегда говорили Лери: «Здравствуй, амиго!» Глаза собак говорят эти слова даже своим убийцам, уверял он.

Весь город видел, как увивались за Лери собаки и кошки, как ластились к нему. Говорили: как бы не подхватил от них чего. А он: все равно умирать!

Он потерял работу, чуть не потерял и семью.

Все думали, что он свихнулся на войне.

Однажды его на несколько дней скрутил радикулит, еле ноги передвигал, но когда увидел у мусорки щенка, с огромным трудом, но все же нагнулся, взял его на руки и погладил. «Ну вот, теперь я поправился», — сказал он.

Двор его корпуса стал похож на приют для собак и кошек. Соседи жаловались. А он, как настоящий вожак стаи, никому не позволял трогать своих собак: не то будете иметь дело со мной. Этого опасались.

Он и в парламент ходил, предлагал депутатам законопроект о защите животных. А там смеялись: да ладно тебе, мы и с людьми управиться не можем.

Он доказывал мне: у неандертальца было на 13% больше мозгов, чем у нынешнего человека.

С годами он терял и надежду, и ощущение безнадежности.

В произведениях классической музыки (он очень любил ее) ему слышались голоса собак.

А на небе он видел облачных щенят.

Округлые пузатые автобусы он сравнивал со щенками, круглыми, теплыми и мягкими, и жалел он автобусов-щенят: не приключилось бы с ними чего.

На дороге он видел только собак, людей же почти не замечал.

Втайне от чужих взглядов гладил и ласкал цветы и деревья: ну, как вы тут поживаете, мои маленькие путанки, путаночки, мои красавицы.

Я хотел понять его, но почти ничего не понимал из его речей. Да и времени посочувствовать ему у меня не было.

Влетевшая в его комнату бело-зеленая бабочка прожила у него чуть ли не два месяца. Он поил ее медовой водой. А ведь в книгах написано, что она должна была прожить не больше недели — как и положено бабочке-капустнице.

Он влюбился в одну женщину, такую же, как и он, охранительницу животных. Так влюбился, так долго и страстно целовал эту женщину, что она вынуждена была выгнать его из своего дома. Для нее оказалось невыносимым терпеть эту сумасшедше-огромную любовь Лери.

Тогда Лери взял да и поселил ту женщину в своем воображении на другом берегу Атлантического океана.

Он хотел придумать такую игру, в которой не было бы ни выигравших, ни проигравших. Не смог.

Раз он напился с другом детства, большим чиновником, вместе бродили под дождем. Чиновник вместе с ним ласкал бродячих собак, убеждал Лери, что любит их с детства, обещал построить в городе приют для собак и назначить Лери директором. На следующее утро чиновник возвратился к себе прежнему и потом, наверное, ни разу даже не оглядывался на свое детство, да и Лери избегал.

Стоило собраться для пирушки друзьям детства нашего кутка или близлежащего окружения, как Лери появлялся тут же. Не знаю, каким образом он улавливал бульканье разливаемой по стаканам благородной жидкости — водки или вина, — но одно было ясно: у него, как и у его собак, развилось шестое, седьмое или даже десятое чувство. За Лери обязательно следовали и его собаки. Мы смеялись, просили: оставьте нас в покое со своими собаками, но он не уходил, пока не накормит их объедками с нашей пирушки.

Он был хорошим собеседником и рассказывал множество разных историй. Так, он досконально знал жизнь одной женщины, жившей в соседнем корпусе: из окна своей спальни он часто наблюдал за ней, лежащей в своей постели. Он читал ее жизнь, как новеллу: эта женщина была в том возрасте, когда время, войны, старость, болезни уже переселили в рай большинство ее друзей и родственников — самое лучшее для нее общество. Женщина целыми днями кормила голубей, кроме них никого у нее не осталось. Голуби рассаживались у нее на плечах и на голове, клевали пищу с ее ладоней. Когда она умерла, голуби осиротели, они садились на перила балкона и ждали ее.

Что будет с моими собаками после моей смерти, печалился Лери.

Он часто рассказывал подобные случаи, иногда несколько изменяя их. Услышанные в разное время истории сами становятся разными, так же, как и человек в разных возрастах не один и тот же.

Однажды он собрал все свои деньги, привел себя в порядок, надел свой единственный черный костюм, даже галстук завязал и явился в один из самых дорогих ресторанов. Он заказал самые лучшие блюда для себя и своих собак, ожидавших его у дверей ресторана. Потом вместе с собаками до полуночи прогуливался по набережной.

Он доказывал нам, что в любой стране президент и нищий чем-то походят друг на друга. Например, если у них есть синдром «гордости нищего», то он есть у обоих, а если нет, то у обоих он отсутствует.

Он доказывал нам, что такие особенности родного города, как жесты, выражения, говор, вид, молчание, создают, кроме людей, и другие горожане — городские собаки, деревья, птицы... И если кого-нибудь из них вдруг не станет в городе, это будет уже совсем другой город, изменятся его жесты, выражения, говор, вид, молчание...

Мы все в долгу друг перед другом, но не все из нас знают об этом.

Он приветствовал каждую дверь: здравствуй, друг! Посредством ручки

двери мы как бы здороваемся за руку с незнакомыми людьми, которые до нас открывали ее или откроют после нас.

Город не мог вместить его печали, она выходила за пределы Кавказа и просачивалась к другим планетам. Временами его грусть налетала ураганом, я думаю, с ближайшего к нам океана.

В день похорон Лери я ушел с кладбища последним. Выходя из ворот, оглянулся и увидел сидящую у могилы Лери собаку.

Та собака показалась мне знакомой.

Монолог PIETRO BERETTA (Из спектакля «Очкастая бомба»)

Сначала они выпили из глиняного рога с надписью «Да здравствуют гости!», потом опорожнили пиалу «Да здравствуют дети!», и затем, когда они только-только выпили кубок «Да здравствует любовь!», я и прогремел. Я вылетел из-за пояса моего прежнего хозяина и грянул, и продырявил потолок. Правильно — прежде всего любовь, и это все должны услышать, и еще: ничто так не украшает и ничто так не подходит любви и жизни, как смерть. И это тоже все должны знать!

Я потолок пробил, человека же не убил, но всем напомнил, что и я там присутствовал, я, PIETRO BERETTA!

Пока не убил, но скоро убью одного из них, там, на проспекте, у площади, на стотысячном митинге. Чуть не сорвалось — свалю, мол, но сразу же вспомнил, что говорить такие слова мне не пристало, ведь я — PIETRO BERETTA! Убей человека, но не унижай его, не оскорбляй, он ведь равен тебе, он — твой брат.

Скоро, очень скоро осуществится магическое таинство — когда митинг загудит «Ро-ди-на! От-чиз-на! Ро-ди-на! От-чиз-на! Ро-ди-на! От-чиз-на!»

И тогда!..

В ожидании этой минуты я вздрагиваю, и озноб пробегает по телу.

Однажды на одном застолье среди других сидело десять двойников Сталина, пировали! Десять двойников! Вот тогда в восторге я выстрелил десять раз. Понимаете меня?! Десять двойников! Сталина! Я бы и двенадцать раз прогремел, но две пули я все-таки оставил, так, на всякий случай. Вождю полагалось такое приветствие.

Когда убили моего старого хозяина, меня продали. На редкость дешево — всего за 300 евро! Меня, PIETRO BERETTA, продали, вместе с глушителем! За гроши! А у меня к тому же два предохранителя! И для правой руки, и для левой! (Главное, чтобы они не дрожали, как руки пьяницы или труса, они должны быть безошибочными, как руки профессионального музыканта.)

Нет, не слушался меня мой старый хозяин. Дебил! Вбивал я ему в голову: бойся друзей и умных. Не хотел слышать! Говорил: неспособны изменить! Не догонял!

Они-то и убили его — друзья-умники. Опереди их, говорил я. Н-е-е-т! Идиот!

Опереди и прострели им лбы, говорил! Н-е-е-т! Убей — и будет тебе прямо-таки невообразимое уважение от других. И это такая же истина, как древняя мудрость — $2 \times 2 = 4$. Н-е-е-т! Что, дважды два — не четыре?! Я точность люблю! Точность — она подобна выстрелянной пуле.

До того, несколько лет назад, он хотел утопиться в реке, но ему показалось, что вода слишком грязная. Подождал, пока вода очистится, да в ожидании

передумал топить. Педант! Чистоплюй — до тошноты! Хотел убить себя? Меня там не было, что ли? В таком деле кто мог быть вернее? Идддддидиот...

Потом добыл большие деньги, черные. И, соответственно, построил себе большой дом, полный всякого добра, и в том доме начал новую жизнь. Деньги были, я у него был, и он стал быстро усваивать новые манеры, как и положено новоиспеченному миллионеру. А ведь мог же остаться таким, каким был — простым и вольным, компанейским парнем, чего выпендривался?!

Кстати, поговорим об уважении. О, как они обожают силу! Посмотрите любые новости по ТВ: «В Японии мужчина 43-х лет убил жену и детей»; «В Америке маньяк изнасиловал пятерых несовершеннолетних»; «В Африке крокодилы сожрали супружескую пару». Акулы? Об акулах, своих героинях, они сняли столько фильмов, что жизни не хватит все пересмотреть.

И эти вот должны были создать меня?

И я превращаю в героев тех, которых позволяю убивать другим.

И я превращаю в героев и тех, которых сам убиваю.

А смерть, она никому так не подходит, как жизни и любви. Если ты нелюбишь жизнь, ты не сможешь никого убить. Если ты не любишь, то не сможешь мстить. Любовь, любовь прежде всего! Стихи не помните?

Однажды я попал в соседнюю страну. На похороны какого-то денежного мешка (его застрелили). Чего только не положили ему в гроб — чтоб взял с собой: включенную мобилу, включенный магнитофон — с любимыми песнями и мяуканьем любимого кота. Его молодая вдова, топмодель, голосила, а я беззвучно хохотал над этими идиотами. Друзья прямо с поминального застолья звонили свежесопшшему на мобилу и проливали слезы.

Так неужто и вправду я создан этими дегенератами? Это невозможно! Мой создатель — Отец небесный, Господь. Хотя в Библии об этом ни слова. Подозреваю, там все, что было записано, но эти остолопы стерли. Преступники и настоящие убийцы! Ну, погодите, мать вашу...

Скоро, очень скоро я уменьшу население этого мира на одного из них. «Роди-на! От-чиз-на!» Все сделаю так (я ведь сказал, что люблю точность), как и положено в истинной трагедии, — грациозно вылечу из кармана костюма, как черный орел, я — PIETRO BERETTA — и... шлеп! Вы не знаете орлов? Если у них умирает один птенец, они скармливают его другому, чтобы спасти будущее.

О, как раздражает меня временами этот город, один глаз которого взирает на Восток, а другой таращится на Запад.

Однажды я с трудом сдержался, чтобы не вмазать в задницу красавицы-минетчицы, победительницы конкурса жоп (да-да, жоп, а не каких-то там задниц и попочек). Как раз в тот момент, когда она потребовала, чтобы на ее заднице написали «Шекспир». Я бы всадил ей пулю как раз между буквами «к» и «с», да хорошо, удержался, это было бы недостойно меня, PIETRO BERETTA.

Мой теперешний хозяин — какой-то нервный тип. Мы часто упражняемся в стрельбе. Меткий клиент, но не убийца. Убийце нужно другое воплощение, другой полет, крылья, взметнувшиеся со скоростью пули. Ведь не может быть полета без крыльев, а у нового хозяина их нет. Должен иметь, ведь в этой стране часто меняют власть — и всегда требуется птица высокого полета.

Да, здесь больше всего нужны крылья, быстрые, как пули, то есть в этом деле больше всего нужен я.

Да, это я. Я навожу порядок, сохраняю равновесие и справедливость. Я уравниваю слабых и сильных. Я истинная опора равенства! Плевал я (с попаданием) на любую конституцию!

И когда я говорю, тогда государство отдыхает, и все его грязные правила исчезают.

У кого-то есть другое мнение? Нет? Так-то.

Я всегда делаю так, как научили меня мои великие предки — стрелы из лука и арбалета. Да пребудут их души в раю! Светлая им память! Люблю традиции. Тем более традиции столетий веков.

Знаете, смысл моих слов поймет только тот, в ком совесть чиста.

Когда я рыдаю, тогда на земле уменьшается количество любви. Поэтому я не имею права на мягкосердечность.

Слышали ли вы пронзительный серебристый звук в синем ледяном воздухе января? Это звук моей пули. Как бы женский? Нет, нет, он мужской! Я издаю только мужские звуки. Вы ведь слышали, как меня разбирают и собирают (да, чхак-чхук?!), или как я готовлюсь к выстрелу? Говорю вам, только мужские голоса сопровождают меня. Я — PIETRO BERETTA!

«Дамские» пистолеты тоже мужского рода. Хотя они мне противны: мне кажется, они педерасты и трансвеститы.

Одна дама не покорялась моему старому хозяину, но когда он показал ей меня, сломалась, сплелась с ним в объятиях. У меня в сердце тогда заиграл блестящий воздушный шарик, я почувствовал экстаз холодного жара и кончил в женском стоне. Это я, я овладел тогда той женщиной, а вовсе не мой дебильный хозяин. Я — PIETRO BERETTA! О, какая прекрасная задница была у той дамы — как заплывший в море океанский лайнер!

Мой итальянский акцент очаровывает кавказцев и совсем не удивляет их. Все относятся ко мне с почтением. В этом нет ничего удивительного — ведь я искренен. А они... Люди такими грязными словами обзывают друг друга, что по сравнению с ними мои пули — крылатые ангелы, а мой голос — голубиное воркованье.

Я бы всех их прикончил, то есть — создал бы заново!

«Время — круглое и стучит, как пуля» — нет, им не понять всей глубины этих слов, и, для того, чтобы они меня поняли, я вынужден говорить с ними на их низменном языке.

Разве только город, охваченный вожделием, сможет понять меня (да и тот только подсознанием и приблизительно). Когда задрожавшая подо мной женщина закрывает глаза, тогда широко раскрывается для меня ее сердце, — вправду, как роза. И смерть такова — я закрываю глаза человеку, и сердце его окончательно раскрывается перед Богом. Я и Бог в этот момент становимся очень похожими друг на друга.

«Ро-ди-на! От-чиз-на!» ... Нет, мой Армагеддон не будет отложен! Если и убежит, то куда он от меня денется? Умрет, задохнувшись, я поставлю пулей точку в его несчастном существовании, вместе с кровью и слюну распустил на асфальте! Убийца из-за денег, существо из болотной глубины, противный человечеству идиот! Тупица! Тупица! Я не в голову выпущу ему пули, куда-нибудь в другое место, а то он еще и уцелеет — ведь у него в голове нет мозгов!

На продолжении всей жизни каждый человек создает собственный остров и поселяется на нем. Любой человек одинок, кроме избранных, которые имеют друзей вроде меня, да к тому же у самого сердца. Чем больше многолюдное одиночество человека, тем крепче эта последняя дружба.

Я — хранитель тайн и лучший знаток природы моего хозяина, его тишины и его шума. Я упражняю его не только в стрельбе, я также научил его отдавать тепло. Когда он думает, что своей ладонью согревает меня, на самом деле это я согреваю его.

Я навеки делаю друзьями живых и умерших. Когда мы убьем того, кого должны убить, после этого убитый будет ежедневно напоминать о себе моему хозяину и не отстанет от него, и так они объединятся. Да, вот такое «похмелье» бывает у этого дела.

Я ведь не ублюдок-автомат, который убивает всех подряд без разбору! Я — PIETRO BERETTA, и я точно знаю, на кого и что нацелить.

Однажды я слышал, как потерявший совесть трусливый хозяин автомата умолял свое оружие: не давай мне убивать детей и стариков. Мне такого напоминания не надо — я не стреляю в тень моего избранника. Я смотрю в глаза противнику и выбираю целью его сердце и голову. Мне отвратительны массовые убийцы, я люблю конкретику, ясно?!

И я не какая-нибудь грязная бомба, PIETRO я, BERETTA! Не спутайте меня с другими. Мой аристократизм и отвага слиты со справедливостью!

Помню, как однажды грабители мучили моего прежнего хозяина. Неожиданно нагрянули, потребовали деньги и золото-серебро, отрезали ухо, потом это ухо изжарили на шампуре в камине и прямо на глазах у него сожрали: смотри, на что мы способны, давай деньги. Хозяин как будто стал искать деньги в ящике стола и неожиданно для грабителей вынул меня. При виде меня у них изменился цвет лица, от страха они превратились в зайцев. И если за минуту до этого слова моего хозяина были для них, что китайская речь, тут в одну секунду все поняли. Так что я еще и хороший переводчик, все языки знаю. А мой дебильный хозяин поверил им и не присобачил их (простите меня, собаки, вы тут ни при чем)... Не причеловечил! Только взял их в плен и сдал каким-то. Идиот! Те ублюдки деньги дали тем «каким-то» и через три месяца убили моего старого хозяина. А до того помирились, друзьями стали. Сколько я его учил, не поступай так! Гуманист! Гниет теперь в земле. Не поверил мне! Н-ее-т! Даже не дал тем нелюдям послушать мой голос, мой неземной ледяной голос, превращающий сердца в камень.

Я все удивляюсь, почему люди часто стреляют по праздникам или в минуту опасности вверх, в небо, туда, где, по их представлениям, обитает Бог. Прямо должны стрелять, только в Сатану, который гнездится в телах большинства людей. И пусть посмотрят в глаза жертве.

Скоро, очень скоро я услышу гул митинга и страстно ожидаемые мной слова «Ро-ди-на! От-чиз-на!»...

Буйволица

Перед тем как это произошло, мы пили водку.

Только что мы успели снова разлить водку, в пятый раз. И что-то свалилось на нас, погасило свечи, погрузило во мрак.

В блиндаже стоял запах водки, табака и влажной земли. А еще — рыбных консервов «Килька в томате». Запаха хлеба не было, хлеб был белый и плотный, сделанный словно из мяса.

Мы вшестером сидели на обрубках дерева, поставленных стоймя возле низкого и длинного стола, кое-как сбитого солдатами. А двое в дальнем углу блиндажа играли в нарды. После третьего стакана звук игральные костей слышался мне издали, как родная старая песня. Играющие в нарды бородатые солдаты стали похожими на библейских старцев, которые когда-то, в каком-то лабиринте времени, в зеленом и прохладном саду, близ прохладной и чистой реки, точно так, как сейчас, негромко перекачивали игральные кости.

Снаружи лил да лил тихий дождь, пытаюсь промочить насквозь целый мир. Зеленый, зеленый мир. Тихий, медленный дождь.

Из негромко шипящего транзистора лилась такая же тихая музыка. И в транзисторе шел дождь.

Та гора, где наши противники, как и мы, прятались в окопах и блиндажах, закуталась в туман и была совсем не видна. Мы не видели их, так же, как и они нас. В бинокль был виден только туман и еще, где-то подальше, белый, как туман, дым, наверное, дом горел, или навес, или лес. От горящих танков и машин идет черный дым.

Война отдыхала. Слышались только редкие далекие выстрелы.

Завернутая в полиэтиленовые пакеты, моя камера была прислонена в углу вместе с «калашниковыми».

Один из солдат, пулеметчик, рассказывал случаи из своей жизни. Иногда речь его прерывали или нардисты, или солдаты за нашим столом. Кто-то одно вспоминал, кто-то — другое. Пулеметчик рассказывал, как во время боя он затыкал уши патронами «АКС» и как потом уже начинал стрелять из своего «ППШ», уж очень громкий у него был звук. Как атаковали они однажды врага тремя танками да с шестью полковниками. Как взорвали враги все три танка, и как бежали и потом куда-то испарились все полковники. Не дай вам Бог иметь дело с невоенными, говорил он.

Пулеметчика сменил один из нардистов, рассказывал свой случай: как подорвали его БМП, как он выбрался-таки из охваченной огнем машины, как потерял слух и способность воспринимать цвета. Как целый час смотрел на беззвучный и бесцветный мир. А потом — как ел шашлык из разорванной в том бою коровы и обнаружил, что и чувство вкуса тоже пропало. Пулеметчик и нардист все время перебивали друг друга, каждый хотел для меня, человека из TV, сразу все выложить.

У стола сидел еще и пленный, рябоватый, лет двадцати, точнее, подозреваемый в том, что он враг. Его поймали в лесу два дня назад как шпиона, но окончательно так и не выяснили — враг он или нет. Он иногда взглядывал на нас с усталым ненавидящим любопытством. Наверное, все же враг был. А может, и нет. Водку и он пил. Когда он пил водку и запивал ее водой из фляжки, он меньше походил на врага. А до того, с этим своим взглядом, фляжкой, вместе с пнем, на котором сидел, и сигаретным дымом выглядел вполне полноценным врагом, стопроцентным пленным. И часть блиндажа была его собственностью, и меня самого удивляло, почему это мы делились с ним. Возможно, потому, что его лицо не носило печати войны — он был больше крестьянином, чем боевиком.

Пулеметчик вспоминал какого-то чиновника: он, мол, мой родственник. Вот так обычно «маленькие люди» стараются поднять свой престиж родством с «большими людьми». Он все болтал и болтал, надоел уже.

Пулеметчика все мучило, не давало покоя желание узнать, что чувствует раненный пулей, и что — раненный ножом. Война нас засунула туда, откуда мы еле выбрались, говорил он. А то не сидели бы тут, в этом чертовом блиндаже.

Наполеон (один из нардистов) ухитрился вставить в нескончаемую болтовню остальных и свой случай, рассказал, как однажды привели артиллеристы в его отряд топографа: из-за холма на другом берегу реки иногда выскакивает танк и стреляет по нам, а мы никак не можем установить орудие так, чтобы врезать по тому танку, нацель нас. Впервые попавший на фронт топограф заявил: что может быть легче! — и целый час вычислял какие-то градусы, плюс-минусы, азимут-мазимуты. А артиллеристы его все поторапливали: вот-вот, мол, танк выскочит. Сейчас, говорит топограф, чуть попозже, я уже полдела сделал, сейчас

мне нужен человек с рейкой, который должен стать на том месте, откуда выскочит танк...

Пленный тоже хохотал от души.

«Наполеоном» прозвали того солдата потому, что он мог заснуть во время боя. Какой-то военный историк написал о Наполеоне, что он заснул перед самой битвой при Ватерлоо.

Наполеон был хорошим рассказчиком. Он сказал о ком-то: это такой тип, что и у кентавра коня украдет; потом о другом: его лицо напоминает старинный пистолет. И еще: у этого мужика такой вид, будто он собственного брата сжевал... Может, он хотел нам понравиться, потому так изощрялся.

Так вот. Только мы успели налить еще по одной, в пятый раз, как что-то ухнуло, тяжело навалилось, грохнуло, блиндаж задрожал, все окуталось паром, свечи погасли, потемнело.

Мы подумали, что снаряд гаубицы упал на нас, или мина.

Когда первый испуг прошел, мы увидели перед своим носом, над столом, четыре черные косматые ноги. Коровы, быка ли, или... По ногам скатывались потоки дождя... Высыпав наружу, мы увидели буйвола, лежавшего на крыше блиндажа, а точнее, глубоко зарывшегося в его крышу...

Вечерело, и буйвол, вероятно, возвращался домой.

У вымокшего буйвола и глаза были мокрые. Он не подавал голоса, казалось, он и не изумлен, и не испуган.

— Это как же мы уцелели, — перевел дух Наполеон. — Хорошо еще, что накат из стволов акации.

Буйвол лежал поверх уложенных стволов, прорвав копытами толь.

— Она никого там собой не завалила? — как бы пошутил кто-то. Это оказалась буйволица.

— А вымя не повредила? — серьезно спросил пленник. Нет, он точно был крестьянином.

Обезголосившая буйволица только смотрела на нас влажными глазами.

Вскоре пришел пожилой крестьянин. За нами, всего метрах в двухстах, была деревня. Этот крестьянин и утром был у нас, принес нам водку и мацони. Смотрите-ка, какое крепкое мацони, похвастался он, хоть ножом режь его, не разрежешь. Оказалось, что мацони — из молока этой самой буйволицы, а сама она — собственность того крестьянина.

Буйволица все рассматривала нас влажными глазами, точно изучая. Голоса не подавала. Удивительная была буйволица.

Ни крестьянин, ни все мы вместе не смогли вытащить буйволицу из крыши блиндажа. В конце концов, пулеметчику пришла хорошая идея: мы залезли в блиндаж и подняли стол сначала до ног буйволицы, утвердили на нем ее ноги и потом подняли буйволицу вместе со столом. Очень было трудно, мы все аж взмокли от пота, но все-таки подняли ее. Потом буйволица перебралась на землю и пошла себе мирно по зеленой луговине, как ни в чем не бывало.

От случая к случаю я все это снимал. А в блиндаже все это время звучала музыка из транзистора.

Крестьянин все извинялся: она сюда обычно не ходит, да очень уж любит музыку, и потому свернула с дороги. У меня дома есть толь, я сейчас же принесу и заделаю вам крышу.

Рядом со мной пленник все никак не мог отдышаться, все отирал ладонью пот со лба.

Темнело, дождь все шел. Буйволица, размеренно покачивая боками, шла

уже между только что зазеленевшими деревьями. Крестьянин пытался ее торопить, но буйволица не обращала никакого внимания на его покрикивание.

Я снял и это.

После войны я пару раз предлагал эти кадры на телевидении, но их не пустили — они якобы не рейтинговые. Наверное, так оно и было.

В окружении

Мы в окружении: около сотни солдат, правительственные чиновники и среди них один-единственный телеоператор — я.

Мы заблокированы в двенадцатиэтажном здании. Второй, третий и частично четвертый этажи охвачены огнем. Я то поднимаюсь на двенадцатый этаж, то спускаюсь. Снимаю.

Мы в окружении: и со стороны моря, и со стороны гор в нас стреляют. И здание отвечает.

В свое время это был дом правительства.

А я спокоен, как Крис из «Великолепной семерки» или Гринго из «Золотой пули», побратим Чунчо.

Мы в окружении. Наши трусики, разбежались, бросили нас.

Кольцо сжимается.

Затем ведут переговоры, наши и они. «Сдавайтесь!» В здании думают, думают. «Сложите оружие в одной из комнат и спускайтесь». Не сдают оружия, не сдаются. Потом наши убивают военного-переговорщика, который идет к нам со стороны площади.

И снова начинается перестрелка, куда более яростная.

Я лежу на полу в приемной какого-то кабинета, курю. Рядом со мной скорчился солдат. Голову он пригибает к полу и из автомата, выставленного в окно поднятыми вверх руками, куда-то стреляет. Все больше в воздух. В кабинете на длинном и широком столе умирает раненный в грудь офицер. Кровь собирается у края стола и каплями падает на дубовый паркет. Стол совещаний, болтовни. Наверное, и для утех с женщинами.

Запах крови кружит по комнате, мечется в воздухе. Лежу, курю. Ну, конечно же, и для баб. Слышал я, и такие дела бывают в таких кабинетах. О, эти кабинеты! Обставленные, сверкающие, созданные для того, чтобы в дрожь бросать, запугивать, заставлять кланяться одних и тешить самолюбие других.

Солдат стреляет, время от времени повторяя: вот скоро пойдут в наступление наши, прогонят этих, и спасемся.

Если очень хочешь увидеть то, что хочешь увидеть, должен знать, куда смотреть. И мы смотрим вперед, назад, влево, вправо, но... Не видно воинства в белых бурках и на белых конях. Предали нас, бросили. И уже, наверное, где-то далеко драпают. Мать их... Как они там говорили? Мы с честью выйдем победителями?! Вашу...

День — солнечный. В небе — ни облачка. Издали заметно, как спокойно море. Судьбоносный день. Прощай, мир! Так красиво ты прощаешься с нами?

Который раз вверх-вниз пробегает Темур, с утра уже вмазавший водки, на нем лица нет. Иногда останавливается и вроде бы шутит. Его шутки еще яснее показывают всю бедственность нашего положения. Темур — мужчина лет пятидесяти, который все еще никак не может избавиться от молодости. Неудачливый чиновник, неуспешный бизнесмен. Однажды он повез на продажу в Россию соус ткемали. Так под его фурой одновременно сломались и собствен-

ный и деревенский мосты, и с тяжким плеском ухнула фура в реку вместе с ткемали. Потом он открывал то цех по выпуску колготок, то цех по выпуску женских трусиков. И везде одни убытки. Перед войной он мечтал о ювелирной мастерской по выпуску золотых изделий. А сегодня он окончательно потерял и мечты и, сдаётся мне, собственную голову. С утра мы оказались совсем одинокими, причем все. И сразу.

Рядом со мной валяется пыльный телефон. Мой редактор обычно насыпает ваниль в микрофон телефонной трубки. Говоришь, говоришь по телефону, и одурманивает тебя запах ванили. Я беру трубку — в ней слышны голоса всех, кто когда-нибудь говорил в нее. Кры-ша е-дет.

Я — Крис, я спокоен, словно меня снимают в кино, хотя чувствую, что у авторов фильма фальшивые пули давно уже перемешаны с настоящими.

Правда, я только что сказал: вот я оказался совершенно один, но ведь это не совсем так: кто-то, живущий во мне другой, не отстает от меня, помогает мне, разговаривает со мной, все время что-то подсказывает. Этот другой — верующий, даже без церкви и молитв. К тому же и мошенник.

Неистовствующий у окна солдат кому-то свистнул. Тот ответил также свистом. Затем с какого-то этажа соловьем засвистел другой. До вавилонского столпотворения мы, наверное, разговаривали на языке птиц.

Какой-то незначительный воинский начальник деловито стучит ботинками, с самого утра так вот и стучит. Что-то кричит, но в голосе его уже явно недостает металла. Металлики. Стали.

Лежащий на столе офицер умирает. Никому нет дела до его смерти. Да и до его жизни тоже дела никому не было. Лицо офицера становится туманно-серым. Говорят, от потери крови умирают спокойно. Сомневаюсь. Но вообще-то офицер и вправду угасает тихо, спокойно. Уже совсем скоро будет где-то в ином мире. В кабинете почти никого не осталось.

Может, и вправду смерть — это рождение где-то в другом месте. Или истинное рождение.

Я встаю, осторожно подхожу к окну и пытаюсь снять море и город.

Офицер легко сдался смерти, покорно пошел за ней. А те три солдата, которые были ранены три дня назад почти одновременно, отчаянно воевали со смертью. О, как они боролись. Истинно по-солдатски, точно выполняя чей-то приказ. Ожидали рассвета. Не наступил рассвет.

Их похоронили рядом с больницей, на кладбище конечностей. Одному в ладонь вложили два автоматных патрона, другому — три, чтобы после войны, когда их отроют, не перепутали.

Третьего похоронить не успели — атаковали больницу. Если мы уцелеем, тот третий не отстанет от нас. Не оставит в покое. Так бывает.

Та немецкая овчарка тоже родится где-то в другом месте, наверное. Убитая вместе со своим хозяином, размазанная по тротуару, смешанная с асфальтом.

И тот молодой солдат «в колумбийском галстук» — с языком, вытасненным на грудь через разрезанное горло; в рот ему вложили его отрезанный член.

Они тоже не дадут нам покоя, если мы, конечно, уцелеем. И это так.

Но если они все равно рождаются где-то, чего им от нас-то надо?!

Взбегаю-сбегаю по лестничным пролетам, брожу по комнатам. Август, а мне холодно. Пережитая зима — военная зима — не оставляет меня, холоднее холодной, необычная для этих мест. Мы столько воевали, что увеличили озоновую дыру своими авиабомбами, «градами» и гаубицами. Бедная Земля!

Мы играем в «городки» — разрушаем город. И мы, и они. Приморский город. Город-отдыхающий. Город многих тысяч взглядов, разноречивых песен,

город царства путешествующих и отдыхающих, где вместе со всеми, хочешь-не хочешь, отдыхают и горожане — с утра до вечера, с вечера — до рассвета. Трудятся и все-таки отдыхают. В такие места часто приходят нескончаемые войны. Все стараются войной приручить город. Здесь когда-то боролись народы других морей. Их оружие было украшено изображениями птиц.

Странная игра — «городки» — строить, чтобы разрушить. Единственная в мире.

На два дня я был захвачен водоворотом воспоминаний. Я теперь вроде начинающего старика. И хоть бы с многообразными воспоминаниями! Нет-нет, по одному, по два незначительных происшествия, которые бесконечно крутятся в голове. Они, может, помнят: о мягчайших формах тех дней, о мягком тепле постели, о твоём мягком дыхании, о цвете, о цветах. Твоя грудь и твои губы, грудь и бедра, волосы. Слова — мягчайшие, даже украшения — мягкие, мягкие очертания комнаты, женственные. Мягкий взгляд. Твои мягкие слова и мягкий характер.

В те дни в ветвях стоявшей у окна сосны сквозь хвою улыбалась мне Венера даже в полдень, наверное, запутавшись в ветвях. «О, мое сердце — ступенью пусть будет тебе». Нет, я не вспоминаю чьи-то слова, я их придумываю. Какой-то солдат смотрит на меня с изумлением, он сидит в коридоре, опершись спиной о стену, и курит травку.

Кто-то в каком-то кабинете покончил с собой. Мужчина легко убивает себя. Женщина — нет. Женщина — это фабрика жизни. Она ткёт новые жизни, словно ковры.

В кабинеты стучится война, стучится изо всей силы, своими искореженными руками и искореженными ногами — незваная гостья. Фальшь кабинетов подышает вместе с ними.

В коридоре встречаю Гамлета — городского сумасшедшего. Что ему здесь надо? Этот амиго и не совсем сумасшедший, и не совсем нормальный. Ненормальность таких, как Гамлет, замечают только в небольших городах. В больших городах и настоящий сумасшедший намного меньше ненормален. Маленький город больше видит и замечает, большой — близорук, ему некогда, он спешит. Большой город — арена для сумасшедших.

Гамлет ранен в руку. Войны всегда начинают преступники-умники и преступники-гении, а наказаны бывают Гамлеты.

Меня охватывает неожиданное сожаление — мне вспомнился младший брат. Однажды в детстве я не поделился с ним лимонадом. Он заплакал. На следующий день брат сломал ногу и его отвезли в больницу. стакан, из которого я пил в тот день лимонад, я разбил об стенку — видеть его не мог. Хорошо еще, что брат сейчас в безопасности. Это меня успокаивает.

Стрельба прекращается. Кажется мне, сдаемся. Я спокоен. Я — Крис. Я — Гринго.

Наши складывают оружие на длинном столе в зале на пятом этаже. На брошенные на стол автоматы кладу и мою видеокамеру, кассеты — в сумку. Вот и моя камера закончила свою войну. Камере капут! Если обнаружат, что я журналист, возможно, меня расстреляют. Из окон четвертого этажа видна площадь. Там победители бьют побежденных прикладами автоматов.

Осада закончилась. Сейчас начинается другое несчастье.

Я отвожу глаза от окна, от площади, от ненавидящих лиц и прячусь в одной из комнат третьего этажа. В комнате огонь уже потух, но дым еще идет. Он клубами вырывается из широко открытого окна и поднимается к небу. По обутленному паркету на цыпочках перебегаю комнату, сажусь на подоконник, высовываю голову в окно и стараюсь не наглотаться дыма.

Окно выходит на внутренний двор здания. Там никого нет.

Наверное, с полчаса провожу так. Открывают дверь, заглядывают в комнату, но меня не видно. Потом заглядывают в другие комнаты. Я ломаю кассеты и выбрасываю их в окно. Выбрасываю из окна и свой рюкзак.

Затем выхожу. Они поднимаются наверх, забирают трофейное оружие и потом опять возвращаются во двор. Следую за ними, беру из оставленного нашими на пятом этаже оружия автомат и карабин и спускаюсь вниз. Некоторые из поднимающихся наверх хлопают меня по плечу — поздравляют с победой. Со двора время от времени доносятся автоматные очереди.

Мы и они ничем не отличаемся друг от друга: лица и вид одинаковые, военная одежда, автоматы. Главное, чтобы меня не узнали по акценту.

Во дворе несколько трупов. Пленных куда-то увозят в микроавтобусе. Среди убитых и труп того солдата, который стрелял из окна, нагнув голову.

У здания стоит микроавтобус с красным крестом. На нем увозят своих раненых. В свой госпиталь. Место возле водителя свободно.

— И куда ты увозишь их? — стараюсь, чтобы голос мой был спокойным и гордо-усталым, как и положено победителю.

— Оперировать. Дашь карабин, заберу и тебя.

— Разве автомат не лучше карабина?

— Я охотник. Наверное, война уже кончилась, сейчас буду охотиться на кабанов и медведей.

Я отдаю ему карабин и усаживаюсь рядом.

До их госпиталя около пятидесяти километров. Там только они.

Дорогу нам перебежала испуганная косматая собака.

Осторожно, амиго, осторожно, родной! Festina lente, братишка! Хорошенько оглянись вокруг, дружище, эта земля только наша — человек.

В пригороде останавливаю микроавтобус. Садами и парками перебегаю к военному санаторию. Здесь не стреляют — одни убежали, другие еще не пришли. В санатории, в аллее камелий завожу оставленную здесь мою машину. Через три часа я уже еду по дороге к перевалу. Дальше на машине ехать невозможно — крутой перевал могут преодолеть разве что трехосные грузовики да еще «БМП». Оставляю машину в начале перевала. Вокруг ни души.

Отец,

я не потому пишу это письмо, что помирился с тобой. Я хочу, чтобы ты точно знал: я не люблю тебя!

Я устал от ваших геройств и трагедий — без начала и без конца. Жизнь ваша руководствуется ими. Мне там нечего было делать, и вот я оказался в Испании, а где буду завтра — не знаю. Вы превратили меня в вечного странника.

А ваши хронические поражения! Я сыт по горло, отвратительны ваши гуманитарные разности, на них вы меня растили! Спасибо! Да еще гордились всем этим, но не чувствовали, что это лишь гордость идиотов, и ничего больше. Матрасы, вода в бутылках, мука, растительное масло... Даже надежду сделали гуманитарной. И то, как вы объявляете: крейсер доставил нам гуманитарные продукты, длина крейсера 208 метров. Кого вы пугаете? Чему радуетесь? Нашли, чем хвастаться.

Какие приемы устраиваете тряпкам и кускам хлеба — с министрами, фейерверками, чашами вина и заздравными тостами. Чтоб вас, с вашими глупыми спектаклями... Куда торопитесь?

Как хорошо видны вы отсюда... Вы не любите того, которого чаще всего вспоминаете — Бога! И конечно, того тоже не любите, которого уже и не

вспоминаете — Человека! А собственную голову уже давно оставили где-то, да и зачем она вам, эта мотовка и дурочка.

Нигде бы не задерживался больше, чем на день, все бы странствовал, имея я такую возможность, но в здешнем театре я бросил якорь, работаю. Делаю то, чему успел выучиться. Уже ничего не читаю на родном языке, хватит и того, что прочел. Только на испанском! Помогает. Совершенствую мой испанский. И каталонский. Я сегодня ползаю на пузе по пустыне для того, чтобы завтра летать над горными вершинами.

Я сказал себе: если где-либо встречу искренне кающегося человека, там и будет моя родина. Ищу и жду...

Помню — однажды приведенная на бойню корова вдруг заплакала и, обессилев от страха, упала на колени. Весь залитый кровью мясник не смог ее убить, и у него на глаза навернулись слезы. Почему я вспомнил об этом? И ваше нулевое сочувствие туда же...

Вы создали культуру, и что дальше? Для чего вы ее использовали — она вам ни в войне не пригодилась, ни в мирное время, которое вы сделали более страшным, чем сама война. Поищите, найдется ли среди вас хоть один человек, говорящий таким сладким языком, чтобы даже змею выманить из расщелины. Ну, и к чему же вам ваша культура?

Моя мать вышла замуж в Америке, они с Марком познакомились по интернету. Она сбежала от тебя и от твоей страны. Но в первую очередь, она сбежала от меня. Вы все вместе бросили меня, и еще так внезапно, как сговоровшись. Ну и черт с вами, я все это уже переварил, отбросил. Чужие страны лечат меня, я не один, а вот что поможет тебе или моей матери? Ты хоть раз поинтересовался, счастлива ли она, мать твоего единственного сына?

Вчера у меня была страшная ночь: мне приснились все статуи вооруженных всадников, какие только есть на земле: царей и императоров, военачальников и героев... Все сразу. Все они плавали в бурлящих потоках крови. Больше всего крови пролили массовые убийцы, закомплексованные умники. Если тебя не душит злоба, если не вырос ты ущербным физически, ты не станешь исторической личностью, не будешь господствовать над людьми. Вообще-то удивляюсь: почему нет у вас конных памятников великим мясникам — Ленину, Гитлеру, Сталину.

А ты мне все вдалбливал: культура! культура!

О какой культуре говорил мне ты, сын страны нескончаемых митингов? Ты, подножие всяких-разных? Клиент зарбазанского общества? У меня и сейчас еще звучит в ушах ваше митинговое: «Джос! Джос! Джос! Гаумар-джос! Джос! Джос! Джос! А сейчас — на колени, сограждане! А сейчас — встаньте! Сейчас руки вверх! Пойте, сограждане! Кричите! Плачьте! Гаумар-джос! Джос! Джос! Джос!»

Здесь люди издали узнают меня, как сына несчастной страны — мое лицо несет на себе отпечаток ваших войн. Это — твой автограф, родина моя, твое наследие.

Если бы мир широко распахнул перед вами двери, папочка, вы бы все убежали со своей родины. И так половина народа уже сбежала от вас.

Настоящую жизнь вы заменили телесериалами, истину променяли на телеинформацию. Вы на собственное несчастье смотрите так, словно все это происходит с другими.

Всё, умерли для вас и совесть, и судья. Выдумываете примитивные мифы и тем успокаиваете себя. Так вы чувствуете себя комфортно. Вы боитесь правды, чтобы враги не узнали, и уже даже дома говорите шепотом. Даже выключенная

мобиля настораживает вас — прослушивается. Вы и раньше не говорили себе, да и сейчас не говорите того, что необходимо было говорить во всеуслышание.

Ваш страх и ваш конформизм вызывают у меня тошноту, вы бессовестно «свободные»!

Джос! Джос! Джос!

Вообще-то, если бы вы знали некоторые мои мысли, вы бы натравили на меня Интерпол. Но я уже далеко от вас. Все, довольно. Сначала я отдалился от вас на расстояние брошенного камня, а сейчас — только вы меня и видели.

Не закончились еще ваши нескончаемые застолья, ваши концентрационные забавы вольной и сладкой жизни? Вы, садомазохисты, рожденные для трагических празднеств! Ненавижу вас!

Хоть бы я родился в Австралии или вовсе в Буркина Фасо. Только из телевизора знал бы про вашу жизнь. А вы еще гордитесь: смотрите, весь мир о нас говорит. Торговцы несчастьем! Как будто вы не знаете, что по ТВ говорят только о самых отчаянных ситуациях: землетрясениях, наводнениях, войнах, трупах... Вы находитесь в той части мира, в сторону которой другим и смотреть противно.

Слава Богу, я свободен и от короля и от стада!

Как вы скомкали страну — словно бумажку, которую собрались выкинуть в мусор! Как вы заставляете людей бегать на митинги между церквями и домом правительства — словно отару овец?!

Вы уже привыкли и даже полюбили свои несчастья и саму смерть! Ни на что не променяете. Да, вы красите свои дома, но души ваши по-прежнему темные и отчаявшиеся, потрескавшиеся и облупившиеся, как старые-престарые стены.

Еще в юности пугала меня родина, та родина, которую вы и ныне не видите, а я знаю ее, как свои пять пальцев.

Я бежал, чтобы не утонуть в вашем болоте. Убежал, чтобы не сойти с ума.

Вечно смотрящие только на одного человека и надеющиеся только на него, вы не изучили ни науки капитанства, ни науки экипажа. Страна одного человека! О, с каким восторгом вы поднимаете, как знамя, этого одного человека, а потом, с тем же восторгом, бросаете оземь! Вы не-нор-маль-ные!

Удивляюсь, как вы до сих пор не выродились.

Вы уже ни кино не снимаете, ни в футбол не играете, ни книг не пишете. Только старыми и жалкими достижениями тешите себя. Вот она, ваша винная философия и бездумная вольность. Вы думаете, что вы — пирамида, а разрушаетесь подобно колоссу на глиняных ногах. А заодно разрушаете нас. Пирамида уцелела потому, что имеет пирамидальную опору. А вы — лишь верхушка без основания. Ось у вас перекосилась. Сколько лет уже, как плывете, не зная куда...

И готовы вы только к самоубийству.

Надеюсь, ты узнал меня.

Ну, что, наконец-то объявился, парень?

Но что тебя так вывело из себя, что так ударило? Или ты шутишь? или прорабатываешь текст спектакля?

Где ты был до сих пор?

Помнишь, я снял однажды казаха в пустыне? Который искал коня?

Не нашел, поскакал в глубину пустыни и крикнул потерянному коню на четыре стороны света: Джамы, береги себя, Джамы! Четырежды прокричал так.

Вот и я все три месяца звал тебя: где ты, Лаша, отзовись?!

Не думаю, чтобы ты мне не поверил.

Тяжело было читать твое письмо, горько ты пишешь, парень, всю ночь я не мог уснуть. Продолжаешь старый спор?

Ты рассержен на весь мир, а не только на свою страну, или хоть на меня. Можешь на меня сердиться, пожалуйста, но не на свою родину и не на весь свет. Ведь есть же какая-то граница?

Жизнь — как игра, а в любой игре кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ты сегодня сын проигравшей и побежденной страны, но эта страна — твоя родина! Не изменяй ей, не заслужила она таких слов. И если бы другие, раньше, исторически, поступали с ней так, как ты сейчас, мы и вправду не дожили бы до сегодняшнего дня.

Что поделаешь, весь мир таков — люди проходят через эпоху варварства. Никто не знает, когда это кончится.

Лаша, убежать легче всего. Ты должен быть здесь и помогать своей стране.

В Сибири, лет тридцать назад, ученые обнаружили уникальное растение, нигде в другом месте не произрастающее, — на площади в 30 квадратных метров. Дрожали над ним, оберегали, и что же?! Проложили там автостраду, и погибло растение, навсегда исчез еще один вид жизни на Земле. Ученые скорбели по поводу нескольких стеблей. Твоя страна похожа на то растение, Лаша! И если она — самоубийца, ты-то не подталкивай ее к этому. Твое бегство равносильно тому, как если бы ты оставил больного, прикованного к постели родителя.

Признаки всеобщей болезни есть и там, где ты сейчас. Пусть бы только мы были в таком положении, здесь, а другие — нет. Тогда мы легко смогли бы помочь себе. Нам не могут помочь. Никто не может.

Давным-давно закончилось время рыцарских войн. Сегодня даже в самых маленьких войнах погибает гораздо больше мирного населения, чем солдат. Почему? Человечество превратилось в монстра. Хорошенько оглядись, загляни в глаза мировой фальши, вокруг множество безумных празднеств, а ты думаешь, что они есть только у нас.

Я согласен с тобой — мы так мчались вперед, что оставили позади свое будущее. В том будущем предполагалась наша осторожность и возможность уравновеситься. И потому мы бездумно залетели в странное время. Но и другие так же летали.

Высокомерен ты, Лаша, и горд. Ты тоже не сумеешь быть простым членом экипажа, и ты такой же, как и те, с кем ты борешься. Почти никакой разницы. Ты тоже бегаешь по Земле за небесными видениями и не можешь их догнать.

Меня испугало твое письмо — ты сам стал похож на самоубийцу.

Ты так разговариваешь со мной, словно я твой сын, а ты — мой отец. И бранишь меня. Наверное, я заслужил.

Ты тоже несешься, еще быстрее, чем твоя страна. Не торопись, иногда остановись и послушай меня — я иду из более далекой дали.

В конце концов, каждый из нас таков — ему нужен враг так же, как и друг. Нам необходимо чудовище, так же, как нужен и Бог, который для нас — на небе и который равно слушает любого человека, даже такого неверующего, как ты. Бог для нас на небе, сатана — на земле. Земля принадлежит сатане, а мы хотим, чтобы небо было только для Бога, чистое, чтобы мы смогли после смерти нормально отдохнуть там, в конце-то концов.

Человек потому и убегает в чужие страны, что считает те страны хотя бы частично небесными. А ведь Земля, Лаша, она везде Земля, одна-единственная.

После твоего письма я испугался: а вдруг он надолго останется на чужбине? Но надеюсь, мой страх не оправдается.

Ты везде пишешь «вы». Пишешь так, будто ты — другого роду-племени. Это еще что за несчастье? На что это похоже?

Что ты удивляешься власти, она всегда борется за большинство и добивается его, используя тысячи способов и уловок. Чтобы страна стала похожей на государство, власти меньше всего нужны люди неприемлемого и неудобного для нее ума и искренности. А мы уже становимся похожими на страну. Так было всегда. Твоя юношеская совесть мешает тебе увидеть это. Твоя необычная любовь переросла в ненависть. А государство есть государство, на него не должны быть в обиде ни за дубинки, ни за струю водомета.

Если ты хорошо и долго подумаешь, то поймешь, что в этом мире нет виноватых.

Ты выучил уже шестой язык, тебе не составит труда и подумать.

Жизнь — это не зона счастья. Для счастья отводятся лишь минуты. Скажем, едешь ты на машине, идет дождь, включена музыка, и вдруг неизвестно отчего перехватит дыхание, и ты ощутишь себя необыкновенно счастливым. Всего на несколько минут. Слава Богу, что есть такие минуты.

Короче, вот что: рай — в сердце, а живем мы в аду.

Та страна, в которой ты родился, вместе с другими строила коммунизм. Что же произошло потом? Последняя ступенька строящегося коммунизма обернулась первой ступенькой лестницы в ад. Несмотря на это, мы и в то время имели минуты счастья — счастья не всей страны, а нашего, личного. Нашей жизни, нашего детства, молодости...

Богу было угодно, чтобы ты родился в это время. В это время и здесь.

Мне тоже помешали в жизни старшие, я тоже несколько раз восставал, и надолго. И передо мной никто не извинился за то, что произвели меня на свет.

А я вот думаю, как принести тебе извинения, чтобы ты принял их.

Согласен — несчастье стало нашим союзником, но оно же и делает нас сильнее. Придорожная трава, когда ее топчут, только глубже пускает корни.

Что ты удивляешься политикам — политическая авансцена везде маловата, а желающих сыграть главную роль — несть числа. Никто не любит долгого ожидания за кулисами.

Сегодня, когда нас шесть миллиардов, у нас гораздо меньше мыслящих. Раньше было больше. Как, скажем, в Греции. Закончилась эпоха просвещения. Сейчас пора утраты знания и всеобщей ненасытности. Сохранить истинную духовность могут лишь немногие. Время национализма, бьются многочисленные и малочисленные народы. Умерли мифы, но мы снова встретим их впереди. Мифы ведь вневременны.

Человек сегодня жалок и одинок. Ему необходима поддержка и ободрение, а ты... Ты уже не маленький, должен другим помогать...

Не за ум — за любовь и сочувствие любят Христа.

Напиши мне скорее,

Ираклий!

По твоему письму видно, что ты опять ставишь Шекспира. Наверное, опять «Гамлета».

Здравствуй, Ираклий,

я в Греции. Здесь в церкви, как и у вас, целуют иконы. Ночью женщина тряпкой протерла иконы. Сколько поцелуев стерла!

В эти дни мы снимали одну фирму. Они делают доски из мусора. А из досок делают музыкальные инструменты — скрипки, пианино, виолончели, гитары...

Если из всего мусора мы наделаем музыкальных инструментов, будет только музыка на всей планете (для книги).

Клаудия

Клаудия,
один тип затеял такой бизнес — издал карту с обозначением офисов, вилл и дач денежных людей в качестве исторических достопримечательностей.

И,
Здорово!

Клаудия,
Дети из детского сада объявили забастовку. Вышли с лозунгами «Help me, msorpio»¹. И поют при этом.

Здравствуй, Ираклий,
когда ты в первый раз поцеловал меня, я почувствовала, ты целовал другую женщину, другую любил и ласкал меня вместо нее. С ней разговаривал, по инерции другой любви. Кто была эта женщина? Где она теперь?

Кл

Клаудия,
ту женщину я любил только один день, на второй день разлюбил, а на третий — и не вспомнил.

Ираклий

Здравствуй, Ираклий,
ты сейчас, наверное, спишь, по своему обыкновению, обычно, упрямо. Твои 24 часа одно, а мои — совсем другое. Ты не измеряешь день и ночь ни минутами, ни часами. По иному меришь. Когда мне кажется, что у тебя дела плохи, ты смеешься, шутишь. Ты построил себе остров, на котором юмор, шутки, алкоголь. Морской бриз на том острове синтезирует все это, таков твой комфорт.

А я читаю старые книги. Сколько времени, не читала книг, которые изменяли жизнь. И куда они нас привели?

Как поживает твоя книга?

Клаудия

Клаудия,
сегодня я видел женщину, которая смотрит на мир только глазами мужа. Мой муж сказал о соседском ребенке — как он вырос... Мой муж сказал — это правительство ничего хорошего не сделает... Мой муж сказал — зима будет снежная...

Стояло утро, а та женщина уже ждала прихода мужа со службы. Нет, не прихода — однажды, когда муж пожалует домой.

Лицо у нее было таким печальным и трагическим, словно она была свидетельницей всемирного потопа.

Ир

¹ Клаудия набирает английскими буквами слово, по-грузински означающее «мир».

Здравствуй, Ираклий,
океан Земли выбросил меня на берег в твоём городе, и он теперь и мой тоже. Я вижу, взгляды на жизнь иногда мы имеем одни и те же. Помнишь мой фильм — когда птицы вместе, тогда они легко перелетают с континента на континент.

Но ты не любишь летать. Посмотри в кино — американцы мечтают о турне по Европе, европейцы — о турне по Америке. Ты не хочешь на длительное время покидать свою страну. Подумай, может Кавказ — это уже в прошлом. Seriously.

И у твоей планеты нет адреса. Все адреса засекречены. Есть твой-мой город, знакомый-незнакомый город, люди в секондхендовской одежде, в секонд-настроении, секонд-люди, секонд-независимость. То есть этой независимостью уже кто-то пользовался. Город-подиум.

Для книги: есть одна партия, у которой есть трибуна в виде огромной пивной банки с надписью «Пиво и Слово».

Клаудия

Клаудия,
я не смог ответить вовремя. Ничего не понял из твоего письма, очень уж ты серьёзная. И клавиатура у меня испортилась — я на неё кофе пролил. Потом я был в горах, там интернета не было, да и света тоже.

В горах я спал в школе, какой-то джигит заехал в школу на лошади, поднялся по лестнице. Отодвинул занавеску в комнате и начал говорить. Джигита видно не было, но голова лошади была как раз над моей головой. Лошадь шевелила губами и мне показалось — разговаривает лошадь. Я чуть не рехнулся. Потом мы смеялись. Смех — это хорошо, а то мы с тобой слишком серьёзными стали в последнее время.

А знаешь, я сегодня смотрел по ТВ путешествие на поезде по Швейцарии! Целый час, с хорошей музыкой. Правда, а не поселиться ли нам там? Я так наслаждался видами Швейцарии, может, даже больше тех, кто сидел в этом поезде — опрятные, шумно-веселые, ворчливые... О, как я, оказывается, люблю человечество!

Сегодня снял митинг муляжей-манекенов, испытывали муляжи. Здорово вышло, ожидания оправдались. Со знаменами. И скандировали: «Ро-ди-на! От-чиз-на! Га-у-мар-джос! Джос! Джос! Джос!»

Потом в городе я увидел столько людей для митингов, столько... Может, лучше бы стране сэкономить на муляжах, и совсем не нужно было покупать их за границей.

А позавчера был на горном курорте — после бомбежки загорелись хвойные леса. Не могли потушить, и высокий правительственный чин приказал зарезать жертвенного быка и позвать стариков-молельщиков, вызывающих дождь. Они молились: ах, Лазаре, Лазаре... Знаешь такую молитву? И представь себе, Лазаре помог, вызвал дождь и потушил пожар. А народ попиравал от души.

Члены «Партии Господа» открыли два ресторана, на берегу реки и на горе, — «Гуляй, голубчик» и «Что еще нам остается». Такая партия и вправду существует, я не выдумываю. Несколько лет назад они по телевизору уговаривали народ: вы только отдайте нам голоса и увидите, мы знаем, что делать, вы поддержите нас, ведь мы — «Партия Господа».

Эх, Клаудия, Клаудия, раньше вы смеялись в моих снах, а теперь плачете и говорите что-то непонятное.

Твой Ираклий

Дареджан и Дато

Дареджан: Вся моя жизнь прошла возле аэропорта. Я узнаю по звуку любой самолет. Слышу — «Ту» подлетает. Белье развешиваю. Самолет приближается к аэропорту. Слышу глухой звук, что-то такое: «Бух!» Говорю брату: «Посмотри, что-то он плохо летит, этот «Ту». Он уже как-то боком подлетал. Уверена, с моря стреляли. Он еще до бетона не долетел, как взорвался, надвое разлетелся. Носовая часть вперед вылетела, а задняя отстала, потом обе части вспыхнули.

Из передней части девять человек уцелели. Среди них два пилота. Когда я подбежала к самолету, один парень пытался убить себя охотничьим ножом — его любимая девушка погибла в самолете. Я у него нож отобрала. Вон, в сумке у меня и сейчас еще. Гляньте, у ножа рукоятка в виде ноги оленя.

К самолету нельзя было и близко подойти, таким раскаленным был воздух. Что-то горело с треском. Может быть, пластикат, а может — трупы. Не знаю. Вокруг стоял запах горелого мяса. Теперь, наверное, никогда не смогу есть мяса. Потом неподалеку от аэропорта разорвался снаряд, неизвестно откуда выстрелянный. И мы убежали. Из самолета доносились страшные звуки: ууууу... Наверное, это были души умерших.

Дато: Я дежурил в аэропорту. Там была какая-то перепалка — мы не пускали вооруженных людей в аэропорт. Они от войны убегали, а оружие не оставляли. В это время показался самолет. Кто-то сказал: в самолет попали снарядами. Другой сказал: не устраивай паники. Самолет и в самом деле плохо летел. Видимо, и вправду снарядами попали. Мне показалось, в крыло попали. Со стороны реки стреляли. Если бы с моря стреляли, наши ребята увидели бы — они же контролировали море.

Едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, он распался на три части. Только нос уцелел. В том носу сидело человек двенадцать. Они и выжили. И пилоты выжили. Другие части закрутило по бетону, они загорелись. И хвост взорвался. Пожарные тут же примчались, за полчаса потушили огонь.

Когда я подбежал к самолету, то увидел обугленных, прижавшихся друг к другу солдат. Стоял запах сгоревшего сахара и гречихи. Они и бензин везли, и снаряды. Все взорвалось. Меня тошнило от запаха горелого мяса... Парни сказали: «У нас сердца слабые», — и не притронулись к мертвецам. Нам, несколькими, и пришлось заниматься этим делом. Помогали две медсестры. Одну звали Дареджан, хорошо помню.

Часть солдат мы похоронили в аэропорту, часть — в ущелье реки, мы перевезли их туда на грузовике.

Эта Дареджан — просто молодчина, она у парня нож отняла. Тот парень хотел зарезаться. Не знаю, по какой причине.

А двух солдат не смогли отделить друг от друга — так были сплавлены их тела.

«Крылья Родины»

Нас было двенадцать. Мы сидели по кругу, на стульях с высокими спинками, в самом большом зале краеведческого музея. Поочередно плевали в лицо друг другу. Каждый из двенадцати плевал в лицо своему соседу слева. Я тоже. В меня, само собой, справа плевал правый сосед. И так мы плевались в течение пятнадцати минут, пока рты наши не пересохли.

Потом мы встали и стали по очереди бить друг друга головой — справа

налево, опять же по часовой стрелке. Меня, само собой, бил головой по голове справа мой правый сосед. В музее в течение пятнадцати минут слышался звук глухих ударов. От этого у нас закружилась голова.

Потом мы разделись догола, встали на стулья и молча стали мочиться друг на друга, разумеется, опять поочередно. На меня, само собой, справа, мочился мой правый сосед. Этот процесс продолжался всего пару минут.

Затем опять расселись и снова плевались друг в друга.

Все это мы снимали четырьмя видеокамерами и назвали перформанс «Крылья Родины».

Очкастая бомба (из спектакля «Очкастая бомба»)

Когда люди ничего не боятся, именно тогда она и появляется. Сначала промелькнет — продолговатая, крылатая, округлая, потом сверкнет молнией — наполовину черная, наполовину серебристая. Со своими длинными номерами, незнакомыми обозначениями и буквами. Прямо на голове у нее телеглаз, то есть устройство, прикрытое толстым стеклом, вроде как для очков, благодаря чему она следит за всем своим умным взглядом.

И тогда начинают дрожать от страха благоустроенные, спокойные города, со своими TV-играми, TV-викторинами, TV-опросами.

И пропадают у предметов цвет и форма, у еды — вкус, у людей — разум. Неожиданно и сами по себе отравляются нивы и вода, вино превращается в уксус. Страх начинает пульсировать в кровеносных сосудах и в водорослях. У людей слова перемешиваются, как зерна риса и кукурузы, и они вконец перестают понимать друг друга.

Это означает, что окончательно наступило ее время.

Она внимательно вслушивается в звуки, в беседы, в телефонные разговоры. То с луны, то со двора, то со звезд, даже с непредставимо далеких галактик. Со всех сторон, даже с кончиков ногтей человека.

Старается услышать даже те слова, которые еще никем не произнесены.

Из-под воды, из-под земли, и справа, и слева... И днем смотрит, и в полночь. И видит.

Любая информация, справка, радостное или горестное событие, спокойно, систематически оседает в ее памяти, обосновывается там и ждет своего часа.

Постоянно что-то высчитывает, складывает какие-то числа, вычитает, делит, умножает.

Ни землетрясения, ни бури, ни цунами... Только очкастая бомба может справиться с нами.

Когда из-за чего-то сжимается сердце, или сержусь другой раз, или воспоминание взволнует кровь, тогда в очкастой бомбе напрягаются миллионы пружин, приходят в готовность миллионы шестеренок, маятников, антенн, беспроводных контактов, счетчиков, деталей, локальных центров; начинают мигать миллионы ее лампочек.

В ее лабиринтах, отверстиях начинает звучать странная незнакомая музыка, и она ведет разговор с другими очкастыми бомбами.

Она там, где человек одинок, или где двое встречаются друг с другом, или где собираются тысячи людей. Она и там, где нет ни одной живой души. У каждого человека своя очкастая бомба, как звезда судьбы.

Моя очкастая бомба старится вместе со мной, и я не знаю, когда обрушится на мою голову ее гнев.

Если она не убьет меня и я умру своей смертью, или притяжение земли для меня иссякнет, я сам взлечу — устремлюсь к ней на седых моих крыльях, и мы вместе исчезнем.

Она очищает мой шум и мое молчание и записывает на сердце каждое мое слово, каждую мысль.

И летает она в космосе по тем дорогам, которые проложили для нас и для нее собаки и обезьяны.

И спешит она, спешит, только, как всегда, не спеша.

Она упражняет меня в самоубийстве, вот таким образом вместе мы убиваем время.

Я верю: она для меня — дар Бога.

В моих цветных снах она сначала проскользнула, как санки в бобслее, чиркнула в небе лучом лазера и потом помчалась ко мне вниз со скоростью в сто раз большей, чем скорость света.

Она слушает мое сердце так, как мать слушает сердце своего сына, погибшего от несчастного случая, сердце, которое пересадили другому мальчику.

Такова она, очкастая.

А если вы как следует понаблюдаете за ней, то за толстым стеклом вы увидите волшебно мигающие миллионы ее красных глаз, чужих и родных одновременно.

Она никогда не спит. Ее молчание шумит и в людях и в самой земле.

Иной раз она удаляется от меня на один миллиметр, а иногда приближается ко мне на миллионы километров.

В сущности невидимая, она убивает человека то в катастрофе, то — инфарктом, а иногда совсем просто — пресекает дыхание.

Очень, очень редко взрывается.

Лучше меня никто не знает, как она убивает.

Она держит в плену мою совесть и ежесекундно проверяет ее.

Ненавижу ее.

Люблю.

Боюсь ее. Она дает мне надежду, поддерживает. Избавительница. Погубительница.

Поэтому я не хочу, чтобы она знала мое самое сокровенное.

Не хочу, чтобы она поняла нас, и потому тайно пишу эту книгу.

Я ведь тоже не меньше ее очкасто-умный.

Какой смерч, какой шторм я для нее готовлю, не знает никто.

Язык мой — тайный, и мои рассказы, как записи на глиняных табличках, как будто рассказывают вам совсем о другом, на самом же деле... Но не так уж и непонятны, чтобы в лабиринте этой книги вы не смогли бы вычитать то, что я хочу сказать от всего сердца вам и вашим бледным снам.

Выбираю кадры

Отснято Лери: дальний вид города. Черный дым, тоже далеко. Убегающих от войны людей катер перевозит на десантный корабль, стоящий далеко в море. Паника, давка, узлы, чемоданы, крики, полубезумные лица... Охотничья собака пытается доплыть до катера, но волны отбрасывают назад. Что тут гадать — ее хозяин на катере. Отчаявшаяся брошенная собака упрямо пытается переплыть

море. С задыхающимся, бешено бьющимся сердцем... Может, использует «NEW VISION».

Выбираю кадры

Джип. К наружному зеркалу джипа привязана ремнем кавказская овчарка. Так выгуливает кавказца водитель, так тренирует. За тонированным стеклом не видно, но водитель, по-моему, толстый. Овчарка покорно трусит, словно следуя за овечьей отарой на перегоне.

Выбираю кадры

Снимаю из окна второго этажа двор сельской школы. Только что прозвенел звонок на перемену. Дети возятся возле мотоцикла директора. Неожиданно мотоцикл катится по склону, который и является школьным двором, прямо к сколоченной из досок уборной в углу двора. Мотоцикл наваливается на уборную и разрушает... И становится виден человек со спущенными штанами, скорчившийся над ямой. Этот человек — сам директор школы.

Мне совсем не смешно. А тогда я чуть не задохнулся от хохота. И поэтому последние кадры скачут, как сумасшедшие. Если бы я сейчас снимал, они бы и не вздрогнули.

Кадр

Снежные вершины, освещенные кавказским солнцем. Сбитый «Стрелой» вертолет. Гражданский вертолет. Около семидесяти погибших: дети, старики, женщины, военные... На склоне горы — обугленные тела, детский башмачок, женская рука, коробочка с лекарствами... Как раз для NV!

Кадры, кадры

Выставка работ художников. Посетители. Полотна. Кто-то из художников: я рисую кистью из паутины. Ни в Европе, ни в целом мире ни у кого нет таких картин, как мои. Другой художник: я пропитываю холсты спермой, такого никто в мире не делает. И никогда не делал, даже Леонардо да Винчи. Я — единственный.

Выбираю кадры

На площади девчонки разбросали ночью нижнее белье, трусики, лифчики прозрачные, почти невидимые, с надписями протеста: «Любви не существует»; «Мужчин не существует»; «Жизнь — дерьмо»; «Наркуши, вашу...»

Кадр

На водной поверхности покачивается надувная резиновая женщина. А точнее, на поверхности маленького озера, «родившегося» дня два назад: после обстрела «Градом» обрушилась часть горного склона и запрудила реку. В течение 12 часов заполнялась впадина. Когда река ниже запруды вдруг пересохла, оставшиеся в низине без воды рыбы стали извиваться в какой-то бешеной пляске. И перепуганное население и военные бросились в горы и затеяли

сражение за новое озеро. Никто не знает, как очутилась на озере резиновая женщина. Женщина из «Sexshop»а, застрявшая в ветвях, лежит на спине и улыбается. Лето, курортный сезон. В надувную женщину никто не стреляет. Стреляют друг в друга.

Кадр

Выброшенный на берег маленький дельфин, убитый пулей. Афалина. Тишина. Нежный шорох морского прибоя.

Ты понял меня, отец?

Ставлю Гамлета. Гамлета! Ничего не скажешь, ты силен, отец.

А из твоего письма вижу, что ты изменился. Таких серьезных речей от тебя никогда не слышал. Что ты сейчас читаешь? Или — что пишешь? Или просто живешь?

Над Барселоной безоблачное небо. Здесь и море совсем другое. В этом городе я бы пожил еще немного.

Ты находишь, что горько пишу? А чему удивляться? Разве твой сын может написать по-другому? Так нежно и сладко меня растили.

Маму ты даже не упоминаешь, хотя прекрасно знаешь — она и сейчас любит тебя. Так любит, что никогда с тобой не помирится.

«Ты должен помогать другим, стране». Чем помочь? Ложью, которой научился от вас? Ведь вы не выносите, когда вам говорят правду. А я не могу жить иначе.

Меня не понимаете, а других поймете?

И поэтому, извини, но предпочитаю жить среди иноплеменников. Здесь даже не знают, из какой я страны, а я и не раскрываюсь.

Когда мне больше всего нужны были друзья, вы столкнули меня с врагами. Вы и друзей моих превратили во врагов, и соседей моих с ума свели. Вы не смогли найти среди врагов ни одного доброжелателя, да и среди друзей тоже не нашли их. Кричали: «Мы будим нацию!» — и разбудили врагов. Ты пишешь — «совесть», «рыцарство». Как давно я не слышал этих слов. Случайно, ты не начал работать в музее слов? Откуда их выкопал? Ведь для ваших ТВ эти слова чужеродны, даже если они прозвучат, их значения все равно никто не поймет. Даже в ваших гостах уже не осталось для них места. Ни в ваших ресторанах, как вы их теперь называете — «Царский», «Княжеский», «Рыцарский», «Беспечный»... Хоть бы раз взглянули на себя со стороны. Для вас лучший друг, чем вы сами, — это, опять-таки, ваш враг. И только он, может быть, вас и спасет.

Ты вот Христа вспоминаешь... Если бы вы не распяли Христа, кем бы вы были? Кого привел бы ты в пример, если б вы не замучили Христа? Любовь и сострадание... Ну, совсем археологические слова выскреб по сусекам!.. Твое государство так и переполнено сострадания! Крокодиловы слезы проливаются только перед выборами. Ты говоришь о какой-то другой родине, папочка, а настоящую родину я вижу отсюда.

Мы становимся похожими на государство! Государство есть форма власти! — гордо объявляешь ты! Не своди меня с ума. «Палка и пряник от него не должны обижать». Не смеши, отец. Я мечтал не о том государстве, которое забивало бы меня камнями, а о доброжелательном и сострадательном (эти слова тоже уже сделались непонятными) о государстве, которое вы выдернули из-под меня, словно ковер.

О, какими лозунгами ты со мной разговариваешь, менторски, по СССР-

овски. Географически СССР уже не существует, но психологически он все еще с вами, вы от него недалеко ушли.

Я горд и высокомерен? Потому что не радуюсь, подобно вам, во время несчастья, не паясничаю, не насмехаюсь? Потому что я не ставил несчастные политические шоу и телесериалы с куклами — прототипами политиков? Разве пошли бы мне впрок полученные от этого гонорары?

Я ненавижу то, что вы даете мне в руки.

Единственный, кого король никогда не наказывает, — это шут.

Да и потом, что я забыл в этой стране шутов?

Твой отец оставил тебе в наследство хотя бы месть. А что ты мне оставляешь? — ничего, или непонятность.

До каких пор будете бегать за мечтами? А кто за вас сделает дело? Америка? или Россия? Смотрите, чтобы не раздавило вас между этими гигантами. Чем дальше от вас мечта, тем больше ей верите. Вы за океаном ищете вашу страну, ищете то, на чем стоите. Ни во что не ставите вы Кавказ. Ваши PRы тошнотворны, вы просто пыль в глаза пускаете.

При этом вы еще и боитесь. Как ты пишешь кое-где. Это не осторожность, это страх. Выключи интернет, телефоны, не посылай мессиджей. Ты прослушиваешься, Ираклий! Вот и у тебя мини 37-й год. Правитель всегда нуждается в предателях — какого бы цвета демократию он ни строил. Вот так, мой «рыцарь», государство есть государство!

Вы становитесь похожими на собственную ложь, TV-ложь.

Еще: переключишь ваши каналы с одного на другой — тут убийство, там сериал! Убийство — сериал — счастье! Попали в светлое будущее! Вы сделали убийц такими популярными, что порядочные люди уже завидуют им.

Вы правите страной посредством TV, как раньше управляла вами компартия.

Питаетесь TV-передачами. Бедствующих людей заставляете писать стихи о героях сериалов. Уже написаны 2 000 стихов о некоем Марио Чимаро. Ну, вам есть чем гордиться.

Эх вы, бездарные TV-завры.

Ищете и находите ненормальных, и вам кажется, что с их помощью вы мудро разрешите все проблемы. Вы выбрали в предводители бешеных и негодяев! Как вы упоминаете Христа? Вот-вот, здесь вы не боитесь! Потому что вы — неверующие, только внешне вы — богобоязненные.

Вы живете без корней и пытаетесь летать без крыльев.

Вы — страна одного человека и государство одного города. Ваше TV даже не называет его, но так рассказывает про его улицы и районы, что все знают: речь идет о столице. Только там вы разводите веселую травку вашей политики. Остальная страна — это страна-филиал, другие города — города-филиалы. Выбросьте слова «регион», «район», говорите: филиал-страна! филиал-народ! филиал-избиратель! Ну, и пусть бомбят филиалы! Ничего! Лишь бы в центре было весело! В центре только вы имеете право душить друг друга! И душите... После всего этого кто ж вам доверится? Думаешь, я не помню: когда в моем родном городе на одной улице вы убивали друг друга, на другой — ели хинкали и пили вино. Как я любил этот город, как любил! Вы этого даже и представить себе не можете. А вы сделали его совсем другим, чужим.

Есть у вас один проспект, где собираетесь с шумом-гамом — то сбрасываете, то назначаете президентов. Что этот проспект, что Бюро ЦК коммунистических времен. Причем делаете это исключительно сообразуясь с сезоном — весной или осенью, потому что летом вам жарко, а зимой холодно.

Вы и на свободу набросились, как на вино, кувшинами вливаете себе в пасть, а вообще-то ее как лекарство надо принимать.

И политика-то у вас ненормальная — мессианская. Судьба мира решается у вас, так? Смешно. Шли бы к себе и занялись своим домом. Ведете себя так, словно ваша страна сравнима, скажем, с Китаем. Пуп Земли, да и только.

Вы бы хоть подумали о том, что Бог вас наказывает, — вы все время ожидаете команды государственных деятелей и, между тем, все время получаете мафиозные кланы. Почему так происходит? В чем дело? Противник противником, но почему вы не вглядываетесь в самих себя?

Вы живете партийной жизнью, а не жизнью государственной. Потому вы так безжалостны к своей стране. Я говорю, взгляды у вас партийно-ненавидящие, а не государственные.

Что одной рукой строите, другой разрушаете, борцы за троны.

И ты еще наставляешь: будь сильным, крепким. Чтобы я был сильным здесь, что ты для этого делаешь там? Вы меня оттуда разрушаете!

Вы во всем правы, слишком даже правы, всегда и везде, и потому такие несчастные. И еще — слишком скоро забываете мертвых, да и на живых смотрите, как на мертвых. Вы или очень счастливы, или очень несчастны. Для вас середины нет.

Займитесь о территориальной целостности, но не о своей запутанной нравственной и умственной целостности.

Я сейчас ухожу, репетиция начинается.

Потом напишу остальное.

Лаша.

Здравствуй, Лаша,

ты свое говоришь, а я должен сказать свое.

Я так любил твою маму, что ласкал стену и окно, когда она проходила мимо моего дома. Каждое утро ждал ее. Потом... Двенадцать лет мы были вместе, ты это хорошо помнишь. Потом... Произошло то, о чем ты не должен знать, да я и объяснить тебе не смогу. Может, когда-нибудь расскажу.

Ты пишешь об убийцах моего отца. Из тех четырех подонков только один остался в живых, трое уже погибли. За четвертым я вот уже год хожу. Я решил: ни полиции, ни суду не отдам его, сам вынесу приговор. Это мое дело.

Год назад он объявился на ТВ, в «Конкурсе близнецов Марио Чимаро». Я сразу узнал его. Не думал, что он, сбежав когда-то за границу, решит вернуться. Он отрастил волосы до плеч, что-то вроде бородки завел. Высокий, худой. Чуть не победил в конкурсе, так похож был на Марио Чимаро. Чуть было не получил большие деньги и не улетел на Кубу. Когда я его увидел, хотел тут же и придушить, но какая-то сила меня удержала. Я и дом его знаю. Два раза он спасся от меня: однажды сосед помешал, второй раз — прохожий. Но ты об этом не беспокойся.

Ты сейчас в том возрасте, когда легко причинять боль другим. А собственную боль вы считаете чем-то невероятным. У твоих сверстников невероятное только начинается. Что ты знаешь о дружбе, о верности, об измене... Оставь Шекспира, возвращайся к нему, когда перешагнешь за сорок. Тебе его пока не понять.

Было такое проклятие: чтоб вами правили подростки! Кто-то мне сказал.

Очень далеко надо уйти, чтобы встретить самого себя. Иди покуда.

Планета уменьшилась. Что происходит в одном месте, то же происходит

езде, в ту же секунду. Интернет, TV. Мы смотрели по TV разрушение небоскребов в Америке. Live.

Живем быстро. Это так. В спешке многое теряем. И это так. Иногда мы становимся сверхскоростными. Ты посмотри на лица правителей — на них написана именно эта скорость. Одна по лицам ненормальные, а у другие — патологически спокойные.

Не думаешь ли ты, что твоя страна в этом вихре — отдельный вагон? Если не будешь жить быстро и так, как этого требуют правила, не уцелеешь, растопчут. Так что — объединиться могут многие, а уцелеть — единицы. И поэтому мы укрепляемся, даже лицо свое меняем — чтобы уцелеть. Сейчас никто и не вспоминает о многих народах, которые были не хуже нашего, а ныне обратились в прах. Нас мало, именно поэтому ненавидимое тобой TV мы заставляем делать то, чего не сделают в армии. Только в армией нас уничтожат.

Для тебя все и все — виноватые, наверное, и трава, которая питает животных, и оба вместе — за то, что наполняют энергией человека, придумавшего атомную бомбу. А травы и цветы не знают об этом, и потому так беззаботно цветут.

Знаешь, что я тебе скажу: мы все затерялись между прошлым и будущим, такое уж время. Вокруг пустота, которую нам не заполнить. Столько вопросов, на которые нет ответа. Или знаешь, как? Вроде бы знаешь ответ, а спросят, не находишь, что сказать. Так что, может, лучше нашенские пиры и застолья, может, они нам помогут.

Короче, и я что-то разошелся.

На прошлой неделе я застрял в горах, снимали горных баранов и орлов. Нас чуть ливни не смыли, три дня и три ночи лило, как из ведра, река унесла мост. Укрылись в монастыре. Монастырь — шестого века, стоит на скале. Монахи боялись, что под ними вода размочит землю. Вместе с нами в монастыре оказались люди из какой-то NGO, проводили в деревне семинар. Пока не сели батарейки, постукивали их ноутбуки, раскрывали флирчаты. И там не отдыхали, писали какой-то проект. Хлеб, вода и свет от свечей — так мы прожили три дня. Столько спорили, что у меня и сейчас в ушах звучат их голоса. Среди NGO-шников были две женщины, и из-за них мы остались в церкви, не могли же женщины поселиться в монашеских кельях. Монахи не понимали многих слов NGO-шников: «адвокаси», «тренинг», «медиация», «фасилитация». Спрашивали меня, на каком языке они говорят. В церкви голубым светом светились экраны компьютеров. Монахи ходили изумленные: надо же, какие люди живут в стране! Одна женщина исповедалась монаху. NGO-шники обалдели: ты что, верующая?! Потом втянули монахов в спор. Кое-что я незаметно заснял. Очень интересным получился их спор, словно на разных языках говорили. Я пришлю тебе кадры. NGO-шники решили: давайте, напишем проект, проведем с монахами тренинг-семинар, им явно не хватает информации. С этим обществом необходимо работать. А для начала проведем с ними Brainstorming, время у нас есть. Ты найди время и посмотри, послушай их спор. Один монах со мной подружился, рассказал: был у них послушник, он нечаянно убил приятеля, а полиции не открылся и стал послушником, а раньше бизнесменом был. Из-за денег убил приятеля, но нечаянно. Мать убитого на похоронах срезала у него прядь волос и объявила своим сыном, не знала, что он убийца ее сына. Когда явилась полиция, только тогда узнали обо всем. Хотя настоятель знал: убийца-послушник ему доверился. Забрали и настоятеля, но скоро отпустили — он был духовником и не имел права открывать тайну исповеди. Я прожил три дня в

монастыре совсем другой жизнью. Когда будет время, поднимусь туда, останусь на несколько дней. Устал я в городе.

Сейчас уже четыре часа ночи.

Пойду, займу свое плацкартное место.

Я так увлекся описанием жизни в монастыре, что у меня компьютер завис.

Отец мой,

не найдется у тебя времени для монастыря, ты в такое дело впутываешься, что те три дня останутся для тебя воспоминанием.

А вообще, написал бы что-нибудь о монастыре. Я посмотрел кадры. Я представил себе монастырь, будто это страна, старинная, с растрескавшимися стенами, которую вот-вот сотрут с лица земли наводнение и оползень, а в нем люди — монахи, TV-шники, NGO-шники. Вода уже унесла мост. Может получиться сильная вещь. Диалоги...

Чем кончится все — вот что главное.

Пиши, на черта тебе это операторство. Я понимаю, это деньги, книг никто не читает, но... Но себе тоже скажи, что ты только мне говоришь.

Ну, что ты увидел через свою камеру? Современный Колизей! Арену гладиаторов! Страну, где намного легче поверят во зло, чем в добро. Ненависти тоже доверятся легче, чем любви. Где радость, вызванная несчастьем других, помогает бедствующим. И еще — бессмысленное веселье. Вот поэтому ваши нюусы начинаются с крови — авария, убийство, самоубийство... Иногда выкраиваю-таки время понаблюдать за вами.

Когда я приехал в Барселону, на первом же билборде увидел надпись: «Сталин». Потом афиши увидел: «Сталин». Оказывается, кто-то поставил спектакль о Сталине. Наши мысли все крутятся вокруг монстров, даже много лет спустя. Кому нужны святые? Монстры куда интереснее и гораздо более рейтинговые.

Раз в сто лет захожу в церковь и разговариваю только с собой. Ваша религиозность — это один большой TV PR, и ничего больше. Когда вы начинаете что-то популяризировать, это «что-то» умирает.

Война раскрыла мне глаза. Я убежал туда втайне от тебя, и я тоже потерпел поражение. Ваши тупость и глупость победили меня, а вовсе не численное преимущество врага.

Ты помнишь Васику, соседского мальчика? Когда он вернулся с войны, слова не произносил и руки у него дрожали. В один прекрасный день он вынес свой гранатомет и поднял на воздух винный ларек — вместе со всеми его гомонящими завсегдатаями, с их наполненными вином брюхами.

По вашим понятиям, Васику нарушил порядок, вы же нарушили всю его жизнь, и никто из вас об этом не думал. Он не сожалел, разумеется.

А Рати? Вся горная деревушка ждала, когда он вернется из дальнего плавания. И тут же обрадовали: твоя жена тебе изменила. Фактически, вложили в руки нож, и Рати убил жену. Разве был у него другой выход? Он следовал правилам деревни... Вашим правилам. В тот вечер деревня с удовлетворением поужинала, женщины порхали, как ангелы, мужчины сияли, как святые. Представить себе не можете, как необходимо было деревне все случившееся. Если бы кровь не пролилась, деревня сошла бы с ума. Деревня не выдала Рати, но через несколько дней выяснилось, что жена Рати была невиновна. И Рати покончил с собой. И это тоже необходимо было деревне.

На что мне такая деревня, где все время ожидают убийцу для выполнения правил деревни?

Я вспомнил деда просто так, между прочим, а ты сразу выложил все свои планы. Ничего другого я и не ожидал от тебя...

Наши эпистолы выходят пространными, словно простыни, папочка, теперь у меня уже четыре часа, скоро утро.

Давай, поболтаем в чате. Помнишь, была у бабушки игра «Цветочная почта»? О, какая была игра! Давай устроим «Цветочную почту» в компьютерном варианте, только не нужно нам цветочных имен — тюльпан, ноготки... Я буду «Пилигрим», а ты, если не против, — «Комедиант». Скайп нам незачем. Не люблю ни скайп, ни камеру, ни зеркала. В зеркало смотрю только когда бреюсь.

Лаша

Мысли человека, вылетевшего из взорвавшегося над морем самолета

Дамы и господа, глубокоуважаемое мировое сообщество! Должен вам признаться: по-ды-ха-ю!

Мои мысли запишутся в черный ящик самолета, и, когда достанут его из моря, точнее, из глубины в 237 метров, единственное, что узнают — это будут мысли, мои мысли, которые в эту минуту вы читаете. Как именно это произойдет, то есть как запишет черный ящик мои нервные, прерывающиеся мысли, я не имею понятия. Но сейчас, в эту минуту, я знаю то, что все так и только так и произойдет. Почему знаю? Объяснение простое — мне ха-на! Мое время уже иное, чем у вас, мой мозг работает иначе...

Этим фактом заинтересуются короли всех пяти континентов, президенты, премьеры... Мошенники, поэты... И TV — в первую очередь.

Вместе со мной погибнет и семеро моих коллег-журналистов, и никто не сможет понять, кому именно принадлежат эти мысли. Так вот, дорогие, человек — это одно, а мысли его — совсем другое. Тем более, если этот человек летит с двенадцатикилометровой высоты.

Так что, любезные мои, я — инкогнитооо! Лежу на обломке хвоста самолета, вцепившись в края, какой-то странный поток воздуха влечет меня, и, что меня больше всего удивляет, спокойно разглядываю землю. Видимо, я спокоен потому, что (вы уже догадались) погибаю! Вот, оказывается, какова она — смерть в авиакатастрофе.

О, если бы хоть одна камера крутилась бы где-то неподалеку и снимала меня. О, какое супер- нечто могло бы получиться!

Прощайте, прощайте, поцелуй кинозвезды стоимостью в 30 000 долларов на благотворительных вечерах!

Прощай, население «АйЯ», которое сейчас на Кислородной площади слушает голограмму концерта Элвиса Пресли! Элвис поет «Сулико». Прощайте, прощайте, интерактивы — 35% считает, что белое это белое, а не черное! 12% воздерживаются, они в растерянности. А остальные считают — белое есть черное!

АйЯ! АйЯ!

Детки, детки, и как вы заставили бегать памятники королям? Хоть на колеса бы их поставили, моторы бы приделали с дистанционным управлением, а потом катайте себе по городу — вправо-влево, взад-вперед, вверх-вниз!

А вы, вы, уважаемые госпожи, вы как обучаете детишек? Давид Строитель был мачо, двумя японскими мечами сражался, за минуту пятерым головы сносил, одной рукой с десятью ниндзя справлялся.

А Руставели был покруче Джаггера.

Понимаю, понимаю, знаю, знаю. Иначе они не запоминают.

Идиллические игры, TV-«АйЯ»-бары: пни приятеля и победишь! На Кубу поедешь! Проскользни в победители — и все будет о'кей! Совсем другое дело.

Когда я целовал ту женщину, у нее лопнула губа и силикон пролился мне в рот.

Включайте, смотрите и урчите от радости: джунгли-шоу! Как кусает зебра пожирающего ее крокодила! Как съедает паук лягушку, которая его не кусает! Как антилопа засыпает в пасти у льва! Где ты, мой любимый Чимаро?! У хищника четыре золотых правила: 1 — подстеречь жертву! 2 — догнать! 3 — сожрать! 4 — заурчать от удовольствия!

Мой репортаж должен был стать чемпионом среди всех репортажей, я же, горемыка, по-ды-ды-ды — ха-ха-ха-ха...

Что случилось с самолетом? Впрочем, узнавать об этом сейчас нет смысла.

О, моя первая молодость, какою ты была! Ты лениво лепила хачапури, но в постели была иной! Когда я увидел тебя впервые, я искал в комнате твои крылья, не сложены ли они где-нибудь на кровати. Ты была похожа на гостью с другой планеты, и голос у тебя был, как у неведомой птицы.

Да, да, тогда на земле стояло время моей первой молодости. Время, когда женщины из порножурналов нравятся больше, чем настоящие женщины. Именно в то время ты вошла в мою жизнь инородным телом! Порно-телом! И родною душой!.. Мы спали в знамени нашей Родины длиной в сто метров, в углу церкви. Я уже не боялся оставаться наедине с тобой, привык к твоему непонятному молчанию. И к полю, которое было цвета твоих пшеничных волос. Мы спали в знамени нашей Родины и еще не знали, даже не помышляли о том, как и на что использовать оставшуюся часть нашей жизни.

По твоим разговорам выходило, что ты целиком и полностью была моей. И так. И эдак. По-всякому, моя Мэрилин.

А потом, в один прекрасный день, я уже не существовал в твоих разговорах. Ты полностью переселилась в будущее и забывала прошлое. Впрочем, не совсем полностью. Из прошлого тебя устраивало только то, что могло бы пригодиться в будущем, что было выигрышным, и полезным, и красивым, и вкусным, и ароматным. Только такое прошлое ты прижимала к груди, словно новое платье.

При расставании шаги твои сделались твердыми, как у женщины, которая отбросила все условности и приняла окончательное решение. Такие женщины обычно твердыми шагами вступают в предполагаемое счастье, при этом умопомрачительно по-кач-кач-кач-и-вая бедрами.

Вай, вай, вай-й-й-й... Уй, уйи, уй-й-й-й... Сейчас, вспоминая о том времени, я хо-хо-чу. А тогда у меня крыша поехала, я взбунтовался и стал похож на предводителя павианов.

Где она, где хотя бы одна камера — синее небо, синее море и я и крыло от хвоста самолета в этой дрожащей синеве.

Меняю Родину на одну камеру!

В горле пересохло. Минералки бы, газированной, чуть шипящей. Лик-лик-лик! О, как легко переливается в горло приятно пощипывающая минералка.

Холодно, холодно-ooo. Синий холод. Мысли мои мечутся, как чайки.

Помнишь ласковый дом нашего детства? В комнате — Сахара, а в коктейле — Сибирь?

«Вирус пустоты» закипает. Люди потеряли ощущения вкуса и цвета, осязания и обоняния, слуха. И выдумали жвачку, восстанавливающую ощущения вкуса и цвета, обоняния и осязания. А также и слуха.

Фальшивые красивые бутылки. Отравляющая вода, виноград.

У нас, журналистов, не было свежей информации, и мы убили человека. Вот вам и материал!

— Нам нужно больше кровавых фильмов, а то народ завял! — сказал директор TV.

Стояло то самое время, когда лето кончалось и мухобойка моей жены все реже шелкала в квартире.

Внизу волнуется жирное море и бесятся воюющие города.

Время стерло черты твоего лица, которое в свое время я помнил губами.

Мешается, все мешается.

Зоопарк за гроши купил чернобыльского слона по имени Бачо. Ему было два года. Через год он умер. Ни волки, ни орлы не стали есть его мяса.

У нас был такой интерактив: кто Сталин для жителей АйЯ? И еще: кого вы считаете Гитлером для жителей АйЯ?

Гладит щенка беспечная женщина, у нее падает сумка, с плеч соскальзывает шарф. Она молода, но уже, наверное, не одну пирамиду тарелок разбила.

В аравийских песках, на берегах Ганга, на щебенке Иудеи... Я — везде, и везде у меня одно и то же лицо.

— Я — директор музея, — сказал я убийце человека. Он мне поверил. Я объявил, что в музее хранится камень, которым Каин убил Авеля, и еще три камня из тех, которыми хотели побить Марию Магдалину, и еще — обломок кувшина Александра Македонского тоже есть у меня.

Большое спасибо вам, КГБ и ЦРУ. Вы излечили Землю от страха.

О, как сияло лицо президента, когда он выступал по СВВ и NNC, а до этого вприпрыжку сбегал по трапу самолета.

Простите, простите меня, извините, холодно мне. Мне холодно на крылышке хвоста самолета, и я не могу отфильтровывать мой базар. От этой огромной махины мне достался лишь кусочек хвоста. Что поделаешь, и так было всю жизнь — только малым одаривала меня судьба. Ноооо — по милости этого хвоста я все еще в небе, а другие уже шваркнулись о море.

Море... Как я испугался моря, когда впервые вошел в него по грудь. Наверное, уже тогда Бог дал мне знать, что наступит именно этот день.

А она опрокинула чай на китайский шелк и чесучовый костюм.

В конце концов, это мы дали человечеству первую сталь! А медицина?! Медея! Что, забыли?! Сталин! Боржом! Вино! Хачапури! Сациви!.. А они пьют наше вино и бомбят нас. И это — справедливо?!

Жизнь стала разновидностью смерти.

Люди уже боятся хорька, спрятавшегося в подъезде дома, хоть мы и показываем его по TV десять раз на дню. Боится даже тот человек, который некогда ревел перед зоопарком: дайте мне трахнуть львицу!!!

Мы слонялись между академической элитой и подпольными борделями, шелкали семечки.

Я жил в стране, которая не вмещала энергии президента и кандидатов в президенты, и они были вынуждены объявлять себя всемирными мессиями.

Я слушал человека, который играл на скрипке. У него не было рук. Он играл сердцем. Как? Я не понял. Я слушал и певил в заснеженном городе. Сидел на снегу и думал, что время всегда варвар, а история — блеф! И вечен только стон.

Один депутат умолял: снимите, ну, снимите меня, хоть слово дайте сказать перед камерой, у меня сын в Европе учится, увидит меня по TV и обрадуется. Он готов был вести речь хоть об НЛО, лишь бы мы его выпустили в эфир.

«Нет проблем!» — эти слова мне плешь проели, кровь высушили. Или еще слово «достойный»?.. С ума сойти!

«Моя рада», «беграунд нужен», «лажа», «сiju на ухе», «зачморим того клиента», «ладно, будет тебе, XXI век на дворе» — и сейчас зудят в ушах эти словечки.

Любил я Эльзу, до отвращения популярную телеведущую, устроительницу политгладиаторских боев. Однажды она даже медиума сумела уговорить «привести» в студию душу убитого профессора. Пыталась устроить телемост «Бог — человечество». Почти получилось. На некоторых политиков кричала: «Как! Я сделала вас популярными, а вы тут мне все путаете?!» А однажды заплакала и стала вдруг такой милой и беззащитной, что я дооолго целовал ее волосы, глаза, губы, грудь.

Спонсор сериала — «Дом хинкали»!

Спонсор концерта — цех по производству туалетной бумаги «Лалулиша»!

И почему последнее время сыплются в реку автомашины и утопают люди?

У Эльзы получилась сильная передача — наркоман изнасиловал собственного отца!

— Враги родины получают в нос, в челюсть, в морду, вообще. И между ног! — грозился депутат.

Забастовали врачи «Скорой помощи». Забастовали надзиратели в тюрьмах: мы выпустим всех заключенных.

Самолет, которым мы должны были вылететь из осажденного города, встал на хвост в аэропорту, настолько торгаши перегрузили его цитрусами.

Президент объявил всему человечеству радостную весть: наше детское трио «Комарик» победило в международном конкурсе!

Замечали ли вы — за границей у поездов другой звук, другие голоса у людей и машин. Другой хруст яблока, когда его откусываете. Тамошняя природа, как и тамошний язык, нам не знакомы, странны для нас.

Я пил вино из роз, ел язычки дроздов на берегах прозрачного моря, но последнее время меня почему-то все время называли человеком из зачморенной властью медиа-среды. Зачморенным. Придурошным.

И все-таки, что же от меня останется? Неужели только это: он умел хорошо здороваться, рукопожатие его было крепкое.

Ну, где же, где хотя бы одна камера?! О, какой был бы торнадо-репортаж...

Осталось ли у меня времени для того, чтобы выкурить хоть одну сигарету?

О, какая смелая улыбка у Эльзы, у Эльзы гениальных поцелуев. О, как похожи друг на друга ее слова и ее обнаженное тело.

Там, внизу, меня ожидает соленое морское утро.

Трагедия человека — в поисках истины.

На морской поверхности я принимаю свой парад: детство, война, война, ты, ты, ты, Эльза, хвост самолета... Вечно старое и юное и мыслящее море.

Также вижу: вертикальный подъем воды из моря. Зарождение мутного потока на склоне океана. Океанский хребет. Перемешанные в однородную массу глыбы камней и льда.

Есть вещи, с которыми меня ничто не связывает, и они существуют только в собственных своих границах. А свисток из моего детства — это другое. Даже его молчание — говорящее, привязанное к детскому футболу. Я верю, что сейчас, в эту минуту, он свистит где-то, приветствуя меня в последний раз.

Одно время я не ел мяса тех, кто летает, наверное, поэтому я сейчас так долго летаю, и чьи-то крылья ласкают меня и поддерживают.

Летя, летя, летя, отдаю концы. Зато я не похож на старичков, чьих близких отправили в рай время, войны и болезни...

Моему учителю прооперировали глаза. После этого он всего 32 дня видел. Потом опять ослеп. Но за это время он хорошо изучил дорогу к морю.

В этом море я порезал ногу о раковину мидии, у свайных опор лодочного причала. Я видел, как под водой моя кровь охватывала водоросли клубами красного дыма. Море, охваченное пожаром. Или деревня, которую сожгли монголы в каком-то веке. Или — как «Град» поджигал лес. Или вулкан Везувий на фоне Фудзиямы... Все это сразу я видел в моем море, и я был всем миром.

Ресторан «Золотая ложка». Коллега снимает солдата противника, спрашивает: откуда эта золотая ложка? Солдат вынимает из кармана дешевенькую ложку золотистого цвета: должен же я чем-то есть? А-а, значит, ты мародер? И на том месте строится ресторан «Gold Spoon». Пестрят майки с надписями «Gold Spoon». Начинается движение «Gold Spoon». Выигрывают выборы.

В передаче «Полночная серенада» ведущий и мужчина-респондент лопаются от смеха: Ты был тогда управляющим района? — Был. — Тебя взяли в заложники? — Взяли. — И чего так скоро отпустили? — Не знаю. — А-а, наверное, сказали, что ты не девственник! Ха-ха-ха! И потому не женишься?

— Наш народ заскучал, нужна война! Объявляем секс-диета, Ladies and Gentlemen! Прекратить шоу — «Чей унитаз лучше!» И второе шоу закрыть — «Кто пожал руку Ленину и Леннону, тот и нам пожал руку!»

И выборы стали надоедливо скучными: трем наблюдателям глаза выпарапали, 7 человек в знак протеста зашили себе рты, 232 избирателя ранены, 17 — убиты. Время стукнуть по столу кулаком и потрясти мир!

Довольно!

Война начинается! Прекратить шутовство TV-компаний с их «Круглыми столами», «Диалогами», гримасами-ужимками!

И все же — где, где она, где хотя бы одна камера? О, какой торнадо-репортаж выплавился бы из всего здесь произошедшего! Но, может быть, у кого-нибудь в салоне самолета была включенная видеокамера, и порхает она где-то поблизости и снимает... Боже, сотвори добро — сними меня! Хоть сейчас услышь мою мольбу, когда ты так близко от меня, а человечество — так далеко. Выслушай меня по-доброму, с ласкою, Отче, всю Землю за одну камеру!

Перед тем, как я пошел убивать Чимаро

Перед тем, как я пошел убивать Чимаро, раздал щенков друзьям и соседям. Я сказал им, что щенки особенные породы северошотландских овчарок.

Поверили.

Мать щенков кто-то убил. Она была бездомной собакой. А щенков я вырастил.

Я вымыл руки. Позавтракал.

Иду.

Вот бы шел я сейчас к морю, поиграть с ласковыми морскими волнами.

В шуме машин все-таки слышится шорох платанов.

Эта земля уже не та, которую ты дал мне, Господи. Нет, она уже не та.

Прости нас.

Эти птицы — другие птицы, они всего лишь видимые души уничтоженных нами животных и растений.

Отпусти нам и этот грех.

Перехожу через мост, что-то говорит мне река, а я не понимаю.

Прости и за это.

Наверное, потому, что спешу, и к тому же с Тобой, с Тобой беседую.
И все-таки, Господи, ведь ты соберешь Там всех, всех, кто умирает здесь.
Ведь оживут Там насекомые и киты, воробьи и фламинго, цветы и дубы,
и мы, и волки... Здесь умерщвленные.
Ведь все это так и исполнится, Господи?
А если нет, то какой смысл был у жизни?
И, вообще, что это такое — Жизнь?
Кто мы? Куда идем? Что ищем? Зачем явились на свет?
Ты ведь нас обязательно возвратишь, Господи?
Ведь все так и произойдет?
Откликнись, Господи! Подай мне весть, подай!
Дай мне хоть какой-то знак!
Ты же позволишь мне встретиться опять с отцом? Ведь позволишь?

Долина

Когда война приблизилась к деревням, деревни взволновались. В двух деревнях жили представители противоборствующих народов. В одной из них было большинство одной из противоборствующих сторон, а меньшинство — в другой. А во второй деревне — наоборот.

В ожидании грядущих бед жители решили обменяться меньшинствами, чтобы в каждой деревне остались люди только одной национальности.

А война постепенно ужесточалась. Никому дела не было до этих деревень — ни политикам, ни генералам. Селяне решили так — заранее определили обменные дома, и в один прекрасный день, на легковых и грузовых машинах, на тракторах, на арбах, на конях, нагруженные своим скарбом, фактически поменялись не домами, а деревнями.

А у их собак и кошек перепутались ориентиры — их родные дома были в одной деревне, а хозяева теперь жили в другой. Целых три месяца они так и странствовали между двумя деревнями. Собаки ночью сторожили старые дома, а днем были с хозяевами. И кошки поступали также.

Деревни разделялись широкой долиной.

Шесть часов утра. Стою в этой долине и снимаю видеокамерой, как возвращаются из родных домов к новым домам собаки и кошки. Вот появляется первая, вторая... Третья... Двенадцатая... Не подавая голоса, идут навстречу друг другу, тихонько обходят друг друга, как бы не замечая одна другую. Спешат к хозяевам. Издали доносится стрельба. Чуть слышно урчит моя камера.

Встает солнце. Вскоре в долине уже не видно ни души.

Монолог собаки (Из спектакля «Очкастая бомба»)

Когда умер Лери, я поднялся в его квартиру, на пятый этаж. Легко нашел. Кто-то замахнулся на меня шваброй: этому еще что здесь нужно! — но жена и дочери Лери отобрали швабру. Узнали меня, это, мол, амиго Лери.

От Лери пахло лекарствами. Я немного постоял у гроба, потом точно так же пробежал пять этажей. Лег у подъезда, и был там, пока Лери не похоронили. Соседи Лери вынесли мне хлеб и куски хачапури, поставили воду в глубокой миске.

Я знал, что он умрет, это и другие собаки чувствовали. Я часто тыкался мордой в его руку. Да и сам он знал, что умрет, но говорил мне: «Ты же знаешь, каждая смерть знает свое время». Прав был Лери — единственный среди людей, который разговаривал с нами.

Я знаю, мы встретимся в Той стране, но пока не наступило время моей смерти.

Я проводил его до кладбища, а после стал бродяжничать в других местах. Ночью поднимался на кладбище, там и спал. В меня то швыряли камни, то давали пищу. Я убегал от подающих пищу, так же, как от швыряющих камни, — никому не доверяю. Трудно доверять людям. Да и Лери этому учил меня.

Потом пошел снег. Семья Лери заметила у его могилы мои следы. По всему городу искали меня, но я избегаю их. Одиночества хочу, одиночества — устал я.

В солнечные дни ложусь на крышу гаража у подножья горы и греюсь. Иногда прячусь под деревьями, иногда — по подъездам.

Машин опасаясь. Не люблю машин — в прошлом году моего маленького друга сбила машина. Он добежал до подъезда, я думал, поправится, но... Два дня умирал. Ненавижу машины. Когда Господь сотворил меня, тогда не было ни машин, ни ружей.

А потом я оставил город и пустился к горам. Там подружился с солдатами. Они давали мне пищу и гладили. Где стоит армия, там обязательно увидите собак. Солдат как ребенок, он тоскует по семье и детству. Да и преодолеть страх смерти помогаем им мы, собаки.

В этой стране не едят собачьего мяса, но уличных собак не любят, а над комнатными прямо дрожат. И они — комнатные, — когда видят нас, злобно кидаются, лают, глупые ничтожества, дурни и ветреницы, похожие на своих хозяев.

А вот пастушьи собаки никогда не лаяли на меня.

Этот город — город аппетитных запахов. Иногда из духана мне кидают огрызки хинкали. Бог направляет их руку, Бог ведь все видит...

Бомжи, роющиеся в мусорных ящиках, выделяют мне что-то из найденной там еды. В последнее время в городе поставили очень высокие и неудобные мусоросборники, мы не можем залезть в них. Только кошки ухитряются сделать это. Хотя добросердечные люди оставляют остатки пищи на земле возле мусорников — для нас.

Лери приносил еду в полиэтиленовых пакетах и чуть ли не с рук кормил нас. Лери был святой, непонятный и неизвестный людям святой. Я верю, он сейчас возле Бога. И я встречу с ним Там, когда настанет мой черед. Там, где никто не швыряет камни, и все, имеющие душу, любят друг друга. И не имеющие души тоже.

Иногда в лесистых местах, в кустарниках я встречаю останки собак. Когда мы чувствуем приближение смерти, мы убегаем подальше, не хотим показывать свою смерть другим. Я тоже так поступлю, когда придет мое время.

Я скучаю по Лери — он ведь вроде меня, мог читать в чужой душе.

Однажды, когда я несколько дней бродил в незнакомых кварталах очень голодный, не поднимая носа от земли — «ловил» запах еды, — забежал в какой-то двор и увидел, как один мужчина убил другого. Дом был маленький, а двор — большой. Из этого двора я все и увидел. Потом убийца убежал, его искали, но не нашли. Через какое-то время я опять оказался в этом дворе и увидел убийцу — он стоял посередине двора и плакал. Убитый был единственным близким ему человеком в целом мире. Больше никого у него не было. Вот он и вернулся, и стоял, и плакал. Убийца везде был чужим, его родина была здесь, в этом доме и в этом дворе. Я вдруг понял его, а люди никогда не поймут. Я ненавижу убийц и насильников, но того человека мне стало жалко.

Здесь все воюют и вечно всем недовольны, все дерутся и злятся.

А тут вдруг и в горах началась война. Странно, как это я не почувствовал заранее? Если бы Лери был жив, я бы почувствовал. Его смерть меня изменила.

Началась бомбежка, дома загорелись, люди сгорали живьем. Я видел во время бомбежки, как убегал обмочившийся мужик, как солдаты снимали военную форму и бросали в ущелье вместе с оружием.

Были самолеты и не оставляли места, где можно было бы спрятаться. У меня чуть сердце не разорвалось.

Я не знал, как человека защитить от человека. Раньше думал, что от человека надо спасать окружающий мир.

Я побежал к лесу, но огонь перекинулся и на леса, и я убежал вместе с раненым оленем и одиноким волком. К нашему несчастью, мы везде натыкались на тех, кто сотворил этот ужас, — на людей, людей, людей.

Везде стоял запах смерти, и не было нам спасения.

На моих глазах убили знакомую собаку. Несчастная была одержима неизлечимой любовью к людям. Люди и убили ее. Какой-то бородач убил — это, мол, собака врага. Любовь сделала ее смелой. Она и тогда любила человека, когда ее ошпарили кипятком и чуть не прибили кирпичами.

Убегая, я следовал за одной семьей — мужчина, его бык и собака. Они бежали вместе, как связанные веревкой. Этот человек был непохож на других, от него шел свет, как от Лери. Потому я следовал за ними.

Бежали мы вместе до одной деревни. Там, на краю деревни, я подружился с оценившейся сучкой. Она два дня бежала вместе со щенками. Мы поселились в покинутом доме, думали, спаслись, но и этот дом сожгли.

Опять я остался один. Так оно и лучше. Собачьим сворам не доверяют. Одному легче спастись.

Собака без хозяина, даже самая породистая, все равно бездомная, и повсюду она боязливо поджимает хвост. Даже самая беспородная, если у нее есть хозяин, гордо разгуливает в своих владениях. У нее есть опора — свой дом и двор. Бесхозные собаки и беженцы похожи друг на друга.

От людей с оружием я убегаю — если и не убьют, то ногу сломают, а если захромаю, еды не добуду, и в муках испущу дух...

Тоскую по Лери.

Лери ласкал меня, как щенка, и называл «амиго». Я и сейчас чувствую его руку на своей голове, на спине, на шее.

Война возвратила меня в город. Я еле нашел могилу Лери — так выросло кладбище, за короткий срок очень много народу поумирало.

На кладбище одна пожилая женщина бранила своего покойного мужа у его могилы: «Ты все пил, пил, вот и лежи теперь в земле, вот уже двадцать лет лежишь, так тебе и надо!» А сама тем временем ухаживала за могилой, чистой тряпочкой протирала мраморную плиту и до блеска натирала фотокарточку мужа. Я ничего не могу понять в их любви и в их ненависти, в их мире и войне...

Сейчас я в самом центре города, на проспекте. Прилег под деревом. Дерево печально шумит листвой. Мы уже долго беседуем — я и дерево. Дерево сказалось мне, что скоро здесь убьют человека. И я подтвердил, что тоже чувствую это.

Короче, опять все пойдет кувырком.

Ненавижу здешние места.

На проспекте людей все больше.

Ветер усиливается.

Пыль, пыль, пыль поднимается.

Ветер, ветер, ветер.

Набитый невидимыми колючками ветер.
И разве это зеленый ветер? Ветер цвета пыли. Пыль цвета ветра.
Дождь, дождь. Запоздывает дождь. Где ты, мой ангел-хранитель?
Скоро здесь убьют человека, и снова начнется... Это дело у них великолепно получается.
Стою, как потерянный, и думаю: куда же мне бежать?

*Монолог дерева
(Из спектакля «Очкастая бомба»)*

Мы, деревья, похожи друг на друга, и жизнь, и судьба у нас почти одинаковые. Только вот, в отличие от лесных деревьев, я ежедневно вижу множество людей, потому что я — городское дерево, дерево в центре города, так сказать, прирученное городом дерево. Стою на проспекте.

Я был еще саженцем платана, когда увидел, как человек убил собаку большими щипцами. Тогда я впервые затрепетал.

Потом не раз видел, как сами люди убивали друг друга.

Я заранее знаю, когда в городе произойдет убийство. Вот, например, сегодня, здесь, на проспекте, соберется куда больший митинг, чем вчера, и недалеко от меня убьют человека. И шум листвы других деревьев подтверждает это.

Вскоре свершится отмщение, всего через несколько часов.

Я помню каждый парад, прошедший на этом проспекте, каждый президентский переворот. Мне много лет. Возле меня люди фотографируются, и на тех фотографиях неизменными остаемся только я и такие же, как я, деревья.

Здесь мне слышатся голоса морей и пустынь и звуки ветров со всех сторон света. Многолик этот город.

В этом году к нам впорхнула очень легкая весна, я даже подумал: год будет хорошим, мирным, пожалуй. Но все-таки наступил поворотный момент, и сразу же проспект переполнили люди. Они только это и умеют, иначе помрут. Это дело им дается лучше всего.

И не понимают, глупые: любой митинг — это всегда один и тот же митинг.

Во время митингов усталые люди подходят ко мне, опираются спинами, кладут на ствол свои потные ладони. А в другое время они меня и не замечают.

О, какая несуразная страна. Здесь не умеют совершать скромные революции. Таких безжалостных вещей наворотят — хуже убийства.

Иногда они побеждают, иногда люди в форме нападают на них и разгоняют, дубася палками.

Однажды, во время такого разгона странный избитый человек обнял меня, шепотом обращаясь к кому-то: хорошо еще, что ты нас побил, а не других, мы тебя все равно простим, вы же все равно наши, а другие не простили бы и нас бы возненавидели. Вот уж правда, странный был человек, люди в масках окружили его и долго били, но он остался жив. Только хромает — я его вижу иногда.

Когда собирается митинг, ни одна птица ко мне не подлетает. И собаки убегают. Здесь тогда шум, брань, ругань, рев мегафонов. Иной раз налетают странные машины и воют голосами адских птиц. Тогда мне хочется не быть здесь, но и в лесу меня давно срубили бы и сожгли или превратили бы в мебель.

Я люблю спокойствие и тишину, теплую прохладу и прохладное тепло здешних мест. Когда какая-нибудь собака помочится на меня, у меня теплеет на душе, я разговариваю с собакой, и потом она продолжает свой путь. А люди меня

не понимают. Я привык к шуму машин, а к людскому гвалту — никак не привыкну.

Справедливости ищут! Смешно.

Сами нарушают миропорядок — и ищут справедливости?!

На лицах их — знаки войны и бездомности. Только некоторые из них отличаются от большинства, очень немногие. Да, и еще — я легко отличаю людей комнатных от людей гор и долин. Иногда даже думаю, что люди долины хоть чуточку меня понимают. Надеюсь, что понимают.

Бабочка села на мое плечо и тут же умерла, бедняжка. А это плохой знак.

И тут же является он. Тот, кто пришел убить человека... Я вижу его. Он не отражается ни в зеркале, ни в окнах стоящих на улице машин. И никто не узнает его — ни соседи, ни знакомые. Правый карман его куртки оттопыривает страшная итальянская игрушка по имени PIETRO BERETTA. Злая игрушка, холодная и увесистая. Он пришел отомстить за отца. Пришел убить длинноволосого малого по имени Чиморо. Глаза его ищут, рыщут. Я не вижу его глаз. И никто не видит их...

Пыль, пыль, пыль поднялась.

Ветер, ветер, ветер.

Ветер, набитый невидимыми колючками. Вы думали, зеленый ветер? Нет, ветер цвета пыли. Пыль цвета ветра.

Дождь, дождь. Запоздывает дождь.

И мой ангел-хранитель куда-то исчез.

И ощущение бегающих мурашек понемногу проходит.

Из недалекого завтра слышу, как высоко звенит чистый серебряный звук.

В моей тени кто-то встает.

Кто-то из главных героев.

Только не знаю — убийца или жертва.

Хотя разве это не одно и то же?

Он встает на мою тень, и моим веткам и листьям больно.

Звиад Ратиани

ОТЦЫ

С грузинского. Перевод Владимира Саришвили

I

Опоздай почтальон по утрам с пачкой свежих газет
Хоть на жалкие двадцать минут — как они возмущались!
Их сердца укрывались под кожей футбольных мячей
В грандиозные дни, когда форварды эти сердца
Загоняли в чужие ворота, и прыгали наши отцы.
Обнимались.
А зимой, выходя на работу, они во дворе
В ожидании милости окоченевших моторов,
Первой штучкою «Космоса» возле кряхтящих машин
Наслаждались.
А с приходом весны укрепляли на крышах своих
«Жигулей», «Москвичей», «Запорожцев» багажные сетки
И спешили укрыть дорогих своих жен и детей
От столицы, где улицы
Испепелялись.
И звонили друзья, и к себе приглашали отцов,
И звонили отцы, и к себе приглашали друзей,
И с достоинством царским застольями руководя,
Дни считали в уме до зарплаты.
И в пучину запутанных дел погружались они и распутать
Пытались.
И заботливо руки на плечики наши кладя,
Они строили, строили, строили планы.
Но отравлена временем плоть их недавних химер,
И достался им пепел утраты.

Бедные отцы!

Вам хватило упрямства и дерзости не измениться,
Когда всё разломалось и рухнуло в тартарары,
Вы в чадающих автобусах катите вновь по столице —
Номера поменялись, названия улиц, дворы,
Вы ж по-прежнему сквозь неумытые стекла глядите,
И, толкаясь на выходе, платите вы за проезд.
Новый цвет у монеток. На службе вы старой сидите,
И в хозяева жизни из ваших никто не пролез.

Бедные отцы!

Звиад Ратиани — родился в 1971 г. Окончил Тбилисский ун-т. Автор 4-х книг стихов. Переводил на грузинский Р.М.Рильке, Т.Элиота, Э.Паунда, У.Х.Одена и др. Лауреат премии Института Гёте (1999) за переводы стихов П.Целана. Стихи З.Ратиани переведены на многие европейские языки.

Вы здороваетесь с сослуживцами и приступаете к убийству времени.
И, отрубив ему голову, убеждаетесь, что выросло две.
Время превратилось в дракона с другим именем
И другими идеями в отрубленной голове.
Только вы еще более прежние, чем были раньше,
И той же походкой — руки в карманах — входите в родные стены,
Так прочны оказались свитера, и брюки, и обувь ваша,
Словно их носили не люди, а манекены.
К разным домам, разными шагами
Подходят наши отцы,
Разные по характерам,
Только взгляд у них стал одинаков,
Как у животных разных пород, семейств, размеров и отрядов,
Попавших в неволю, — взгляд одинаков —
Скошен.
Всякий, кто в клетку брошен,
Смотрит, косясь, —
Кролик и лев, удав, попугай и слон,
Пока не привыкнут, думают: это — сон.
Скоро исчезнет он.
Так и наши отцы всё объясняют логикой сна.
Конечно, она странна,
Но не вечно сё злобствование.
Проснёмся — настанет бодрствование.

Бедные отцы!

Ведь сну безразлично — собрался ты только вздремнуть
Или надеешься к самому дну поднырнуть.
Сон продолжается, если он начат.
Главная его задача —
Чтобы ты лежал в темноте.
Всё остальное ничего не значит.
Ему наплевать, что будильник стучит в темноте,
И лежат отцы лицом к стене в темноте,
И не смеют думать о прошлом,
Залистанном в ожидании сна до дыр,
Так, что ничего не разобрать.
Но надо, но надо, — думают отцы, ворочаясь с боку на бок, —
Хоть что-то, хоть что-то, не наше уже...
Лежат отцы в темноте,
А у стен — уже не видать ушей,
Времена миновали те.
А у стен — уже не видать ушей —
Хоть своих ругай, хоть чужих пашей —
Так их, крой, на чём свет стоит!
Но молчат они — и лицом к стене,
А будильник сту-чит-чат-чит-чат-чит...
И не смеют, не в силах отцы бросить в прошлое память ожившую,
Когда чаянья их, и дела, и заботы
Двигались без заминки по часовой стрелке — чат-чит, чаг-чит,
Когда после трудного дня, с работы,
Как декорации отслужившие,
Они отправлялись за кулисы, к своим кроватям
И засыпали (согласно режиму),
Память, память, память,
Не надо, не напрягай пружины!

Ведь сейчас всё кувырком,
Всё настолько переиначилось,
Что на самоиронию память насобачилась,
Инфляции времени и денег съехались в одной точке,
Как две параллельные прямые или две катящиеся бочки,
Но это еще цветочки.
Страшнее всего, что Отечество попало в такой бурелом,
Что переносный смысл само слово «Отечество» приобрело.
Когда часть населения, поумнев сомнительно,
Приумножила число бесспорно умалишенных,
Когда на место именительного влез бестворитсельно-обвинительный,
А на место родительного — оглашенный,
А прошлое окончательно сформировалось как шестое чувство времени
Без седла, без стремени,
Снова смотрим на наших отцов, у которых хватило упрямства и дерзости
не измениться,
И наши упрёки безропотно, с грустью принять.
А мы им кричали: «Должны были блага народного ради лбами о стены
биться,
И о том, что душат свободу, в цветущем саду вопиать,
И драить в храмах полы, а в свободное время основам здорового секса нас
обучать!»
И когда сорок тысяч гадостей мы им наговорили,
Почему-то они недостойным сочли отвечать.
А теперь, когда все испарилось — и тот почтальон,
Что опаздывал утром, и форвард, и клуб, и противник,
А от проданных «тачек» остались запчасти на лом
Да багажные сетки со ржавым оттенком противным,
Когда в космос с прилавков отправился «Космос» (табак),
Когда верных друзей рассовала судьба кое-как
По каким-то далеким щелям, неудобным берлогам,
Как вы угнетены, неповинные наши отцы,
Как вас много!
Это — вам приговор за отцовство, за то, что лишь нам
Вы отцами остались — не скважинам черного золота,
Не экранам, не банкам, не танкам, не прочим делам,
И не славы искали, не прессы.
Вы жили как надо!
Жили в тихих домах, в наших тихих домах, небогато,

Бедные отцы!

II

Живет надежда, словно опрокинувшийся жук,
Которому не дано догадаться, что он опрокинут.
Не спрашивая,
Что к чему, почему это вдруг,
Он бессмысленно дергает лапками, а дни
Сменяют друг друга, как страницы тетради для раскрашивания.
И наши отцы
В квартирах, на улицах, в транспорте,
Как малыши,
Упрямо, без усталости ждут —
Вдруг да покажутся
Закатившиеся куда-то
Цветные карандаши.

Бесо Соломонашвили

Мама умерла

Рассказ

С грузинского. Перевод Нино Цитладзе

Братья

Ник нейм: Гио
Пассворд: Гугуша 80
Никнейм: Гио
Пассворд: 78

Гио: Как отец?

Вато: Потихоньку. Переживает за тебя.

Гио: С чего он нервничает? Он же знает, что я вру... Ты объясни.

Вато: Я объяснил.

Гио: Завтра выхожу на последнее собеседование, если докажу, что я прав и все такое... дадут статус беженца, право на работу и пособие, но я нервничаю... Каково им доказать такое.

Вато: И как ты должен доказать? Послушай, не вляпайся в какую-нибудь глупость...

Гио: Не знаю, постараюсь... Что у вас?

Вато: Ничего особенного. Он вбил себе в голову, что должен восстановить дом в деревне. Говорит — фамильный дом, наследство, должен успеть, пока то да се... Так об этом говорит, что у меня сердце ноет. Дом, говорит, построен из особого дерева, его из осетинских лесов привез его дед. Не могу объяснить, что туда теперь не поедешь, там оккупационная зона, но и противостоять ему не могу, так его жалко. Вот когда доедем, и нас туда не пустят, тогда поймет...

Гио: Да, знаю я про этот стройматериал... Ты что, спятил? Там теперь везде военные стоят!

Вато: Знаю, но у меня есть приятель, и потом — там русские, небольшая взятка, сунешь и... Контрабандистов кое-кого знаю из осетин, это вопрос денег. Когда мы были маленькие, он работал в тех местах. Завтра туда поедем. Я было

Бесо Соломонашвили — сценарист, кинорежиссер, писатель. Главный режиссер телекомпании «Имеди». Родился в 1964 г. в Тбилиси. Закончил физико-математический факультет ТГУ, несколько лет преподавал в сельской школе в Хевсуретии, затем закончил тбилисский институт театра и кино.

Автор сборников рассказов «Контрабандисты» (2000), «Замора» (2002), «Рейс Лондон—Зузумбо» (2010). Рассказ «Мама умерла» отмечен премией на литературном конкурсе «Пенма-рафон-2010».

вякнул, один поеду, на смех меня поднял: во-первых, говорит, одного тебя не пушу, а во-вторых, что ты можешь раздобыть, ты же кроме своей писанины ничего не умеешь.

Гео: Когда выезжаете?

Вато: С утра пораньше, думаю. Далеко ехать, и дороги плохие. Ты когда заходишь на комиссию или как она там называется?

Гео: В одиннадцать по-местному, вы уже там будете... Слушай, а про меня как он узнал?

Вато: Не знаю, про тебя молчит, но нервничает. Что это он надумал, говорит. Ведь это неправда, сынок? Неправда, но... Кому, как не мне знать...

Гео: Не улыбайся так... Будет! Ты-то чего нервничаешь? Тоже мне проблема! С кем ни бывало!

Вато: Теперь ты надо мной смеешься, да?

Гео: Твои-то дела как? Пишешь что-нибудь?

Вато: Где у меня время? На середине застрял. В основном тебе пишу.

Гео: Завтра у тебя там будет интернет?

Вато: Если в горах примет... Возьму с собой, попробуем...

Гео: Будь на связи. Мне интересно, как вы там... Еще и об этом не заставляйте нервничать! Скажи ему, чтобы не волновался, получу вид на жительство, поживу и смоюсь. Если сам не захочу, никто меня насильно не использует.

Вато: А если не сможешь смыться? Если потребуют доказательства, как полагается?

Гео: Доказательства, еще чего! Сюда со всего мира едут, и что, у всех требуют доказательства делом?

Вато: Не знаю...

Гео: Послушай, если у вас что-то пойдет не так, плюнь и на его закидоны, и на стройматериал этот, и мотай назад, это дело не стоит такого риска... Понял?..

Вато: Дааа...

Гео: Эх, соскучился я по тебе... Ты чего замолчал?

Вато: Не знаю... Все-таки, думаю, тебе не надо было уезжать.

Гео: А что надо было? Сесть? Десять по-твоему шуток?! Мне ведь десять лет давали.

Вато: Ну и не брал бы все на себя, герой!

Гео: Зачем ты треплешь мне нервы. Она на седьмом месяце! В тюрьме бы ребенок родился?

Вато: Ну и торчи теперь там и виляй жопой.

Гео: Мой ребенок должен родиться! Понимаешь?.. Как я мог представить, что ее брат окажется таким подонком?! Чтобы мужчина... не мужчина, а брат родной, подбросил наркотики беременной сестре: дескать, ее не обыщут. Представляешь, на что такой может пойти? Очень тебя прошу, хоть ты не говори со мной так.

Вато: Ладно, проехали...

Гео: Могилу сделали? Больше всего жалею, что я не был рядом и что никогда ее не увижу. Приходит во сне и не разговаривает, просто стоит и молчит.

Вато: Позавчера закончили. Потом поднялись домой, и при виде обрушенных стропил и прогнивших перил он вдруг заплакал. У меня сердце оборвалось. Стоял, по обыкновению говорил, даже улыбался, смотрел на дом, а по щекам текли слезы... Я подумал, было, что опять боль прижала, но тут он сказал: — Не

хорони меня с этим развалившимся домом в сердце. Дай умереть спокойно. Давай его восстановим...

Гео: Ого, тебе тоже там несладко приходится! Прости.

Вато: Что я должен тебе простить? Перестань!

Гео: Ты чего замолчал?

Вато: Может, ты приедешь, и мы на месте что-нибудь придумаем. Если они захотят, и там тебя достанут.

Гео: Ну, в который раз свое твердишь? Здесь меня защитят, понимаешь? Я же не сумасшедший, чтобы бежать оттуда, типа как педераст.

Вато: Ради бога не говори об этом. Я с ума схожу... Почему именно ты так уехал... Здесь что, женщины перевелись? И кто? Ты!

Гео: Кто-нибудь знает, под каким предлогом я уехал?

Вато: Нет, ты что, рехнулся?

Гео: А ему кто сказал? Откуда он узнал?

Вато: Понятия не имею. Если узнаю, придушу.

Гео: Хорошо, пошел я теперь и утром появлюсь. Не выключай, будь на связи.

Вато: Ладно.

Отец

— Ты с ним разговариваешь?

— Да.

— И что он?

— Ничего. Хочешь поговорить?

— Нет.

— Не выйдет у него это дело, вернется.

— Как вернется?

— Вернется, и что-нибудь придумаем.

— Ох...

— Ладно, не нервничай.

— Счастлива твоя мать, что не видит всего этого. Как она опередила меня, надо же!

— Да ну тебя! Я тут при чем?

— А при чем ты?

— Он там застрял по глупости, мама умерла, ты в таком состоянии!

— Прости, все мы на тебе повисли.

— Ладно, что мне прощать. Ты не нервничай и все.

— В котором часу завтра выезжаем?

— Рано утром. Разбудишь?

— Разбужу. Машину починил?

— Да.

— Деньги хорошенько спрячь, там народ не простой. Я кое-кого знал раньше, если меня вспомнят, конечно. Главное, въехать туда. Я тебе скажу: с русскими солдатами легче договориться. Главное, чтобы меня кто-нибудь узнал.

— Я возьму оружие.

— Давай без глупостей... Чтобы я не видел оружия в твоих руках. Но только не дай мне умереть так, чтобы этот дом остался полуразрушенный и... И чтобы этот парень вернулся с миром.

— Как только привезем, через два-три дня кликнем рабочих. Деньги есть деньги! Все будет хорошо.

— Сынок, не смей брать с собой оружие, понял...

— Дааа...

— Понял, сынок, что отец сказал?

Дом

Дом стоял на краю деревни, на лесной опушке. Большой и старый, почти столетний. В то время только зажиточные семьи строили такие дома. Дедушка моего отца был из зажиточной семьи. Крестьянином был, но зажиточным. Мой отец с гордостью рассказывал, что отец нации — Илья¹, — дал моему деду деньги на постройку сельской школы, сказал: поедешь в горы Самачабло, привезешь материал из лучшего дерева и построишь в селе школу. Дед привез стройматериал, вернул Илье деньги и бесплатно поставил школу. Сам он был лесничим и потому легко справился с поручением. Как я возьму денег у великого Ильи на обучение своих детей! — говаривал он. Я слышал, что была в доме фотография, на которой по сторонам стояли Илья Чавчавадзе и Важа Пшавела, а посередине дед моего отца — коренастый, плотный, в черной чохе. Потом его постигло горе: шестой ребенок умер в люльке. Так и не поняли, как это случилось. Сплавливали очередную партию леса, по реке сплавливали, в плотках, а сами сопровождали вдоль берега, верхами. Приехав, первым делом дед пошел домой, соскучился по семье. Приласкал малышку-последыша, а та, бедняжка, вскрикнула и испустила дух. «Видно, принес холод с реки, ребенок не выдержал». Дед с трудом перенес это горе.

Потом одна из пяти дочерей вышла в городе за какого-то ублюдка, понесла от него, а он возьми да исчезни. И это дед пережил с трудом.

В 1921 году, когда пришли большевики, дедушка подумал, что он крестьянин, его не тронут, и не уехал в Турцию вроде дворянских детей, сбежавших прямо с его винокурни. Это случилось в апреле. А в октябре, когда он собрал хороший урожай, пятнадцатилетний племянник его жены донес про дворянских детей, и у него отняли все, сам едва избежал расстрела. «Что я тебе плохого сделал? — спросил он племянника. — Десять лет мы кормим тебя и твою мать, одеваем, обуваем, дом вам дали, а ты...» А тот в ответ: «Не все тебе нас кормить. К тому же ты живешь вон в каком большом доме, а нас поселил в маленьком. Что, нам разве не хочется большего?» У дедушки сердце и не выдержало.

За два года до смерти он привез из гор Самачабло строительный материал из того же дерева, из которого поставил школу в селе, и построил себе красивый дом. Крестный моего отца плотничал у него, сказал: «Такой дом не дом, а благодать!»

И сегодня, глядя на него, глаз не насытится: стоит в лесу, по весне утопает в цветах, осенью оправлен в золото, летом — в зелени тонет, зимой укутывается белым снегом. Но время свое берет — стало в доме подгнивать что-то, отваливаться, осыпаться. В тишине ночи слышался скрип жуков-древоточцев. На дворе цикады стрекочут, в лесу сова ухает, а зимой, бывало, волчий вой слышен. Утром петух кричит, недремлющие собаки не успокаиваются: а жуки-древоточцы все скрипят, подтачивают опоры, матицу, стропила.

¹ Имеется в виду поэт и общественный деятель Илья Чавчавадзе.

После похорон матери отец сидел у стола тихий, покашливал и, чтобы никто не видел, незаметно утирал слезы...

— Как она меня опередила, надо же? — говорил с болью. А древесные жуки все скрипели и скрипели.

— Дом рушится, — сказал отец.

Сын опустил голову.

— Сколько времени мы не следили за ним, — отец с трудом сглотнул слюну.

Сыну стало стыдно.

— Надо им заняться.

Сын кивнул головой.

— Надо привезти из Самачабло тот лес, из которого построил дом мой дед, — сын опять кивнул. — Я сам должен его выбрать.

Сын посмотрел с удивлением.

— А сможешь?

— Ты, что ли, сможешь?! Брат твой куда-то подевался, ты ничего не умеешь, кроме своей писанины. Только отвези меня туда, не дай умереть так, чтобы это дело осталось недоделанным... Военных уговорим... Ну, а если не получится, вернемся...

Дорога

Вато: Как ты?

Гио: Ты смотри, поймал!

Вато: Да, здорово. Ну что там у тебя?

Гио: Ничего, жду.

Вато: Много вас в очереди?

Гио: Смеешься?

Вато: Что, уже и посмеяться нельзя?

Гио: Не представляешь, какая тягомотина. Тут двое, как я понимаю, вроде меня. Один из Ирана, другой албанец. Остальные... Представь, целый месяц в таком окружении. Свихнуться можно! Нет, не то, чтобы... Мне, в принципе, до лампочки, но...

Вато: Кто тебя туда звал? Они, что ли?

Гио: Как он?

Вато: Спит в машине. Остановились ненадолго, у него боли начались, я сделал укол, и он заснул. Здесь плохие дороги, сильно трясет, и ему больно.

Гио: Что сказали в последний раз, какая стадия?

Вато: Четвертая.

Гио: Ох! И что теперь?

Вато: Ничего. Жду... Приехал бы ты уже...

Гио: Перестань, у меня и так сердце разрывается. Но, кажется, придется.

Вато: А у тебя?

Гио: Что, что? Вчера был день перед собеседованием. Мне устроили маленький экзамен, какие-то два типа заявили в барак с выпивкой, стали меня лапать, убить хотел, ей-богу. Придумал какую-то чушь, будто мне плохо, или что-то в этом роде...

Вато: Убежал, или?..

Гио: Или что?

Вато: Не знаю.

Гио: Чего ты не знаешь, балда?!

Вато: Уж лучше десять лет отсидеть.

Гио: Ты у них спроси, что лучше.

Вато: Или ты уже того? А?

Гио: Да пошел ты!

Вато: погоди, кажется, он проснулся. Все. Я пошел, пошел, пошел...

Отец и сын

— Ты с ним разговаривал?

— Ага.

— Что говорит?

— Ничего. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо. Заводи, поехали.

— Поехали. Не проголодался?

— Нет... Я тебя мучаю, да? Напрасно все это затеял, да? Хочешь, вернемся назад... Сейчас, когда я все обдумал, понял, что это все же опасно...

— Да ладно, что уж теперь, мы почти доехали. Если что, вернемся... А нет, ты же знаешь, деньги все могут, купим и вернемся.

— Ты хорошо деньги спрятал?

— Не волнуйся.

— А оружие отдай мне.

— Я его не взял.

— Отдай, говорю, отдай. Или у тебя под сиденьем «Витязь в тигровой шкуре» припрятан?

— На, держи.

— Зачем все-таки его взял?

— Не знаю.

— Так и быть, пусть лежит... Только не смей, не трогай.

— Хорошо.

— А может, все-таки вернемся, а?! Какая несчастная у нас страна. Каждый тянет на себя. Вообще-то есть ли страна, которая не пытается оттапать что-нибудь у соседа? Главное — ты не отдавай. А эти очень уж агрессивные. Сначала не так было, но потом все смешалось и понеслась!

— Ничего, что-нибудь придумаем, деньги всем нужны...

— Понятное дело.

— Ты успокойся и поспи. Через час будем на месте.

Отец притих. Откинулся на сиденье, глубоко вздохнул и стал смотреть на дорогу.

Дорога

Дорога была кремнистая, извилистая. Рядом под обрывом бежала мелко-водная речка, наверху, на вершинах гор клоками белел снег, кое-где изредка попадались люди — телега, груженная сеном; кто-то машет рукой, не знает, что в машине сидит умирающий; отара овец растянулась вдоль дороги, мешает проехать. За машиной с лаем бросилась собака, не отстает. Отец засмеялся — настырная, вроде меня.

— Видно, я не так жил, как надо было.

— Почему?

— Твой братец, разрушенный дом, моя болезнь, и мама твоя меня опередила, одного оставила — видно заслужил, не знаю чем.

— Перестань!

— Скажи мне честно, Гио действительно не продавал?

— Клянусь тобой.

— И ту дурочку ее брат-морфинист подставил, думал, беременную не станут обыскивать.... Он подставил, на седьмом месяце. А этот, мой, братец твой... тридцатилетний мужчина не знал, как женщина беременеет?... Дегенерат. С другой стороны, не мог же он ее засадить... У меня будет внук?

— Через два месяца.

— Я еще буду жив?

Отец замолчал, положил руки на колени, лицо его исказилось.

— Болит?

— Не очень... Как же она меня опередила, как?!

По эту сторону границы

На голом каменистом пустыре стояло одинокое строение, со всех сторон оплетенное колючей проволокой. Она была повсюду — справа, слева, снизу и сверху. Над зданием лениво полоскался грязный флаг. Перед зданием, греясь на зимнем солнце, сидел на стуле пограничник. Неподалеку стояли три раздолбанные военные машины и торчал шлагбаум. Единственная дорога вела к этому шлагбауму, проползала под ним, продолжалась по каменистой, серой земле и терялась в лесу.

Вокруг сновали бродячие собаки. Изредка появлялись люди, переходили оттуда сюда и отсюда туда. Заходили в здание, доставали что-то из карманов. Выходили, недовольно ворча. Женщины крикливо возмущались, мужчины ограничивались тихим матом.

— Ты молодой, к тебе могут пристать, я пойду, поговорю.

— Нет, лучше я. Подумают, что я за наркотиками, и охотнее заговорят.

— Что за глупости, ты что, с ума сошел? Этого мне только не хватало!

— Послушай, папа... У тебя же болит...

— Не буду слушать, и ничего у меня не болит. Надоел уже. Все!

— погоди, я хоть позвоню своему знакомому.

— Звони.

Мобильный долго не отвечал. Пограничник покинул слабое зимнее тепло на припеке и подошел к ним, рукой указав опустить стекло. Ответили на мобильный.

— Алло, привет!.. Я Вато, тот, что просил... насчет стройматериала, хотим с отцом перейти и...

— Здесь нельзя останавливаться, — сказал пограничник в приспущенное оконце.

— Мы знаем, сынок, минутку... — ответил отец.

— Мы уже здесь... Здесь пограничники и... Постой, поговори с ними сам.

Пограничник взял мобильный. Послушал, послушал, вернул телефон и побежал к строению.

Отец бодро вылез из машины, энергично захлопнул дверцу, повернулся, заглянул в оконце.

— Ты из машины не вылезай, понял?! Сиди там!

В замызанное ветровое стекло было видно, как пограничник вывел из здания офицера и указал пальцем на отца. Отец подошел к офицеру, тот оказался выше его на голову. Отец говорил с ним снизу вверх. Офицер, судя по виду, грубоватый малый, похлопал отца по плечу. Отец убрал с плеча его руку. Лицо офицера выразило недовольство. Он поправил перекинутый чрез плечо автомат.

Рукоятка оружия под сиденьем показалась очень холодной, у Вато вспотела ладонь. Он напрягся. Отец глянул в сторону машины, показал офицеру, чтобы тот наклонился, хочу, дескать, что-то сказать. Военный наклонился, подставил ухо. Потом медленно выпрямился, расплылся в улыбке и поспешил к строению. Вернулся почти бегом и вместе с отцом сел в машину. Высунув голову в окно, крикнул в сторону военных машин: «Ехай за нами!»

Одна из раздолбанных машин двинулась с места.

Офицер

— Я, братан, познакомлю вас с русскими... ну, с миротворцами... Скажу, что вы надежные... А потом вы должны поговорить... Они вас переведут... Ну сколько тут, столько и тем...

Офицер засунул в карман смятые деньги.

Миротворцы

Над огражденным блоками закамуфлированным постом развевался сине-бело-красный флаг. В ветровое стекло было видно, как отец и офицер разговаривали с русскими миротворцами в голубых касках.

Рукоятка оружия под сиденьем показалась еще холодней. Грузинский пограничник уехал. Отец сел в машину.

— Ваше поколение не умеет с ними разговаривать! Смотри, учись, — рассмеялся и прижал руку в больному боку.

— Болит?

— Нет, нет... Лучше своим делом занимайся, — улыбнулся отец, — И с ним говори повежливее, он солдафон, кто знает, что взбередет ему в голову.

Русский миротворец

— Ну бля, все будет нормально... Хорошо успели, ребята, а то через несколько дней здесь такое начнется, бля. Ваши тоже пиздят, осетины тоже, напряг, бля... Домой хочется, нах... а то может и не доживу, бля... пристрелят, как собаку... Не любите вы нас, бля... Я думал... бля... вы наркоманы, героин... то, се... криминал. А вы строительный материал... Строишь жизнь, бля... придет война, разебет все нах, бля.

Их сопровождала машина русских миротворцев.

По ту сторону границы

Из окна окрашенного в желтый цвет вагона торчала труба и дымила. Перед вагоном стояла тачка, груженная мешками, и какая-то женщина средних лет считала деньги.

— Вы не переходите, — сказал русский миротворец. Поделил деньги пополам, потом прибавил к своим еще одну купюру.

— Хватит им, мудакам... Если что, наебут...

Из ветрового окна было видно, как русский миротворец разговаривал с осетинским пограничником.

Чужой город

Город был серый и темный, люди в нем были злые, машины — старые и разбитые. Одна школа, один ресторан, одна гостиница.

Было холодно.

— Откуда? — по-русски спросил небритый, седой портье гостиницы.

— Из Тбилиси.

Портье вместо ответа прищурился, потом что-то спросил по-русски.

— Я сказал, из Тбилиси.

— По-грузински не понимаю, — опять по-русски ответил портье.

— Подожди, — остановил отец сына и перешел на русский. — Из Тбилиси.

Хотим место.

— Нет.

— Деньги добавлю еще, — сказал отец.

— В каждом монастыре свое правило, — портье улыбнулся сыну и протянул отцу ключ. У него был тяжелый акцент, слова то растягивал, то обрубал. Во рту не хватало двух зубов — по одному внизу и наверху, — Я тебя знаю, — сказал портье вслед отцу, который кашлял и держался за бок. Отец резко обернулся, прищурился, лицо его оживилось, и он что-то сказал. Портье приветливо покивал.

— Ты жил в моем доме!

Отец просиял, посмотрел на сына и улыбнулся горделиво.

— Признал!

— Признал, — улыбнулся сын. — Клянусь мамой, признал. Вот ты, оказывается, каков!

— Не клянись мамой.

— Почему?

Скайп

Гео: Ну, что там у вас? Я сдох тут переживать.

Вато: Ух, обалдеть, где мы! Ты бы видел, как мы перешли границу... Деньги все делают, блин... Они все продадут за деньги. Когда узнали, что мы не за наркотой, сперва напряглись, засомневались... но при виде денег расслабились... Он оказался гигант... Я смотрел обалдевший...

Гео: Между прочим, своячка нашего именно там схватили, на блок-посту. Там его брат работал, на нашей стороне... Он и подумал, что женщину не станут обыскивать... Тьфу, мать его!.. Подонок...

Вато: Понятно... А городишко — мрак! Нас ненавидят, поносят почем зря, но портье или администратор гостиницы узнал отца... А в остальном как есть зона, настоящий «Сталкер». Помнишь «Сталкера»? У тебя-то что?

Гио: Сегодня опять расспрашивали. И что я нес, блин! Если б он услышал, не вынес бы, покончил бы с собой.

Вато: Похоже, он скоро сам представится...

Гио: Боли сильные?

Вато: Нет, делаю уколы, они снимают... О матери тоскует.

Гио: Сейчас спит?

Вато: Да, спит.

Гио: Что говорит обо мне?

Вато: Ничего. Волновался, правда ты торговал наркотиками или нет.

Гио: Ну и?

Вато: Я ему объяснил.

Гио: Может мне все-таки приехать? Хотя десять лет многовато...

Вато: А дадут тебе там статус?

Гио: Не знаю, завтра опять какую-то комиссию должен пройти. Кажется, медицинскую.

Вато: Почему медицинскую? Чтобы никого не заразил? Или... Слушай, что они собираются проверять?

Гио: Смеешься?

Вато: Вот приедешь когда-нибудь, и тогда я над тобой посмеюсь.

Гио: Только не сейчас, ладно? Не сейчас. Мне и так плохо.

Вато: Ладно, сейчас пощажу, прошу прощения, меньшинство.

Чужой город

Город был красивый, как декорация, яркий, пестрый, шумный, со множеством людей и машин. Машины все до единой были красивые и исправные. Было много ресторанов, много красивых женщин, много мужчин, много меньшинств, сексуальных меньшинств. Гио шел по улице. Он в третий раз был в этом городе, его ничего не удивляло, но сейчас он чувствовал себя как-то неловко. Он играл того, кем никогда не был и не мог быть, не будет и сейчас, но его положение было слишком сложным. Больше всего он стыдился брата. Когда умерла мать, все легло на плечи брата. И рак отца тоже лег на его плечи, и эта нелепая история с маленькой, глупой девчонкой... Так странно мы — грузины — устроены: все свои беды и напасти валим на кого-то одного.

Амстердам — большой город. Большой, яркий, к тому же демократичный. Примерно через полчаса решалась судьба Гио. Или его оставят в этой фантастической стране, или пинком под зад вышвырнут в Тбилиси. Вперед, Гио!

Вато с отцом тряслись в машине по дороге. Позади сидел портье гостиницы. Он много говорил, то по-русски, то по-осетински, то по-грузински. Все твердил, что между простыми людьми по-прежнему дружба и братство, а политики все портят, они во всем виноваты. Время от времени он пересчитывал деньги, сидел довольный и поминутно перекладывал деньги из одного кармана в другой. Вато с отцом двигало одно — найти стройматериал из того дерева, которое сто двадцать лет назад прадед привез из этих мест.

Амстердам

Голый Гио, наклонясь, стоял в комнате медицинской комиссии для беженцев. Он чувствовал себя униженным, но не имел претензий ни к кому, кроме себя. Никто не звал его сюда и не наклонял силой. Врач веско приклепнул печатью листок заключения. Комиссия вынесла вердикт — депорт.

Вато с отцом и с портье гостиницы мчались по разбитой дороге.

— Больно, — говорил отец.

— Хочешь, остановимся? — спрашивал сын.

— Нет, — сердился отец.

На лесопилке одновременно визжали все станки. Вато говорил с мастером. Тот отрицательно мотал головой, и с его загорелого, заросшего щетиной лица, как пеплом обсыпанного опилками, не сходила насмешливая гримаса. Отец что-то шепнул Вато на ухо, тот покачал головой и опять обернулся к мастеру, горячась и жестикулируя. Мастер снова отмахнулся, наклонился и взял в руки топор. Отец медленно пошел к машине, сунул руку под сиденье.

Портье гостиницы испуганно смотрел на распаленных отца и сына. Отец извлек из-под сиденья оружие. Портье встал у него на пути. «Не делай этого, дорогой, прошу!..» — крикнул он. Отец оттолкнул портье. Вато понял, что он непременно убьет мастера. Мастер побелел и понял, что сейчас в него выстрелят. Холод пистолетного ствола колечком обжег ему лоб. Он беспомощно улыбнулся.

Обратная дорога

Вато: Не думал, что тут примет.

Гио: Меня депортировали, знаешь?

Вато: Что, возвращаешься?

Гио: Да.

Вато: Что будешь делать?

Гио: Не знаю. Встреть меня, ладно? Полиция тоже будет встречать, хотя бы увижу тебя, а то потом ко мне никого не пустят.

Вато: Где ты сейчас?

Гио: У меня еще десять минут на общение. Как отец?

Вато: Хорошо. Подожди, взгляну на него, скажу, он обрадуется. Поговоришь с ним?

Гио: Давай.

Вато: Отец!

Гио: Стройматериал вывезли?

Вато: Едет за нами. Отличный материал. Ты бы видел, что он там творил! Не поверишь! Я таким его не знал. Не смог отнять у него оружие... Только под конец ему стало плохо...

Гио: Силен!

Вато: Отец...

Гио: Эй, что там у вас? Меня сейчас отключат. Слышишь?

Вато: Да подожди ты! Отец...

Гио: Эй, эй!

Вато: Папааа... Отец умер!

Гио: Папаааа!

Паоло Яшвили

(1895—1937)

Перевод Яна Гольцмана



Поэзия

Безумье легко предпочту стиховому безмолвью.
Черней слепоты невозможность восславить светило.
И если творенье из сердца не вырвется с кровью,
Откуда у песни возьмется бессмертная сила?

Пожары и войны, терзания вечной разлуки,
Чума моровая, разломы в граните упругом —
Ничто не сравнится с величием яростной муки
Поэта, который сражен вдохновенным недугом.

По городу бродит на прочих похожее тело.
Прохожие скажут: «Гляди, от поэзии пьяный».
Но кто понимает, что это — опасное дело,
Что в пламени гибнет и корчится мозг окаянный?

О, сколько мне нужно сердец, чтобы чувствовать души!
И глаз, чтобы каждого ясно увидело зренье.
Я множество образов должен нещадно порушить,
Чтоб, бабочки чище, взлетело одно песнопенье.

Как смерть неотвязное, слово горячкой слепило,
И тело, и душу душило цепями полона.
Не спишь, а наутро, когда постучится светило,
Ты — скорбная память о том, кого звали Паоло.

Рождается песня — и на год урезаны сроки
Земного пути. И недолго уже до предела.
И если вот это и вправду — последние строки, —
Швырните воронам никчемное мертвое тело!

«ДН», 1999, № 3

Бека Курхули

Рассказы

С грузинского. Перевод Анны Григ

Муса-Кала

*Посвящается всем грузинским воинам,
погибшим в чужих землях с Рождества Христова
до наших дней! А также их врагам...*

Абдель Кадыр-Хаджи сидел на большом перевернутом тазе перед своей глинобитной мазанкой и макал зачерствленную лепешку из тутовой муки в индийский чай, завезенный из Пакистана контрабандой. Зеленовато-желтый ароматный напиток с примесью опиума, помогал утолить голод лучше, чем тутовый хлеб.

Входную дверь заменяла циновка, она была подвернута, и из-под нее выползал густой мрак. Этот дом построила мать Абделя Кадыр-Хаджи. Отпечатки ее пальцев были видны на нем и сейчас. Они остались, когда она голыми руками обмазывала стены глиной.

Абдель Кадыр-Хаджи имел жилье и в Кабуле. Оно досталось ему в качестве военного трофея, когда русские покинули Афганистан, а правительство Наджибуллы было свергнуто. Это была трехкомнатная квартира одного из высших чиновников Наджибуллы в так называемой «хрущевке», панельном доме, который построили русские перед зоопарком, нарисованным на Великой кабульской стене. В кабульском зоопарке не осталось животных, да и сам зоопарк был давно уничтожен, поэтому его в обновленном виде изобразили на стене... Нарисованных зверей можно было разглядывать или даже стирать со стены, но убить их теперь было бы невозможно...

Абдель Кадыр-Хаджи никогда не любил Кабул. С тех пор как пришли американцы и талибы потерпели поражение, он ездил туда всего три раза, по делу, но даже не смотрел в сторону «хрущевки». Квартира была заперта, он даже не вспоминал о ней. Главные его дела и заботы были здесь, дома, в Гильменде и Муса-Кале.

Бека Курхули — прозаик. Родился в 1974 г. в Тбилиси. Окончил Тбилисский театральный институт им. Шота Руставели. Работал газетным репортером в «горячих точках» Кавказа. Автор нескольких книг прозы. Рассказы переведены на русский, английский, литовский и армянский языки.

Поставив пустую пиалу прямо на землю, он вынул из кармана коричневого жилета пачку «Dunhill» и, размяв сигарету, закурил. От хны его пальцы окрасились в оранжевый цвет. На свисающих, спутавшихся с бородой длинных черных космах пестрела войлочная шапка, обут он был в перетянутые ремешками сандалии на босу ногу. На ногах потрескались ногти, а кожа на голених воспалилась и распухла, покрывшись красно-коричневыми пятнами.

В Гильменде нет воды, ее функцию зачастую выполняют камни или песок, и то только сухой. Если несколько дней подряд идет дождь, то сухой песок превращается в желто-коричневую липкую жижу, в которую проваливаешься по самую щиколотку, и пройти по ней трудно не только человеку, но и тангутскому верблюду.

Всю неделю была пасмурная погода, дождь лил не переставая. Но сегодня с утра выглянуло солнце. Пар поднимался и от размокшей, перемешанной с глиной земли, и от зеленых плантаций конопли, и белеющих посевов мака, и плоских крыш кишлака, от впалых ишачьих боков.

Абдель Кадыр Хаджи сидел перед своим домом на ржавом русском тазе, время от времени отгибая полу длинного зеленого чапана, чтобы сплюнуть себе под ноги. На его левой руке красовались советские серп и молот. Воспаленные глаза были обращены на юг, он думал. Ему было о чем подумать.

У афганских моджахедов «серп и молот» означали, что носитель такой татуировки участвовал в джихаде против Советской Армии. Стрела, пронзающая сердце, во всем мире являющаяся символом любви, здесь означала его принадлежность к группе шахидов, а два скрещенных меча поверх одного — пуштунскую вендетту, месть.

Родной кишлак Абделя Кадыр-Хаджи на самом деле звался не Муса-Кала, а Муса-Кхала. Муса-Калой называли его американцы, потому что не могли произнести звук «кх». Не так далеко, на южной стороне, начиналась граница с Пакистаном, но само понятие «граница» было условным, никому не удавалось ее контролировать. По обе ее стороны, и в Пакистане, и в Афганистане, жили пуштуны, и вся эта земля была их исторической территорией — Пуштунистаном, поэтому проведение линии государственной границы где бы то ни было посреди голой пустыни или чьи-то политические интересы значили для местных жителей не больше, чем след, оставленный в небе реактивным самолетом.

Абдель Кадыр-Хаджи с детства воевал с русскими. Он не помнил, сколько ему было тогда лет, и, как большинство местных, не мог назвать свой возраст даже теперь. Просто однажды он схватил трехдюймовый британский карабин, который принадлежал еще его деду, и, найдя в старом сундуке патроны, запихнул их в дырявый карман жилета; спустя годы, вернувшись домой, он нашел еще три патрона, валявшиеся возле того же сундука, и пошел к мулле Омару.

В то время наиболее прославленным бойцом среди пуштунов считался Гульбедин Хекматияр. Во всяком случае из всех здешних моджахедов он был самым известным в мире. Даже президент Америки Рональд Рейган хотел встретиться с ним в 1980 году, но несмотря на то что Америка и американское оружие, тайно вывозимое караванами из Пакистана, были для афганских моджахедов единственной опорой в борьбе против русских, Гульбедин Хекматияр категорически отказался от встречи: «Меня не интересуют американцы. Они просто используют нас в войне с русскими, загребая жар нашими руками».

Гульбедин Хекматияр, так же как и Хафизулла Амин, принадлежал к

клану хароти, а люди этого племени известны своими упрямством и несговорчивостью. Хафизулла Амина убили вместе с его малолетним сыном 27 декабря 1979 года во время сорокатрехминутного штурма дворца Тадж-Бек. И после этого советские войска вторглись в Афганистан.

Гульбеддин Хекматияр участвовал и в гражданской войне, разгоревшейся после ухода советских войск. На этом кровавом поле действовали еще два великих игрока, главы крупных военных формирований: узбекский генерал Абдул-Рашид Дустум и таджик Ахмад Шах Масуд. Во время войны они оба создали себе по небольшому ханству на севере Афганистана: Абдул-Рашид Дустум — в населенном этническими узбеками Мазар-и-Шарифе, который даже называли «Дустумистаном», а «Панджшерский лев» Ахмад Шах Масуд — в Панджшере, населенном таджиками. Каждая из трех группировок воевала в своих интересах, время от времени объединяясь по принципу двое против одного. В те годы в Афганистане царил полный хаос, все было поставлено с ног на голову и кровь лилась рекой.

Начались вооруженные выступления талибов — студентов медресе. Талибы неожиданно и очень быстро захватили большую часть Афганистана. Абдул-Рашид Дустум и Ахмад Шах Масуд, укрепившись каждый на своей территории, объединились в Северный альянс. В то время как пуштуну Гульбеддину Хекматияру, не имевшему возможности тоже засесть где-нибудь — по той простой причине, что талибское движение возникло как раз в Пуштунистане — Гильменде и Кандагаре, пришлось бежать в Иран, к персидским шиитам; хотя в 2001 году, после начала контртеррористических операций, он стал поддерживать талибов и опубликовал обращение, в котором призывал всех афганцев к объединению и «борьбе против американских и британских оккупантов».

К нему, Гульбеддину Хекматияру, и собирался сперва пойти Абдель Кадыр-Хаджи, но из-за слухов о его жестокости склонил свой выбор в пользу муллы Омара и оказался прав. Уже впоследствии он познакомился с Гульбеддином Хекматияром и Себгатуллой Моджаддеди — одним из духовных лидеров афганского движения и просвещенным улемом — печальным седебородым старцем с добрыми глазами, который однажды успокоил обессилевших, уже несколько дней ничего не евших и ропшущих бойцов одной простой фразой: «Истинный мусульманин восхваляет Аллаха, когда получает пищу, и благодарит Аллаха, когда лишен ее»... Встретил Абдель Кадыр-Хаджи и Джаллалудина Хаккани — очень умного и хитрого человека, повидавшего многое, вышедшего невредимым из всех войн и испытаний, а теперь неожиданно оказавшегося в составе законодательного собрания при избранном американцами президенте Афганистана Хамиде Карзае и требовавшего амнистии для талибов, и даже их реабилитации и проведения диалога с ними.

Спустя два месяца после встречи с муллой Омаром и зачисления в отряд Абдель Кадыр-Хаджи достал себе автомат, убив первого врага — русского солдата, «шурави». Это был прапорщик лет сорока, крепкий, скуластый, высокого роста. Пуля попала прямо в сердце, он не мучился. Абдель Кадыр Хаджи не почувствовал никакой жалости. Не почувствовал ее *тогда*. Чувство жалости пришло к нему намного позже, когда он достиг возраста убитого им прапорщика. А тогда тот воспринимался им как старик, и автомат у него тоже был старый — «АК-47», а не «АК-74», хотя и неплохой — даже, можно сказать, хороший. Абдель Кадыр-Хаджи носил его потом еще больше года.

«Самый ужасный и тяжелый из всех грехов, в который может впасть моджахед во время джихада, — это, стремясь стать шахидом на пути Аллаха, думать и печясь единственно о своем земном благополучии, а не приносить себя в жертву во имя любви к Аллаху», — сказал мулла Омар при первой их встрече. С тех пор он с ним почти не говорил. Первое время Абдель Кадыр-Хаджи старался попасться на глаза мулле Омару, надеясь, что тот заговорит с ним еще, но однажды вдруг понял, что делает именно то, от чего предостерегал его мулла, и стал избегать встреч, предпочитая быть незаметным.

Абдель Кадыр-Хаджи воевал самоотверженно, хотя не всегда мог совладать с чувством страха. Особенно жутко становилось ему от атакующих вертолетов и самолетов и пронзительного свиста мин. Он настолько стыдился этого — даже когда никто не замечал его страха — что заставил себя привыкнуть ко всем опасностям, лишь бы избавиться от мучительного стыда. Выбрав путь газавата, он был обязан подчиняться строжайшим и общим для всех правилам и беспрекословно выполнять любой приказ. А в остальном был абсолютно свободен, никто не требовал от него беспрекословного повиновения. Более того, там было не принято выделяться, это считалось бестактным и недостойным поведением. Однажды старший по возрасту Абдул Рахим сказал ему: «Сколько бы ты ни молился, пусть чаще и дольше других, все равно тебе не будет даровано больше, чем им...»

Абдула Рахима разорвало снарядом, выпущенным советским военным вертолетом Ми-26 во время авиационной атаки русских, хотя он каким-то образом оставался жив еще целый вечер. Перед самым концом, обведя угасающим взглядом братьев по оружию, он с печалью и сожалением сказал то, что готовился сказать в течение последних часов: «Иншаллах! Стремясь к смерти и радуясь ей, мы все же не уверены, сочтет ли нас Аллах, хвала Ему, достойными райского света и благодати...»

Абдель Кадыр-Хаджи быстро привык к крови, к убитым и покалеченным людям. Его удивляло только то, что едва испустив дух, любой человек, будь то советский солдат — русский, кавказец, балтиец, или афганец — пуштун, узбек, бахтияр, таджик, хазарец, становился равным всем другим: между умершими людьми исчезало всякое различие. Все они одинаково лежали, распластавшись на выжженной солнцем и потрескавшейся красно-коричневой афганской земле, изодранные и окровавленные. Даже цвет у них был одинаковый. Прошло много лет, но ощущение необычности происходящего не покидало его: смерть намного быстрее, чем жизнь объединяла людей, делая их похожими друг на друга. Выходило, что именно жизнь и заключает в себе ту самую взрывную, смертельную энергию, которая разделяет людей, создает различия между ними и превращает в заклятых врагов.

Абдель Кадыр-Хаджи сидел на ржавом цинковом тазу, лицом на юг, и думал. Ему было о чем подумать.

Этот таз был его первым военным трофеем. Они напали на русский военный лагерь в Кандагаре в пять часов утра. Время нападения выбрали неслучайно. На врага лучше всего нападать как раз с четырех до шести утра, потому что даже самый дисциплинированный, самый выносливый и бдительный солдат подвержен сонливости в это время.

И в тот раз сначала все пошло хорошо. Они быстро и легко нейтрализовали

сонных часовых с пулеметами, дежуривших на сторожевых вышках в обнесенном колючкой лагере, и ворвались на территорию, которая была вся уставлена палатками.

Большое красное солнце, словно тоже подкрадываясь к кому-то, осторожно поднималось из-за афганских гор. Они крадучись приближались к палаткам и хозяйственным постройкам. Абдель Кадыр-Хаджи оказался у низкого, покрытого копотью строения. Он вышиб ногой дверь и с автоматом наперевес ворвался в темный сарай.

Вдруг из мрака, подобно бурлящему фонтану, возникла белая как снег, показавшаяся ему огромной и абсолютно голая девушка, русская, и закричала во весь голос. Абдель Кадыр-Хаджи так и застыл на месте. Он до сих пор ни разу не видел даже женского лица, а теперь вдруг оказался один на один с обнаженной женщиной, у которой была ослепительно белая кожа. Он стоял и смотрел на нее, разинув рот. В это время она что есть силы запустила в него намыленной мочалкой и истошно закричала: «Мама-а-а! Мамочки-и-и!» Ее крик показался Кадыру-Хаджи чуть ли не боевым кличем, он вконец растерялся. Она оттолкнула окаменевшего у двери смуглого афганского парня с такой силой, что тот от неожиданности отлетел к стене, выронив автомат, а его пестрая шапка, украшенная бисером, откатилась в сторону. В ноздри ему ударил запах женщины, смешанный с ароматом мыла и чистоты. Еще он успел заметить большой гладкий зад, когда она ринулась к двери. У него потемнело в глазах. В это время послышалась стрельба. Девушка сразу же влетела обратно и от страха прижалась спиной к деревянной двери бани. На долю секунды их взгляды встретились. Девушка судорожно прикрылась руками и ее крик опять заполнил комнату: «Ой, мамочки-и-и!» Абдель Кадыр-Хаджи смог наконец встать на ноги и схватил свой автомат. От ее пронзительного крика «Помогите!!! Помогите ради Бога, кто-нибудь!!!» у Абделя Кадыра-Хаджи зазвенело в ушах. Он осторожно положил автомат на землю и сделал рукой знак, чтобы она замолчала. Осторожно, с некоторой брезгливостью взял аккуратно сложенные вещи и бросил ей, а сам, весь почерневший от грязи и пыли, омыл оскверненные от прикосновения к женской одежде пальцы в оставшейся в тазике мыльной воде. Девушка стала наспех одеваться. Абдель Кадыр-Хаджи, найдя свою шапку, снова нахлобучил ее на голову. Стрельба на улице то затихала, то учащалась.

Девушка вдруг умолкла. Она уже оделась и все еще стояла у стены, испуганно глядя на худого бородатого парня. Они были почти ровесники, может, девушка — на пару лет старше. Абдель Кадыр-Хаджи поднял свой автомат так же осторожно, как и положил перед этим, делая ей знак, чтобы она не начала кричать снова. Но девушка и так выдохлась, она не сводила глаз со страшного, вооруженного автоматом душмана. Звуки выстрелов отдалялись к югу, было очевидно, что русские отступали в более безопасное место, чтобы вызвать на подмогу авиацию.

Здесь нельзя было оставаться. Абдель Кадыр-Хаджи вновь сделал знак, чтобы она отошла от дверного проема и пропустила его вперед. У девушки на щеках виднелись полоски от слез, она все еще всхлипывала. Она шла позади, несколько раз попыталась обогнать его, но парень, строго посмотрев и грубовато дернув за руку, поставил ее за собой. Русские действительно отступили на юг. У них почти не было потерь, нескольких раненых они забрали с собой.

Выведя девушку в относительно безопасное место, Абдель Кадыр-Хаджи повернул обратно. Слыша удаляющийся звук поспешных шагов, он ни разу не оглянулся.

Моджахедам достались богатые трофеи: автоматы, ручные противотанковые гранатометы, множество боеприпасов, мин и бронежилетов, рации, одежда и один грузовик «ГАЗ-66», бывший для них в то время неоценимым сокровищем.

Только один среди них — Саид Файсал — имел хоть какой-то опыт вождения и потому сел за руль. Они стали быстро грузить трофеи.

Абдель Кадыр-Хаджи зашел в баню, выплеснул воду из таза и забросил его в кузов грузовика.

Дома мать постирала в этом большом тазике его перепачканную одежду водой, нагретой в поставленных у порога глиняных горшках. Какое-то время посудина еще сохраняла запах мыла, чистоты и белоснежной русской девушки, но потом он улетучился. Зато остались постепенно запомнившиеся русские слова: «баня, тазик, салага, козел, ваня, блядь, машина...»

Машина — грузовой «Газ-66» — протянула еще только месяц, а потом неожиданно со страшным шумом остановилась посреди дороги. Никому не пришлось в голову хоть раз залить масло в двигатель, поэтому он окончательно заглох, и они снова перешли на испытанный транспорт — лошадей и мулов.

Через несколько дней война закончилась, и советские войска покинули Афганистан. Казалось, все беды и несчастья остались позади, однако новое тяжкое испытание ожидало страну.

Сразу после окончания войны с русскими Бог послал Абделю Кадыру-Хаджи неожиданную радость и счастье, о которых может только мечтать любой мусульманин. Мулла Омар лично пригласил его к себе вместе с несколькими избранными моджахедами и предложил совершить хадж — паломничество в Мекку.

Мулла Омар сидел, как подобает, на ковре, во дворе мечети, под тенью тутового дерева. Там же на подносе стояла хрустальная ваза с сушеной дыней, плодами шелковицы и разными сладостями. За забором виднелся его дом. Он позвал пятерых: Мохаммада Януса Ага, Абдулу Малика, Джанана, Хасана Самади и Абделя Кадыра, который был самым младшим среди них и поэтому почтительно присел поодаль.

Мулла Омар долго сидел молча, опустив голову.

— Русские ушли, — удрученно начал он, — советские безбожники потерпели поражение и были вынуждены оставить Афганистан, нашу родину — землю ислама. Эта новость заставила правоверных возгордиться и ошибочно предполагать, что мы победили. Они перестали думать и молиться. Но следует знать, что это не мы одержали победу, а они потерпели поражение — и именно из-за своего безбожия. Они объявили войну Богу. Никто, хотя бы в мыслях возжелавший войны с Ним, не смог избежать ужасной кары. Ни на этом, ни на том свете. Только Иблис, чье другое имя — Шайтан — будь оно проклято! — может совратить человека и настолько лишить рассудка, чтобы он собрался воевать с Аллахом; как же греховен народ, вступивший на этот ошибочный и гибельный путь! Многие моджахеды приняли светлый венец шахида-мученика на пути Аллаха, но, повторяю, из оставшихся в живых многие впали в грех гордыни и приписали себе небывалые героические дела, свершившиеся лишь по воле Аллаха и predetermined им судьбы. Они поверили, что сами обладают огромной силой, способной изменить мир и, что хуже и губительнее всего, даже убеждают в этом других...

— Мулла, кто они, братья, впавшие в подобный грех? — спросил Мохаммад Янус Ага, который был самым старшим, опытным и заслуженным воином...

Мулла Омар, который до сих пор говорил с ними не поднимая головы, вдруг выпрямился и спокойно посмотрел на него, а затем, окинув всех беглым взглядом, так же спокойно сказал:

— В первую очередь — вы! Стены мечети все слышат, ведь это дом Божий. Речь идет именно о вас вместе взятых и о каждом в отдельности. Для этого я и позвал вас. Если есть и другие, заблуждающиеся подобно вам, я буду говорить с ними отдельно. Грехи одного человека не оправдывают грехов другого.

Мохаммад Янус Ага задумался. Мулла Омар спокойно смотрел куда-то перед собой. Остальные опустили глаза в пол и предались раздумьям. Абдель Кадыр-Хаджи, несмотря на опыт участия в войне, был еще очень молод и не совсем понял, чего от него хотели, но тоже послушно уткнулся взглядом в выжженную красную землю...

— Вы знаете, — продолжал мулла, — а те, кто не знает, должны знать, что совершение хаджа — посещение святых мест Мекки, Каабы в Масджид аль-Харам, горы Арафат и долин Муздалифа и Мина и поклонение им — является одним из пяти основных и важнейших столпов ислама после шахады, молитвы — «намаз», налога — «закят» и поста — «саум». Принимайте участие в джихаде, но помните, что совершение хаджа несет в себе не меньшее, если не большее, благо. Когда мать всех правоверных мусульман, Аиша, поприветствовала Пророка словами салама «мир вам, милость Аллаха и Его благословение» и сказала: «О, посланник Аллаха, мы считаем наилучшим делом джихад, так не принять ли нам в нем участие?», он ответил: «Нет! Наилучшим джихадом для вас является безупречный хадж». А еще однажды к Мухаммаду пришел человек и сказал: «Поистине, я слаб и труслив», на что посланник Аллаха сказал: «Так поспеши же на джихад, в котором нет даже колючки, — это хадж».

Именно поэтому каждый истинный мусульманин обязан совершить хадж хотя бы раз в своей жизни, даже если ему придется потратить на это все свое состояние...

После паломничества в Мекку и совершения хаджа к именам афганских бойцов добавилось почетное звание «хаджи». Мулла Омар-Хаджи, Мохаммад Янус Ага-Хаджи, Абдул Малик-Хаджи, Джанан-Хаджи, Хасан Самади-Хаджи и Абдель Кадыр-Хаджи.

Афганские моджахеды, очистившиеся и свободные от своих грехов, оставили земной рай и вернулись на родину, где все еще бушевал ад, — казалось, одновременно распахнулись все его врата, и, едва оказавшись в кабульском аэропорту, паломники почувствовали весь жар преисподней.

В 1992 году моджахеды под руководством генерала Абдула-Рашида Дустума и известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда свергли просоветского президента Афганистана Наджибуллу и захватили Кабул. Наджибулла попытался покинуть Кабул на самолете, но его бывший сторонник и в прошлом просоветский генерал Абдул-Рашид Дустум вместе со своими подчиненными-узбеками преградил ему путь. Наджибулла 28-го апреля 1992 года укрылся в штаб-квартире миссии ООН в центре Кабула, где безвыездно жил четыре года, вплоть до своей смерти. Вместо него главой временного правительства был избран лидер партии «Хезб-е джамиат-е ислами» Бурхануддин Раббани — старый

моджахед и один из героев партизанских боев с Красной армией. Бурхануддин Раббани был из граничащего с Панджшером и населенного узбеками горного Бадахшана, в свое время разделенного на две части Лениным и британцами: большая, северная, часть сегодня входит в состав Таджикистана, другая — отошла к Афганистану. В Бадахшане имеются богатые залежи лазурита, а в Панджшере — изумруд, и большую часть этих земель контролировал тогда не кто иной, как Бурхануддин Раббани. Пост министра обороны достался Ахмаду Шаху Масуду, таджику по национальности. А у Абдула-Рашида Дустума фактически было собственное независимое государство — населенный этническими узбеками Мазар-и-Шариф, — которое называли также «Дустумистаном».

Подобным распределением власти осталась очень недовольна третья, могущественная военная сила, руководимая Гульбеждином Хекматияром, в распоряжении которого была закаленная в борьбе с советскими войсками и хорошо вооруженная пуштунская армия. Гульбедин Хекматияр, сам тоже пуштун по происхождению, посчитав, что оказался вне игры, почувствовал себя отвергнутым и несправедливо обманутым. Тем более, что пуштуны всегда считали себя с коренными жителями Афганистана и его полноправными хозяевами, тогда как населяющих северную часть страны таджиков и узбеков воспринимали как чужаков. Помимо этнических конфликтов и противостояния, Хекматияра особенно бесил тот факт, что когда он вместе с Ахмадом Шахом Масудом, Бурханудином Раббани и другими моджахедами проливал кровь, воюя против Советской армии, узбекский генерал Абдул-Рашид Дустум поддерживал просоветского президента Наджибуллу и воевал на стороне русских, причем именно они и присвоили Дустуму звание генерала.

Гульбедин Хекматияр не мог примириться с такой несправедливостью и вероломством, поэтому немедленно привел армию в боевую готовность и подступил к окрестностям Кабула. Несмотря на то что его солдаты были прекрасно вооружены — как советским, так и американским оружием — без сильного союзника они никогда не смогли бы продвинуться дальше и тем более захватить власть в свои руки.

В 1994 году у Гульбедина Хекматияра появился такой союзник. Как ни странно, им оказался Абдул-Рашид Дустум, который перешел на сторону Хекматияра. Хекматияру, в свою очередь, было не до старой вражды и сведения счетов. Вдобавок к этому фактически независимое узбекское ханство Мазар-и-Шариф, шестидесятитысячная регулярная армия и, главное, брошенное русскими огромное количество бронетанковой техники делали Абдула-Рашида Дустума желанным союзником для любой из сторон.

Таким образом, к 1994 году Хекматияр и Дустум объединились и совместными силами перешли в наступление против Ахмада Шаха Масуда. Военное противостояние за контроль над Кабулом обрело новые и еще более ужасающие очертания. Ракетные обстрелы Кабула солдатами Хекматияра и Дустума унесла жизни нескольких тысяч мирных жителей.

После ухода русских из Афганистана мулла Омар категорически отказался от участия в междоусобной борьбе и, прощаясь со своими бывшими бойцами, которые намеревались пойти на Кабул вместе с пуштунской армией, сказал: «Вы идете воевать не с неверующими шурави и завоевателями, а со своими мусульманскими братьями, что само по себе дело нехорошее и несправедливое. Поэтому помните слова посланника: "Избегай ссор и скандалов. Оставь то, что

внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает. Прими оправдания оправдывающегося, не ругай никого из сподвижников Мухаммада, и Аллах украсит твои дела и намерения..."»

Распрошавшись с бойцами, мулла Омар вернулся к своим делам. Собрав местных детей, в первую очередь сирот, он начал обучать их и своих младших сыновей Слову Аллаха, основам ислама, чтению Корана, историям посланников и пророков и арабскому. По мере возможности он ухаживал за детьми и кормил их. Скоро его джума-мечеть и медресе стали самым известным во всем Гильменде и Кандагаре духовным училищем и образовательным центром.

Тем временем Абдель Кадыр-Хаджи вместе с несколькими своими старыми соратниками участвовал в походе Гульбеддина Хекматияра на Кабул, несколько раз они с боями входили в город. Когда он своими глазами увидел весь происходивший там ужас, то понял, что мулла Омар в очередной раз оказался прав. Люди устали, отчаялись и озлобились, а война, которая с детства стала для Абделя Кадыра-Хаджи привычным и естественным делом, была лишь воняющей трупами кровавой мясорубкой. Никто не сможет во имя абсурдной «правды» вложить снаряд в гаубицу и выпустить его в направлении города, где маленькой девочке оторвет ногу. Такой правды не существует. Абделю Кадыру-Хаджи пришлось увидеть там много покалеченных детей, и сперва ему захотелось убить всех тех, кто воевал «за правду», а потом — как в те дни, когда он повсюду следовал за муллой Омаром, — на него будто снизошло озарение: он понял, что наверняка покончит с собой, если не прекратит участвовать в этой борьбе. Он поговорил с соратниками и сказал им о своем намерении уйти. К удивлению Абделя Кадыра-Хаджи, почти все моджахеды одобрили его и приняли такое же решение. Настало время выбраться из этого ужаса и разъехаться по домам, вдобавок была вероятность того, что пока они сами бомбили здесь чужие дома, их собственные тоже кто-то сжигал, убивая их семьи. Один только Манан Агахал отказался возвращаться домой и остался в Кабуле.

Абдель Кадыр-Хаджи вернулся в Гильменд. Но в Пуштунистане, так же как и во всем Афганистане, продолжалась гражданская война. Непрерывные и беспорядочные боестолкновения, нападения и взрывы стали привычным делом жизни в Кандагаре. Особенно резко это кровавое безумие проявлялось именно здесь, на юге, у границы с Пакистаном, тем более что государственная граница фактически не контролировалась.

Несколько не связанных между собой армий и этнических групп воевали друг с другом, временами объединяясь и снова становясь врагами с молниеносной быстротой — никто никого не щадил. Но еще страшней и безжалостней были маленькие вооруженные отряды, которые воевали неизвестно на чьей стороне и неизвестно с кем.

В качестве средств передвижения эти отряды использовали брошенные русскими «УАЗы» и пригнанные из Пакистана пикапы марки «Форд» и зачастую, нападая на мирное население, грабили, убивали и насиловали. Они выбирали удобное для нападения время, когда все мужчины той или иной деревни отсутствовали и женщины, старики и дети оставались одни. Нападавшие всегда были вдрызг пьяными или под сильным «кайфом» и совершали ужасные вещи. Эти отряды бродяг, мародеров и убийц тоже называли себя моджахедами...

На территории, граничащей с Гильмендом и Кандагаром, особенно дурную славу приобрел отряд некоего Ахмед-хана Бавали. Его группировка была хорошо

вооружена и насчитывала почти двести человек. Завладев ввезенным из Пакистана американским оружием, они наводили страх на жителей ближайших кишлаков. У Ахмед-хана Бавали имелись большие связи среди пакистанских пуштунов, и, почуяв малейшую опасность, он вместе со своим отрядом без проблем пересекал границу. Ахмед-хан Бавали называл себя воином ислама и «жертвующим собой во имя Аллаха», но на самом деле беспробудно пьянствовал и постоянно нарушал покой мирных дехкан. На его совести было немало страшных злодеяний. В один из таких несчастливых дней его отряд совершил очередное нападение на кишлак, полностью разграбив и спалив его дотла, вдобавок похитив четырех подростков лет пятнадцати — двух девочек и двух мальчиков. Через несколько дней родители и родственники нашли своих детей уже мертвыми: все четверо были изнасилованы, а потом расстреляны. Над умершими подростками совершили погребальные обряды и предали их тела земле. После этого жители кишлака отправились в Муса-Калу к мулле Омару за советом и помощью.

Мулла Омар сидел окруженный учениками. Он молча выслушал скорбный рассказ дехкан, которые, не переставая, плакали, грозились расправой и требовали высшей справедливости и исполнения воли Аллаха.

Мулла долго не говорил ни слова, потом послал самого младшего из учеников к Абделю Кадыру-Хаджи, велел передать, чтобы тот собрал людей и как можно скорее пришел в мечеть.

Абдель Кадыр-Хаджи вместе с десятком соратников явился во двор мечети. По дороге ученик муллы объяснил ему, что произошло и зачем его позвали.

Как всегда в такие серьезные моменты, мулла Омар сидел молча, опустив голову. Абдель Кадыр-Хаджи со своими бойцами присел неподалеку и стал ждать его решения. Скорбящие и около пятидесяти молодых учеников муллы тоже молча ждали.

— Воистину говорят, что все дела, не приближающие нас к Аллаху, отдаляют нас от Него и возвращаются к нам неотвратимым злом, — удрученно начал он свою речь, — никакое наказание не сможет искупить их вину за гнусные, бесчеловечные деяния, угодные лишь Шайтану. Не в наших силах воздать им по заслугам, потому как то, что они совершили, одурманенные и сбитые с пути Иблисом сыны Адама, больше похоже на дело рук демонов, порожденных адом. Мы не можем их наказать или заставить одуматься, исправиться. Воистину сказано: «Тот, кто верит в Аллаха, спасется. Тот, кто любит Закон Аллаха, не погибнет. Тот, кто воздержан в этом мире, завтра возрадуется»...

Мулла Омар вновь замолчал. Молчание длилось долго.

— И раз это леденящее кровь преступление, содеянное ими, вне пределов нашего восприятия и понимания, — продолжил мулла Омар, подняв голову, — мы можем сделать для этих несчастных людей лишь одно — как можно скорее отправить их к Аллаху, чтобы за свои поступки они предстали перед архангелами Микаилом и Джабраилом и суровым судом Божиим. Ибо наступил день, когда в этом мире они уже не посмеют возвышать голос в свое оправдание, а в загробном — Аллах сам определит им место...

Мулла Омар сам встал во главе десятка вооруженных автоматами старых бойцов и полусотни своих учеников, никогда прежде не державших в руках

оружия. Скорбящие дехкане, тоже с автоматами, повели отряд. В ту же ночь они нашли банду Ахмед-хана Бавали, разбившую лагерь в пустыне, — члены банды спокойно спали в своих палатках, — и всех перебили. Отец одного из изнасилованных и расстрелянных подростков своими руками перерезал глотку Ахмед-хану Бавали. В лагере находилось лишь около полусотни бойцов из всей группировки Бавали, остальные, по-видимому, разбрелись кто куда. Расправившись с теми пятьюдесятью, мулла Омар и его люди сразу стали искать оставшихся и в итоге всех уничтожили. Во время боевого рейда никто из людей муллы не погиб и даже не был ранен. Измученное постоянным беспределом и кровопролитием население увидело в этом знак свыше, проявление воли Аллаха, ведь иначе было бы невозможно объяснить, как мулла Омар с десятью бойцами и полусотней совсем молодых парней сумел без каких-либо потерь справиться с вооруженными до зубов, закаленными в десятилетней борьбе солдатами и отрядами бесчинствовавших на дорогах разбойников. Мулла установил суровый порядок на захваченной им территории и утвердил шариат как единственную основу законодательства. А когда он вместе со своими учениками и старым боевым отрядом, превратившимся к тому времени в довольно мощную военную силу, уничтожил армию грозного и знаменитого Гульбедин Хекматияра, — сам Хекматияр едва унес ноги, перебравшись в Иран, — народ признал его спасителем и имамом.

Так возникло в Афганистане движение, основанное муллой Омаром, его учениками и студентами, — движение, которое скоро стало известно всему миру под названием «Талибан».

За короткое время талибы захватили власть во всем Южном Афганистане и двинулись на север. Несмотря на сопротивление сил Северного альянса, летом 1996 года они так же быстро овладели столицей — Кабулом.

Старые союзники и вместе с тем старые враги Абдул-Рашид Дустум и Ахмад Шах Масуд вошли в Северный альянс — теперь уже против талибов. Сначала они не воспринимали всерьез вооруженные выступления студентов медресе где-то на юге около границы с Пакистаном; множество повстанческих отрядов возникали и исчезали в Афганистане каждый день. Только после того как молодые, бескомпромиссные и фанатично преданные догматам ислама, ультраортодоксальные студенты-талибы — с Кораном в одной руке, с «Калашниковым» в другой и с непреодолимым желанием умереть на пути Аллаха — подступили к окрестностям Кабула, матерые волки, бойцы Северного альянса, поняли, что дела обстоят по-настоящему плохо. Молодые талибы слишком торопились, не давая ни себе, ни врагу возможности отдышаться и подумать. Еще до того как лидеры альянса успели все осмыслить и решить, как действовать дальше, они уже захватили столицу. Генерал Абдул-Рашид Дустум и полевой командир Ахмад Шах Масуд были вынуждены вновь укрепиться в своих ханствах — Мазар-и-Шарифе и Панджшере.

Самым ужасным и разрушительным для страны в течение всего периода кровавой гражданской войны в Афганистане было то, что там каждый воевал с каждым. Талибы, в свою очередь, объявили войну всем воюющим сторонам. «Мы не боимся ничего и никого, кроме Аллаха», — заявили они, подтверждая свои слова действиями.

Абдель Кадыр-Хаджи всей душой примкнул к новому движению, надеясь, что если они победят, в Афганистане раз и навсегда прекратится эта проклятая

война, воцарятся мир и порядок. Он полностью доверял мулле Омару, не сомневаясь в его честности и бескорыстии. Зато уже с недоверием относился ко всем полевым командирам, которых не раз видел в деле, убедившись, что они в любой момент, не колеблясь, готовы обречь и без того истерзанную страну на вражду и новую волну кровопролития ради собственной выгоды и сохранения власти. Поэтому Абдель Кадыр-Хаджи воевал против них с особой самоотверженностью.

Мулла Омар отличался от других командиров и тем, что почти никогда и никому не показывался на глаза, не позировал перед телевизионными камерами и управлял большей частью Афганистана, не выходя из своей мечети. В завоеванный накануне Кабул он приехал только один раз, да и то совсем ненадолго. Но, главное, среди всего этого беспорядочного водоворота событий мулла Омар находил время заниматься с учениками и заботиться о них.

Захватив Кабул, талибы провозгласили в стране Исламский Эмират Афганистан, основой законодательства которого стал шариат. Талибы совершили несколько жестоких нападений на хазарейцев-шиитов, а их лидера Абдула Али Мазари выбросили из вертолета, что вызвало большое негодование со стороны шиитского Ирана. В афганской провинции Бамиан, в центральной части Афганистана, несмотря на протест и возмущение буддистов и всего мирового сообщества, они огнем танковых орудий и с помощью динамита полностью уничтожили высеченные в скале две грандиозные древние статуи Будды — уникальный памятник культуры, — считая их символами идолопоклонства.

Талибы запретили телевидение, кинематографию, живопись, музыкальные инструменты, интернет, шахматы и белую обувь. Женщины не имели права выходить на улицу без сопровождения мужа или ближайшего родственника мужского пола, получать образование и принимать участие в общественной жизни. Хотя, несмотря на все это, большая часть истерзанного и обессиленного от многолетнего хаоса и массовых убийств населения поддерживала талибов.

Первое разочарование от талибского движения ждало Абделя Кадыра-Хаджи 27 сентября 1996 года, когда они, ворвавшись в штаб-квартиру миссии ООН, схватили бывшего президента Мохаммада Наджибуллу. Наджибулла находился там уже в течение четырех лет со дня своего свержения — с 16-го апреля 1992 года, больше не вмешиваясь в политические дела страны и не выходя из здания штаб-квартиры; поэтому никому не приходило в голову арестовывать или убивать его. Но талибы подвергли Наджибуллу жестоким пыткам, а убив, вывесили труп на воротах. Руководивший этой операцией Нур Хакмал сказал: «Мы его убили, потому что он был убийцей нашего народа»...

Абделя Кадыра-Хаджи возмутило больше всего то, что в этом убийстве принимали участие иностранцы — выходцы из Пакистана. Тогда он впервые серьезно задумался о происходящем. Абдель Кадыр-Хаджи понял, что в большинстве случаев афганские войны — как против завоевателей, так и внутри страны — разжигали внешние силы, что самые известные и влиятельные афганские полевые командиры были лишь шахматными фигурами на шахматной доске. Всем руководила чья-то невидимая рука извне, и она не принадлежала Аллаху. Бог не мог быть таким жестоким и беспощадным. Скорее, это был Иблис.

Абделя Кадыра-Хаджи стали одолевать сомнения. Он хотел увидеться с муллой Омаром и даже отправился к нему домой, но тот был занят, а самому Абделю Кадыру-Хаджи пришлось быстро уйти. У него было ощущение, что мулла избегал встречи с ним.

В это время в Афганистане появилась «Аль-Каида» и ее знаменитый лидер Усама Бен Ладен. Это вызвало у Абделя Кадыра-Хаджи еще большее недоумение. Было очевидно, что война в Афганистане не прекратится, пока у зарубежных стран не исчезнет интерес к его родной земле.

В 1998 году «Аль-Каида» взорвала посольства США в Кении и Танзании. Усаму Бен Ладена объявили в международный розыск. 9 марта 2001 года руки талибов дотянулись и до закрепленного в своем Панджшере Ахмада Шаха Масуда, его взорвали с помощью съемочной камеры. Говорили, что Усама Бен Ладен был тоже причастен к этому: Ахмад Шах Масуд планировал против него военную операцию, а тот опередил его. Через два дня после убийства Ахмада Шаха Масуда, 11 сентября 2001 года, террористы-самоубийцы, люди Бен Ладена, совершили нападение на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что принесло огромные жертвы и разрушения и повергло весь мир в шоковое состояние. 28 сентября 2001 года Вашингтон потребовал от талибов и муллы Омара выдачи Усамы Бен Ладена. Мулла отказался выдать его, мотивируя свой отказ тем, что Америка не обладает достаточными доказательствами прямого или косвенного участия Бен Ладена в террористическом акте, и потребовал более достоверной информации. Соединенные Штаты Америки очень скоро выслали ему самые неопровержимые и точные доказательства — свою армию вместе с союзными войсками НАТО, и в Афганистане вновь распахнулись врата ада. Усаму Бен Ладена убили, Гульбеддин Хекматияр прочно обосновался в Иране, а мулла Омар бесследно исчез, как Гарун-аль-Рашид, — в последний раз его видели ехавшим на грузовике в направлении Пакистана.

Прошло тридцать три года после ввода советских войск в Афганистан и одиннадцать лет — после прихода американцев. Одурманенный опиумом Абдель Кадыр-Хаджи сидел на ржавом банном тазе перед своим домом в Муса-Кале. Он уже ни к чему не стремился. Хотя ему все же было над чем задуматься: две недели назад здесь, в Муса-Кале, убили американского солдата. Расстреляли.

За несколько дней до этого к Абделю Кадыру-Хаджи пришел Манан Агахал, вернувшийся из Афганистана живым, но без одного глаза. Манан Агахал ни за что не хотел рассказывать, где и как потерял глаз и кто его изуродовал — друг или враг... Он пришел после утренней молитвы и принес дурное известие. Поразмыслив, они решили, что не смогут одни уладить это дело, так как оно касалось безопасности всего кишлака. В тот же вечер Абдель Кадыр-Хаджи и Манан Агахал созвали относительно молодых, но уже опытных и бывалых бойцов из Муса-Калы и с ее окрестностей — Мохаммеда Ису, Абдула Рахмана, Абдула Кахара, Абделя Сираджа, Хусейна Абдула Рахима и Абдула Вали.

Плохой новостью оказалось то, что у Мохаммада Хасана, торговавшего гашишем, — его не особо любили в Муса-Кале — появились общие дела с американским солдатом. Манан Агахал сам видел своим единственным глазом, как он, озираясь по сторонам, входил в дом вместе с американцем.

Жители кишлака смотрели на Мохаммада Хасана косо, но не потому, что он торговал гашишем. Весь Афганистан занимался продажей гашиша и героина, и свадьбы тоже справляли на доходы от проданного мака, который был здесь фактически единственной конвертируемой валютой — особенно для тех, кто не сотрудничал с американцами.

Американцы патрулировали Муса-Калу, поэтому увидеть их на улице было

совсем не удивительно. Но дело здесь было не в этом. При обычном патрулировании невозможно заметить и половину из того, что происходит, а пригласив врага в свой дом, ты даешь ему возможность за каких-то полчаса вывести в десять раз больше, чем за все время патрулирования и рейда.

Кроме того, согласно «пуштунвали» — пуштунскому кодексу чести — пуштун обязан защищать жизнь, безопасность и достоинство каждого, переступившего порог его дома — будь то друг или враг; и если с гостем что-нибудь случится, хозяин никогда не сможет восстановить свое доброе имя, а потомки — смыть следы позора.

Абделя Кадыра-Хаджи и его людей не заботили честь или позор Мохаммада Хасана, но его поведение было для них неприемлемым: если бы все пуштуны принимали в своих домах врагов, как гостей, последние не считались бы врагами, тем более было бы недопустимо воевать с ними. К тому же бесцеремонное передвижение американского солдата по кишлаку и его окрестностям создавало опасность для всей Муса-Калы и ее жителей. Кто мог поручиться, что покупая у Мохаммада Хасана гашиш, он не получал от него еще и тайную информацию? Была и вероятность того, что Мохаммад Хасан выдал ему местонахождение секретного склада оружия или опиума или объяснил, как пробраться к замаскированному входу в подземный тоннель, ведущий в затаенное темное ущелье Дар-эс-Марид, в котором даже джинн Абу Сирхан не сумел бы никого найти. Этот тоннель имел жизненно важное значение. Он не раз спасал мирное население Муса-Калы еще во время войны с советскими войсками, был также идеальной базой и надежным убежищем для партизанских отрядов. За целый период прошедших войн и уже многолетнего пребывания здесь американцев вместе с контингентом НАТО никто и никогда даже не догадывался о существовании подземного хода, а теперь из-за этого болвана Мохаммада Хасана и его друга-американца все могло пойти прахом.

— Они оба должны умереть! — сказал Манан Агахал.

— Иншаллах! И враг, и предатель заслуживают лишь смерти! — Молодые бойцы вскочили на ноги.

Абдель Кадыр-Хаджи посмотрел на них усталыми, затуманенными глазами и повернулся к Янусу Ага-Хаджи:

— Что думаешь?

Мохаммад Янус Ага-Хаджи качнул головой:

— Нехорошее это дело...

— Приведите его сюда! — сказал Абдель Кадыр-Хаджи.

Мохаммада Хасана немедленно привели. Несчастный испуганно тарашил глаза, предчувствуя недоброе.

— Ас-саляму-aleyкум, да хранит вас Аллах, уважаемые и достойнейшие моджахеды! — он попытался улыбнуться, — чем могу служить, Абдель Кадыр-Хаджи, чем могу быть полезен?

— Говорят, ты ведешь свои торговые дела с иноверцем и уже не раз со всем радушием принимал нашего заклятого врага в своем доме? Правда ли это?.. — грубо прервал его Абдель Кадыр-Хаджи.

Мохаммад Хасан опустил голову, губы у него задрожали.

— Отвечай! — приказал Абдель Кадыр-Хаджи.

— Скажи что-нибудь, — тихо добавил и Янус Ага-Хаджи.

— Нет, не правда... — упавшим голосом проговорил Мохаммад Хасан, не поднимая головы.

Манан Агахал сверкнул на него единственным глазом и злобно усмехнулся.

— Не правда?! — крикнул Абдель Кадыр-Хаджи. — Выходит, это ложь?!

Абдул Кахар внезапно вскочил и грубо схватил Мохаммада Хасана за волосы.

— Отпусти его! — сурово прикрикнул Абдель Кадыр-Хаджи. — Отойди!

И снова повернулся к Мохаммаду Хасану:

— Я еще раз спрашиваю — правда ли, что ты привел врага в родной кишлак, в наш дом?

Мохаммад Хасан застыл на месте, не в силах произнести ни слова.

Абдель Кадыр-Хаджи смотрел на него налившимися кровью глазами.

— Убереги меня Аллах и не дай оказаться в рядах лжецов, глупцов и нерадивых, — сказал он немного погодя. — Ты ведь вечно торчишь у дверей мечети, стараясь быть у всех на виду. Но, по-видимому, не слушаешь читаемые там проповеди? Или может слушаешь, а смысл до тебя не доходит?.. Разве ты не знаешь, что сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение: «Будь праведным, избегай лжи, а также не будь двуличным и не поступай вероломно, берегись скупости»?.. Когда твой друг, американский солдат, снова придет к тебе домой, чтобы развеять мысли и избавиться от сердечной тоски с помощью гашиша, немедленно дай об этом знать мне или любому из присутствующих здесь. Если ослушаешься — пощады не жди, я придумаю тебе самое изощренное наказание — иншаллах! — и ты умрешь страшной смертью. А теперь уходи.

Мохаммад Хасан неопределенно качнул головой и поплелся прочь.

— Как мы поступим, если американец попадетс нам в руки? — спросил Манан Агахал, когда он скрылся из виду.

— Как поступим? Отправим его прямиком в ад. — ответил Мохаммед Иса.

Бойцы, ровесники Исы, одобрительно кивнули.

— Нет, будет неправильно, если мы убьем его здесь, в пределах Муса-Калы. Они сожгут весь кишлак. Вы еще молоды и не помните. Американцы уже не раз бомбили наши дома, — сказал Мохаммад Янус Ага-Хаджи.

— Как мы будем действовать дальше — покажет время. А до тех пор вверим наши дела и намерения Аллаху... — добавил Абдель Кадыр-Хаджи.

Через пять дней после этой встречи Мохаммад Хасан увидел идущего по проселку Абдула Рахмана и дрожащей рукой подал ему знак, что американский солдат находится у него, и тут же вбежал в дом, как будто ища там спасения и защиты.

Абдул Рахман с отвращением сплюнул и помчался к одноглазому Манану Агахалу, который жил по соседству с Мохаммадом Хасаном. За его домом начинался потайной тоннель, ведущий в то самое загадочное ущелье Дар-эс-Марид.

В темной, пропитанной дымом комнате светилась одна большая красная «точка». Когда моджахеды вошли в дом, американский солдат сидел на покрытом пестрым ковром диване и курил, на коленях у него лежал автомат. Мохаммад Хасан, съевшись, сидел неподалеку, в углу. Американец сначала растерялся, не сразу сообразив, что происходит, потом в отчаянии схватился за свой автомат, но было слишком поздно. Автомат у него отняли и прислонили к дверному косяку. Тогда солдат одним резким движением с треском расстегнул бронежилет и, сорвав каску с мокрых от пота волос, с грохотом бросил ее на стоявший рядом низенький стол. Он добровольно снял кобуру с итальянским пистолетом

системы «Беретта» и положил рядом с каской, но Абдель Сирадж и Абдул Вали все равно обыскали американца.

Абдель Кадыр-Хаджи взял «Беретту» и, повертев ее в руках, положил обратно на стол.

— Спросите его, кто он, из какого батальона и где находится их база, — велел он Абдулу Кахару и Абделю Сираджу, которые, как они сами утверждали, немного знали английский...

Which military base are you from? What is your division name? — спросил американского солдата Абдель Сирадж.

Тот внимательно и напряженно поглядел на него, стараясь разобрать слова.

— What are you doing here? What do you want? What are you looking for? — спросил теперь уже Абдул Кахар.

Американец смотрел то на одного, то на другого, тщетно пытаясь понять, что ему говорят.

— Гашиш? — спросил Абдель Сирадж.

— Hashish! — хриплым голосом подтвердил американец, выдавив из себя подобие улыбки.

— Гашиш... Этот твой гашиш тебя и погубит! — недовольно процедил Абдул Кахар.

Абдель Кадыр-Хаджи бросил на него недовольный взгляд.

— Много болтаешь! Было бы лучше, если б вы действительно знали то, о чем твердите. Он не понял ни слова из сказанного вами!

— Батальон? — повернулся он к солдату, сделав рукой вопросительный жест.

— Battalion! — повторил за ним американец и ударил себя по плечу.

Хусейн Абдул Рахим посветил зажигалкой. На военной форме был вышит красно-белый герб с изображением двух скрещенных копий и цифры «41».

— База! — сказал солдат и указал рукой в направлении американской базы, расположенной всего в нескольких километрах от Муса-Калы; она была хорошо видна отсюда. — Гашиш! — добавил он, покосившись в сторону Мохаммада Хасана. Мохаммад Хасан, казалось, был напуган еще больше, чем американец.

— Слушай меня внимательно, — сказал ему Абдель Кадыр-Хаджи, — не пропускай ни слова, не то, клянусь самой страшной клятвой перед всеми, кто находится здесь, что отрежу тебе голову. Ты вовлек нас в эту передрыгу, из-за твоего необдуманного поведения и жадности мы оказались в большой опасности. Пойдешь на базу и скажешь американцам, что у нас в плену их солдат. Сейчас утро. Пусть они до полуночи и ни минутой позже передадут нам через тебя сто тысяч долларов. В противном случае ровно в полночь мы пошлем им голову американца. Деньги будут уже не нужны. Это единственный правильный выход, — продолжал Абдель Кадыр-Хаджи, обращаясь к своим людям, — нельзя убивать американца здесь, в нашем доме, лучше взять за него деньги и использовать их для дела. Тем более что в последнее время нам приходится нелегко. Американцы никогда не бросают своих и обязательно заплатят, они не пожалеют ста тысяч долларов, чтобы выволить своего солдата. Наш пленный действительно приходил в эту берлогу только за гашишем и, скорей всего, ничего не разведал, иначе они давно бы уже напали на кишлак, — Абдель Кадыр-Хаджи кивком указал в сторону Мохаммада Хасана, даже не взглянув на него. — Вдобавок побывавшего в плену солдата не оставят на базе, его срочно отошлют, и уже ничто не будет угрожать нашей безопасности!.. А если убьем американца,

они нам этого не простят, погибнут наши люди и много богоугодных дел останутся незавершенными.

— Так и поступим. Бог наделил человека разумом, чтобы тот использовал его для благих дел, — спокойно произнес Янус Ага-Хаджи. Молодые, рвущиеся в бой моджахеды с недовольным видом опустили глаза, но ничего не сказали.

— Ты еще здесь?! — Абдель Кадыр-Хаджи повернулся к Мохаммаду Хасану, так и не сдвинувшемуся с места. — Иди, выполняй задание!

Мохаммад Хасан с искаженным от страха лицом уцепился за край жилета Абделя Кадыр-Хаджи:

— Нет, не пойду, сжался!.. Прошу тебя именем Аллаха, не обрекай меня на смерть! Не все такие бесстрашные, как ты... Нечестивые американцы убьют меня!..

Он весь дрожал и уже готов был зарыдать, но его жалкий вид привел Абделя Кадыра-Хаджи в еще большую ярость.

— Пошел прочь!.. С каких пор американцы стали для тебя «нечестивыми»? Ты хуже самого последнего из нечестивцев. Лжец, лицемер и предатель! Ты сперва предал нас, а потом, струсив, — еще и своего гостя! Убьют — и правильно сделают... И никто не будет сожалеть о тебе, грош цена твоей жизни! Ты — не пуштун! Убирайся!

Разъяренный Абдель Кадыр-Хаджи схватился за прислоненный к двери автомат американца. Его люди бросились к нему, перехватив ствол.

Мохаммад Хасан успел выскочить за дверь.

— Абдул Кахар, возьми карабин и проследи за ним. Не своди с него глаз, пока не дойдет до базы американцев. Если свернет не туда, куда надо, не жалея пуль, пристрели его, как бешеную собаку!

Американец пристально наблюдал за происходящим, не понимая ни слова, но догадываясь, о чем идет речь: было видно, что у хозяина дома дела плохи. Солдат ни разу не пошевелился с того момента, как его взяли в плен. Сидел и криво улыбался. Его солдатская форма пропиталась потом, влажные волосы прилипли ко лбу, а пальцы заметно дрожали, но он старался скрыть внутреннее напряжение и держаться достойно. Абдель Кадыр-Хаджи, все еще тяжело дыша, вынул из кармана пачку «Dunhill». Пленный поймал его взгляд и, немного поколебавшись, жестом попросил закурить. Тот, косо взглянув на американца, вытащил из пачки одну сигарету и протянул ему. Заметив, что ногти у мусульманина окрашены, американец нахмурился, но сигарету взял и кивнул в знак благодарности.

Вернулся Абдул Кахар с карабином, — свой «Калашников» он оставил здесь, когда уходил.

— Мохаммад Хасан дошел до американской базы и, поговорив немного с охранником у ворот, зашел вместе с ним на территорию. А я повернул обратно, — доложил он.

— Ну что ж... Теперь нам остается лишь положиться на волю Аллаха и следовать ей, — сказал Янус Ага-Хаджи и провел обеими руками по бороде. Остальные последовали его примеру. Абдель Кадыр-Хаджи молчал сидел у двери, продолжая глядеть на восток, туда, где оголенные бурые вершины гор встречают высокое синее небо.

С того момента как Мохаммад Хасан зашел в ворота военной базы, прошло около часа.

Еще через полчаса над кишлаком закружили вертолеты. С территории базы

выехали американские бронемашины, тяжелый гул нарастал и становился ближе с каждой минутой.

— Скорее! — тихо сказал Абдель Кадыр-Хаджи, стремительно отделившись от двери. — Скорее! — повторил он, взял «Беретту» со стола и жестом заставил американца двинуться вперед.

Абдель Сирадж схватил прислоненный к двери американский автомат. Они выбежали на улицу, не успев согласовать свои действия, — но все как один помчались по узкой проселочной дороге, — по которой вряд ли прошел бы даже навьюченный ишак — к спасительному тоннелю.

Вскоре моджахеды были у заваленными каменными глыбами тоннеля. Лихорадочно растаскивая камни, они расчистили себе проход и, согнувшись, протиснулись внутрь. Хусейн Абдул Рахим шел впереди, время от времени шелкая зажигалкой, за ним следовал американский солдат. Хусейн Абдул Рахим слышал его учащенное дыхание. Вплотную за американцем шагал Абдель Кадыр-Хаджи. Янус Ага-Хаджи и одноглазый Манан Агахал остались позади, чтобы перекрыть вход. Хотя любому чужаку было бы трудно найти не только этот тоннель, но и почти незаметную тропу, тем более что американцы редко вылезали из своих бронемашин, а если бы и отошли от них — то не дальше, чем на десять шагов. Но теперь все было намного сложнее, риск был слишком велик.

«Я допустил ошибку! Мне не следовало посылать туда этого муртада!.. Этого кафира!.. Даже мы не смогли ничего понять из его невразумительного бормотания. Кто знает, что он наговорил американцам... Из-за меня все погибло, — думал Абдель Кадыр-Хаджи, не сводя дула «Беретты» со спины американца, — я как глупое, наивное дитя... Разве можно ждать добра от мерзавца? Из камня воды не выжать... Надо было сразу его прикончить, как шакала! Молодые моджахеды правы: и враг, и предатель заслуживают смерти. Врага еще можно простить, но предателя — никогда!..»

В конце подземного тоннеля забрезжил свет.

«Аллах, помоги нам! Спаси нас!» — громко вырвалось у Мохаммада Януса Ага-Хаджи.

Выскочившие из тоннеля моджахеды вместе с пленным стали спускаться вниз, в овраг, сопровождаемые шумом камней, сыплющихся из-под ног. Последним вышел на дневной свет Мохаммад Янус Ага-Хаджи и тихо свистнул.

— Стойте! Давайте немного передохнем и подумаем, что делать дальше, — сказал он, тяжело дыша.

Они присели прямо на землю, пот катился с них градом. Пленный тоже пытался отдышаться, сидя перед Абделем Кадыром-Хаджи..

За считанные минуты наполнившаяся американскими бронемашинами Муса-Кала осталась позади. Их рев был здесь совсем не слышен, звуки ущелья заглушали его, зато эхо усиливало протяжный гул вертолетов.

— Отпускать его теперь действительно нельзя, — тихо сказал Мохаммад Янус Ага-Хаджи.

Абдель Кадыр-Хаджи молча кивнул, глядя на взлохмаченные мокрые волосы сидевшего перед ним американца, на его почти незаметно вздрагивающие плечи.

Обессилевшие от долгого бега моджахеды и их пленный сидели рядом у края пропасти, от усталости их тела подрагивали в такт, как одно.

Абдель Кадыр-Хаджи ощутил, как похолодела спина и пересохло во рту.

— Да. Но вы не трогайте, я сам это сделаю, — сказал он каким-то незнакомым, хриплым голосом. Собственные слова доносились до него как-будто откуда-то издалека...

Мохаммад Янус Ага-Хаджи неопределенно пожал плечами и что-то шепнул ему на ухо.

— Ладно, как хочешь, — ответил он почти так же тихо, — ты сам решай.

Некоторое время они еще сидели и отдыхали.

— Все, поднимаемся, пора в дорогу. Нужно найти убежище до наступления ночи.

Моджахеды пустились в путь по узкой тропинке, шли гуськом. Абдель Кадыр-Хаджи снова шел за американским солдатом. Ему не хотелось стрелять. Время по крупинкам ускользало, и с каждой минутой становилось все тяжелее... Было уже пора сделать это...

Абдель Кадыр-Хаджи завел автомат за спину и бесшумно перезарядил его. Шедший за ним моджахед невольно остановился, поняв, что происходит.

Американец все равно расслышал звук и повернул голову... В тот же миг раздался выстрел. Пуля попала ему чуть выше левого уха. Даже не успев замедлить шаг, он рухнул ничком. Левая рука американца при падении оказалась придавлена телом.

— Переверните его и положите как следует, — сказал Абдель Кадыр-Хаджи. — Он перестал быть врагом. Сын Адама теперь предстал перед Высшим судом и воздастся ему по делам его. В этом мире он уже никому ничего не должен.

Тело солдата перевернули и положили на спину, поправив ему руку. На военной форме, под красно-белым гербом с изображением двух скрещенных копий и цифрой «41», оказались еще вышитые красные кресты. До сих пор моджахеды их не замечали. Абдель Кадыр-Хаджи вместе с другими внимательно стал приглядываться к изображениям одного большого и четырех маленьких крестов.

— Американцы — они что, евреи? — поинтересовался Мохаммед Иса, самый младший из моджахедов, таким когда-то был и Абдель Кадыр-Хаджи, — когда пошел воевать с русскими.

— В Америке живут люди разной веры. Наверное, этот был христианином, — ответил Мохаммад Янус Ага-Хаджи. — После захода солнца, как только стемнеет, мы должны вынести тело из ущелья и положить у дороги, по которой ездят американцы, чтобы они забрали его и похоронили по своим обычаям...

— Может, его заминировать? — спросил Абдул Рахман.

— Чем? У нас ничего, даже ручных гранат нет!

— У меня есть, я захватил с собой две гранаты, — отозвался Абдул Вали.

— Нет, так не годится. Покойного надо предать земле. Таков обычай. Мы и так уже нарушили его из-за этого безбожника Мохаммада Хасана — убили человека, пришедшего в гости в наш кишлак к нашему собрату. И потом, кто знает, что сейчас творится в Муса-Кале. Лишний шум нам не нужен, — сказал Мохаммад Янус Ага-Хаджи.

— И что ему не сиделось в своем Афганистане, кто его сюда звал? Оставался бы там... Так нет, они приходят и врываются в наши дома!.. — Мохаммед Иса все еще сидел на корточках возле убитого солдата, с детским любопытством разглядывая его лицо и изображенные на форме кресты.

— Его Афганистан называется Америкой, парень...

Наивность Мохаммеда Исы всех рассмешила.

— Да все равно. У каждого свой «Афганистан», о котором он обязан заботиться. Пусть все остаются в собственном «Афганистане» и перестанут бомбить чужой, тогда с ними ничего не случится.

— Хватит болтать, парень! Ты еще очень молод, многого не знаешь, не понимаешь, а все равно позволяешь себе так громко и много говорить в присутствии старших. Ты ведешь себя недостойно, — Абдель Кадыр-Хаджи хлопнул его по плечу. Сейчас не время для отдыха и болтовни, надо еще о многом позаботиться. Разделимся на две группы: одна пойдет искать безопасное место для ночлега, другая отнесет тело убитого к дороге. Нужно спешить, скоро совсем стемнеет.

На третий день они послали самого младшего, Мохаммеда Ису, за новостями, велев ему оставить свое оружие здесь и, незаметно пробравшись в кишлак, выяснить, что там происходит. Если американские военные все еще находились в Муса-Кале, он должен был так же незаметно вернуться обратно, если же они ушли — остаться в кишлаке, — это означало бы, что все спокойно. Мохаммеду Исе доверяли, несмотря на молодость: он с детства участвовал в боевых операциях, был надежным и отважным парнем. Мохаммед Иса не вернулся. Тогда в Муса-Калу пошел Янус Ага-Хаджи, потом — Манан Агахал вместе с Хусейном Абдулом Рахимом, а вслед за ними — то по одному, то по двое — и остальные. Ни один из них не вернулся. Последним в путь отправился Абдель Кадыр-Хаджи. Когда он вошел в деревню, была уже глубокая ночь. Он старался быть предельно осторожным, предполагая, что моджахеды, которые пришли сюда до него, оказались в ловушке и не смогли поэтому вернуться назад. К его большому удивлению, все как будто шло по плану...

Войдя в кишлак, американцы находились там весь день, всю ночь, а также весь следующий день. Они арестовали пятерых жителей кишлака, один из них служил в «ANP» — афганской полиции Ахмеда Карзая, а тело своего солдата нашли на другое же утро и перевезли на базу. И небо сразу наполнилось военными вертолетами, жужжавшими, по словам жителей Муса-Калы, как осы.

Прошло две недели.

На американской базе не наблюдалось никакого движения. Словно ничего и не было. Американцы даже не провели обычного патрулирования в Муса-Кале. Как правило, они делали это по утрам. Абдель Кадыр-Хаджи ждал их появления каждый день. Иногда прилетал и улетал вертолет, но больше ничего не происходило. Как раз эта странная тишина — бездействие — и беспокоила больше всего, он предпочел бы, чтобы шла открытая борьба со взрывами и выстрелами. Какая-то неясная тревога сжимала его сердце. И все чаще вспоминался убитый им в молодости русский прапорщик...

Солнце клонилось к западу, казалось, вершины скалистых гор объаты огнем. Абдель Кадыр-Хаджи сидел на перевернутом ржавом тазе. Он вытащил из кармана еще одну сигарету и закурил.

Неожиданно в метрах двадцати, сверху, из-за поворота с ревом выскочил американский пикап «Ford» и, поднимая пыль столбом, помчался вниз. До того как желтая пыль запорошила лицо изумленного Абделя Кадыра-Хаджи, он успел заметить взъерошенную бороду и выпученные глаза Абделя Сираджа, сидевшего за рулем.

На ходу смахивая пыль с лица и протирая глаза, он вбежал в дом, схватил

автомат и выбежал на улицу, где все еще густо клубилась пыль и невозможно было что-либо разглядеть даже на расстоянии двух шагов. На зубах у него скрипел песок. Неожиданно Абдель Кадыр-Хаджи увидел сбегающего по склону Манана Агахала.

— Что происходит? Кто они?.. Американцы никогда в такое время не появляются, тем более без вертолетов, — прокричал Манан Агахал, мельком взглянув на небо.

Абдель Кадыр-Хаджи молча последовал за ним. Хусейн Абдул Рахим и Абдул Кахар тоже выбежали из своих домов.

— Эй, что случилось?! — весело крикнул Абдул Кахар, и в это время прозвучал первый выстрел. Потом сильно загрохотало и взвился огромный огненный столб. «Ford» вместе с Абделем Сираджем взлетел в воздух и, перевернувшись, упал на землю. Желтая пыль перемешалась с черным дымом. Пикап, разорванный пополам гранатой, оказался повернут капотом в сторону моджахедов. Абдель Сирадж и Саид Файсал горели в кабине, Мохаммеда Ису придавило кузовом, а Абдула Вали далеко отбросило взрывной волной. Моджахеды приблизились к машине, но, заметив, что из горящего бака вытекает бензин, отбежали назад и, укрывшись за стоящими по обе стороны дороги домами, начали стрельбу. Воздух прорезали очереди «Калашникова». Вскоре звук взрыва потряс все вокруг. Сквозь взметнувшиеся облака пыли и дыма, будто с неба, падали охваченные огнем части машины и людских тел...

Взрыв пикапа лишь на доли секунды замедлил движение бронемшины. Еще яростнее взревев двигателем и переехав валяющиеся на дороге искореженные куски металла, «MRAP» ринулся на засевших вдоль обочины афганцев.

Моджахеды быстро сменили магазины в своих автоматах.

— Аллах Акбар! — издал Абдель Кадыр-Хаджи отчаянный боевой клич.

«MRAP», развернув башню, в упор расстрелял Хусейна Абдула Рахима и Абдула Кахара.

Манан Агахал и Абдель Кадыр-Хаджи побежали в сторону проселочной дороги и вышли задворками к дому Мохаммада Хасана. Оттуда было уже рукой подать до тоннеля ...

«Не надо было сюда возвращаться! Вероятно, они просто выжидали, выбирая удобное время, чтобы напасть... Может еще удастся уйти, американцы не погонятся за нами по горным тропам, — вряд ли они выйдут из своих бронетранспортеров. Вдобавок они не знают, куда идти...»

Внизу, по главной дороге, среди поднявшейся пыли, бешено, с шумом, не переставая стрелять, носился взад и вперед американский бронированный автомобиль.

«Они нас ищут» — подумал Абдель Кадыр-Хаджи.

— Не горюй, прорвемся! Американцы здесь не пройдут — дорога слишком узкая — им тогда придется бросить свои адские машины, — у Абделя Кадыра-Хаджи заложило уши, и голос Манана Агахала доносился до него словно издалека, — а если мы сможем уйти от них, то, клянусь Аллахом, я отомщу за наших погибших братьев, возьму столько тротила, сколько вешу сам, и уничтожу дотла всю их базу, все их змеиное гнездо!..

Смеркалось. Выстрелов уже не было слышно, но это не имело значения. «MRAP» все еще носился по дороге, очевидно, в поисках подходящего места для засады.

Они, не замеченные никем, дошли до дома Мохаммада Хасана. Отсюда до тоннеля было рукой подать.

Неожиданно Манан Агахал резко остановился, ударом ноги выбил дверь дома Мохаммада Хасана и, яростно плюнув внутрь желтой от песка и пыли слюной, продолжил свой бег.

Раздалась автоматная очередь. Оглянувшись, Абдель Кадыр-Хаджи увидел, как Манан Агахал упал в пыль, задергавшись в судорогах, а метрах в двадцати заметил быстро приближающегося американского автоматчика. Абдель Кадыр-Хаджи присел на одно колено и, разъяренный, выпустил в него чуть ли не весь магазин. Солдат исчез в пыли, а сам он, вскочив на ноги, снова побежал вверх по тропе.

Неожиданно Абделю Кадыру-Хаджи послышался незнакомая гортанная речь, — горловые и шипящие звуки странным образом сменяли друг друга:

«Аге, бичо! Аге шехедэ — сад гарбис эс чатлахи! Миди миушви дрозе, даачедэ миди! Эсроле, ар гаушва, магис дедас ше!..»¹

Абдель Кадыр-Хаджи повернулся вместе с автоматом, и в это время десятком одновременно выпущенных в него пуль ему разорвало левый бок — от пояса до плеча. У него потемнело в глазах. Он отчетливо почувствовал, как его тело пустило в себя десять маленьких и обжигающих, как угли, смертей...

Американский солдат встал над умирающим Мананом Агахалом, одновременно не сводя дула автомата с Абделя Кадыра-Хаджи. Манан Агахал перевернулся на спину, трясаясь в предсмертных судорогах и в последний раз глядя обоими — и здоровым, и выколотым — глазами в бескрайнее афганское небо, безучастное к тому, что происходит под его покровом.

Изрешеченный пулями, Абдель Кадыр-Хаджи сидел и чувствовал, что умирает. Жизнь покидала его. Он медленно откинулся на спину в придорожную пыль Муса-Калы — в родную пыль, неожиданно ставшую такой мягкой...

Он попытался вспомнить священную молитву, обязательную для мусульманина перед смертью, но разум не подчинялся ему. «О Аллах, помилуй меня... Аллах... помилуй...» — это было все, что он смог прошептать ...

Держа автомат наизготове, американский солдат осторожно приблизился к нему. Он не сводил глаз с умирающего афганца, который даже перед смертью крепко сжимал старый «Калашников» с облупившимся деревянным прикладом.

Абдель Кадыр-Хаджи отчетливо увидел, что у стоявшего над ним вражеского солдата на левом плече формы были изображены такие же кресты, как у убитого моджахедами американца. Красные кресты, один большой и четыре маленьких.

Он не успел удивиться. Ему вдруг послышались арабские нашиды — песнопения... и он понял, что война закончилась.

¹ Эй! Да вот же он! Смотри — бежит гнида! Давай стреляй! Пригвозди его, не дай уйти!.. мать его!.. (груз.)

Лера Массква

Из кухни доносился шум льющейся воды. Я смотрел телевизор. Его когда-то давно купил отец. На RTVI евреи настаивали, что «Жизнь прекрасна», и пели. Уже две недели подряд я проигрываю. Вчера просадил последние пять лари.

Все игры, кроме одной, были стопроцентными. В билете за сто пятьдесят лари — «Ювентус» не смог выиграть у «Эмполи» в Турине. Второй билет я подстраховал всеми возможными и невозможными вариантами: наиграл всего на пятьдесят два лари, и еще «Аякс» проиграл «Наимегену» (или кому-то там еще) в домашнем матче. Осталось пять лишних лари, я их тоже пустил в дело и проверил страховки билета: «Фиорентина» — «Дженоа» — 9, «Интер» — «Палермо» — 1, «Ювентус» — «Наполи» — 9, разве я мог полагаться на них после «Эмполи», эти продажные итальяшки опять торгуют матчами. А немцы — люди надежные, смотри-ка: «Лeverкузен» — «Нюрнберг» — 9, «Вердер» — «Вольфсбург» — 9, вот этим двум матчам определенно не избежать девятки... «Атлетико» — «Леванте» — 1. «Леванте» не выиграл ни одной игры и, по всему видно, не выиграет, если их не переведут в чемпионат Грузии. Затем: «Аякс» — «Тильбург» — 1 на сто процентов, «Андерлехт» — «Руселаре» — то же самое, «АЕК» — «Арис» и «Славия» — «Богемия» тоже.

Я вложил пять лари и выбил 99.65. Ничего особенного, конечно, но когда ты на нуле, 99 лари 65 тетри тоже деньги. В итоге в одной игре облажались... Подумать только, эти дисциплинированные, тупые немцы... «Вердер» Бремен... бременские музыканты, мать их, пусть играют так для своих отцов... «Вердер» — «Вольфсбург» избежал девятки, а ведь в случае двойки у «Вольфсбурга» намечался куш в пять и пять. Начали тормозить на пятидесятой минуте, 0:1. Уехали из Бремена с тремя очками, оставив одного грузинского парня ни с чем. Не было бы вообще никаких проблем, если б я не оказался этим парнем, облапошенным немцами и вынужденным довольствоваться еврейской «Хава нагилой» по телеку. «Жизнь прекрасна»? Не знаю, не знаю... для кого как... Хотя евреи, как всегда, правы, в любом случае, жизнь — крутая штука...

На кухне лилась вода... Лена... нет... Лера Массква пела «Вальс-бостон» Саши Розенбаума. Кто она, эта Лера Массква? Какая-то певица. А ведь она очень крутая и знаменитая, и вовсе не Лена и не Лера... позорюсь тут... и так проиграл. Эта «Массква» — тоже непонятно, фамилия или псевдоним... Только не говорите, что город, а то обматерю, как последнего футболиста... И даже не Москва, а Массква. Там так и было написано — Лера Массква, если я ошибся, ничего не поделаешь, пусть это будет единственная моя ошибка. Вон как я просчитывался на тотализаторе... Каждый раз в беспроигрышном варианте. Не везет мне... а я не люблю неудачников.

Лера Массква исполняла «Вальс-бостон». Она, конечно, из тех женщин, которые влюбляются с первого взгляда, с ними очень легко, потому что они очень умны. Легко отпускают. Потому что умные. И «Вальс-бостон» она пела легко, без натуги. Лере очень шла эта песня, но песне она сама — вряд ли. Песня смолкла. Лера Массква смущенно опустила голову. Нет, она вовсе не смутилась, но все-таки... Она была хорошей женщиной, спокойной и крутой... А Розенбаум поет «Вальс-бостон» куда мощнее, включишь магнитофон, и все...

Закончились сигареты, но мне лень было спускаться в магазин. Лера Массква находилась в Москве, я — в Тбилиси, на кухне лилась вода. Надо было только заставить себя встать, и тогда я закрыл бы кран, спустился бы вниз за

сigaretами и, может, даже смылся бы куда-нибудь этим теплым вечером, хоть и без денег, зато очень охотно. Тбилиси еще печется о своих оставшихся на мели сыновьях, и порой неплохо печется, Лера Массква. Тбилиси все еще Тбилиси и, хотя он уже исчезает, его пока еще видно. Выйдешь на улицу, и он там — город, твой город, но встать и пойти — все труднее: «... взвалю на спину мою ношу, и уже нет сил встать на ноги»... Что, непонятно?.. Есть такой фильм по сценарию писателя Отия Иоселиани, о старом имеретинце, у которого дети сбежали в город, и он, брошенный на произвол судьбы, едва управляет один в своем винограднике... А знаешь, Лера Массква, кто там играет? Серго Закариадзе — «Отец солдата». Тот самый, что дал по морде вашему старшему лейтенанту, когда тот собирался проехать на танке через молодой виноградник.

Понравилась ты мне очень, Лера Массква. Хочешь, я покажу тебе свой дом? Все равно сию без дела.

Начнем с подвала... Он у нас прямо под лестницей. Отец нанимал азербайджанцев для его обустройства. Отец вообще-то много чего делал, он не был бездельником, как я. Многим помогал, хотя никто не оставался благодарен. Таким он и был: ни у кого не вызывал чувства благодарности. У него было много денег, машин и женщин. Много женщин...

В 1992 году, 6 октября, как раз на мой день рождения, на мосту в Дидубе, у отца случился инсульт, ему было всего сорок восемь лет. Он сидел в своей машине. Отец всегда сидел в своей машине. Ездил по делам. Домой заходил, только чтобы прилечь и поспать. У него и дома не было, в который ему хотелось бы возвращаться, но он никогда не подавал виду, что это так.

В тот день отец вез мне продукты ко дню рождения. Почувствовав, что ему плохо, он повернул назад, доехал до своего дома и открыл дверь машины, но выйти уже не смог, успел лишь выдохнуть — «Позовите моих!» — и уткнулся в руль. Придя в себя, отец сумел выговорить: «Отвезите все, что я купил, и скажите, что отец уехал по срочному делу, не говорите, что мне плохо, не надо портить парню день рождения».

Они бы все равно не смогли привезти мне продукты, я в этот день был в Сагурамо на военной базе. Собирался в Абхазию, на войну. Многие из того отряда погибли — кто в бою, кто так... Один из тех ребят, известный комик Обола Цимакуридзе, утонул здесь в Куре, пытаюсь спасти друга...

Отец болел восемь лет. Второй инсульт настиг, когда он мылся в ванне. И все закончилось. Он ушел... Теперь они там все вместе — и отец, и те парни, и еще многие другие. Я тоже к ним уйду, они меня ждут. Когда тебя где-то ждут, идти туда не страшно и не в облом.

Ладно... У нас говорить о смерти нельзя, Лера Массква, не принято, это считается плохим тоном. Здесь в моде быть живым — живым-здоровым и удалым. В грузинском «удалой» — «кочаги» очень похоже по звучанию на «качаги», что значит «разбойник». Так и надо — быть удальцом, разбойником и живым. Наверное, потому и гибнем то и дело. У нас и войны начинаются очень странно, Лера Массква: в один прекрасный день просыпаешься, выглядываешь в окно, а там война. И началась она вчера ночью. Иногда проснешься — и опять мир, выйдешь по делам — тоже мир. Знаменитое тбилиское приветствие и улыбка. Оглянуться не успеешь, опять война, сука, и о том, что она началась, можно услышать в любом месте: в такси, кафе, на бирже, на автобусной остановке или в своей собственной спальне: «Эй, ты где, подъем!.. Скорее, ты что спишь?! Война, блин!..» Так было и 22 декабря, и 14 августа. Сначала всем как будто весело: трещат автоматные очереди, рычат танки и бэтээры. А потом все усложняется, и страна постепенно облачается в черное ...

Но не будем об этом, Лера Массква. Мне много чего не нравится в этом мире, например — рассказывать женщине душеспасительные истории с целью ее закадрить.

Так на чем мы остановились?.. Об отце я уже говорил. Что же случится после того, как постучат в дверь спальни?.. Не знаю. Со мной вечно так происходит, отец еще появится, в спальню тоже постучатся, и кто знает, куда я рвану, где окажусь после этого... Ведь таким же образом и ты, москвичка, оказалась в Тбилиси, в рассказе безбашенного грузинского парня, и, главное, даже не подозреваешь об этом. Со мной всегда так ...

Я уже, кажется, говорил, что подвал у нас под лестницей. Хороший подвал, не похожий на другие. Каждый раз, когда захожу туда, мне вспоминается Нико Пиросмани, он, как известно, последние свои годы прожил под лестницей и там же умер. В Грузии люди неординарные часто умирают кто под лестницей, кто на лестнице, а еще — на улице...

В нашем подвале тогда было много всякой всячины: вино, яблоки, айва, картошка, старая настольная лампа, поношенная одежда, уложенные в ящик старые книги, мой велосипед. В шесть лет мне купили первый велосипед «Десна 2», потом — «Салют» и «Турист» со скоростями. Помнишь такие?..

В то время я был безумно влюблен. Мы учились в одном классе и виделись каждый день, но дома мне ее уже не хватало. Я ее очень любил, Лера Массква. С тех пор прошло много времени, я знал много женщин, но ни одну из них не любил так, как ее. И так я начинал по ней тосковать, придя домой, что хоть застрелись... да нечем. Я спускался в подвал, брал свой велосипед — тогда у меня был «Салют» — и айда к ней!.. Она жила около республиканской больницы, на пятом этаже. Если ее не было во дворе, я бросал взгляд на освещенные окна и возвращался обратно. Пару раз я даже поднялся к ней домой, но чувствовал себя ужасно неловко, не зная, что делать и говорить. Труднее всего было зайти и потом выйти, сидеть в ее комнате было легко... В школе и во дворе общаться было проще, я мог дернуть ее за волосы или дать прокатиться на велосипеде, а в ее комнате мы оставались одни, и мне становилось как-то не по себе... Мы были маленькими, двенадцать лет. Стоять и смотреть на освещенные окна было круче, в этих вечерних окнах было что-то такое... настоящее...

Я возвращался домой счастливый, со мной было воспоминание о свете в ее окне и глазах, которые я должен был опять увидеть в школе на другой день ... и опять страдать. На обратном пути меня всегда заставляла ночь, я включал фару своего велосипеда и так ехал. Иногда шел дождь, это было еще круче. Я чувствовал себя персонажем из фильма «Мужчина и женщина» — помнишь, когда он едет к ней под проливным дождем, и слышен только звук быстро работающих дворников на ветровом стекле... Завидев ее вместе с детьми издали, он выскакивает из машины и во весь дух бежит по песку к своей женщине. А машина стоит под дождем с горящими фарами и тикающими дворниками...

Я залетал во двор, резко тормозил у подъезда и относил велосипед в подвал. Шины пахли мокрым асфальтом. Я зажигал свет. Лампочка там была особенная: повернешь в одну сторону — горит, повернешь в другую — гаснет... Уставший, я садился и начинал читать книги: старого, потрепанного О.Генри, «Трех мушкетеров», «Дон Кихота», пьесы Шекспира. В «Ричарде III» у меня было два любимых отрывка: где он соблазняет королеву Анну прямо у гроба убитого от его же руки мужа Анны и в конце — «Вперед же, в бой! Нам нет пути назад. Когда не в рай, — сойдем все вместе в ад!..» Мне было жаль этого сукиного сына Ричарда III, убитого сопляком Генрихом Тюдором... Как тебе, Лера Массква, эта

фраза? Сильно, да, «сойдем хотя бы в ад»? Ричард, хоть и сукин сын, но все же он лучше, чем нынешние сукины дети. Эти претендуют на рай, потому что они, будучи сукиными детьми, все-таки боятся ада...

Я читал и читал, забывая обо всем на свете, кроме моей возлюбленной. Было слышно, как над головой соседи поднимаются и спускаются по лестнице, даже не представляя, какие страсти бушуют прямо у них под ногами... И это продолжалось до тех пор, пока мама вдруг не позовет меня или отец не просунет косматую голову в полуоткрытую дверь: «Ты что делаешь, читаешь?..» Он заходил и заполнял собой весь подвал. Бывало, присядет, все заскрипит. «Эй, не сломай велосипед!» — с тревогой восклицал я. Он осторожно убирал из-под себя велосипед и прислонял его к стене, а сам устраивался поудобнее на ящиках. «Что читаешь?» — «Вот» — и я протягивал ему книгу. «Хорошая книга, да, сынок?» — «Да» — отвечал я. «А Шекспира тебе не рано еще читать?» — «Не знаю, читаю ведь...» — «Да, читаешь... Ты там хоть что-нибудь понял?» — «Да. Что там понимать...»

Так мы и сидели вместе в подвале: я читал, а отец смотрел на меня и отдыхал. «Ты что, промок? Волосы совсем мокрые, иди поднимись, вытри полотенцем и спускайся...» — «Ну, пап, подожди...» — «Простудишься, говори...» — «Ну, пап, не хочу...» — «Что — ну, пап», — ворчал он...

Потом мама звала меня снова, и мы вылезали из подвала, отряхиваясь от паутины. Я гасил лампочку, обжигая пальцы, запирали дверь, мы поднимались по лестнице, и я нажимал кнопку лифта... Было слышно, как лифт трогался... «А давай махнем в деревню, хочешь? Прямо сейчас... Через час будем уже в Гомбори», — говорил отец. «Давай!» Лифт открывался, но мы уже выходили из подъезда. «Эээ... а мама?..» Мы кричали ей со двора, и она выходила на балкон. Мама была очень важна для нас обоих, так было всегда, Лера Массква...

«Когда ты пришел?» — спрашивала мама. «Пришел... Мы собираемся в Гомбори.» — «Что, сейчас?» — «Ну да...» — «Ему же завтра в школу.» Мы с отцом переглядывались. «Пусть завтра не пойдет...» — «Ладно, так и быть...» По дороге мы без умолку болтали. Отец рассказывал свои истории. А твой отец рассказывал тебе истории из своего детства, Лера Массква?

Была ночь. Мы ехали и весело болтали, а перед нами плясали следовавшие друг за другом красные огоньки, а сзади — белые. Отец ворчал: «Ну и движение... Когда ты уже вырастешь, чтобы возить меня по этим дорогам...» Он рассказывал, как его мать выписала ему велосипед «Харьков» с Украины, как они, взявшись за руки, каждый день ходили на почту за драгоценной посылкой, как он весь дрожал от волнения по пути туда и как на третьей неделе, в среду, пришел долгожданный запечатанный в коробке совсем новый, смазанный велосипед. Во всей большой деревне Гомбори только у меня был свой собственный велосипед, еще на одном ездил одноглазый почтальон, азербайджанец, Садико, но его велосипед принадлежал сельсовету, к тому же он был старый и дребезжащий.

Отец был сиротой. А у нас, Лера Массква, принято очень любить и лелеять сирот, чтобы они чувствовали себя лучше всех и не ощущали сиротства, ведь на самом деле оно, это ощущение, никогда не проходит, даже если у них ни в чем нет недостатка. Отец тоже чувствовал себя сиротой, несмотря на то что у него всегда было все, чего он только мог пожелать. Ему было три года, когда умер его отец. Он до сих пор помнил, как просил соседа, врача Тезико, оживить отца, который погиб в автомобильной аварии, сорвавшись с вазиянского моста. Перед этим он отвез своей сестре и племянникам-сиротам несколько мешков с мукой. У сестры муж погиб на фронте, а сам он выжил и вернулся домой. Раненых из

Керчи вывозили на катерах по Азовскому морю. Мой дед добрался вплавь до последнего уходящего катера и ухватился за борт одной рукой, он был ранен в другую руку осколком снаряда. Так он и висел на одной руке, пока его не втащили на борт. Немцы потопили все пароходы, паромы и катера, кроме того, на котором оказался дед. В итоге он выжил и приехал домой. Через три года на вазианском мосту в его машину врезался «студебеккер», и она упала с моста. Отец говорил, что дед выжил для того, чтобы оставить после себя нас, хотя, по моему, это все глупости: оставить — не оставить... Меня больше интересует другое: солдат Вермахта загнал снаряд в ствол гаубицы и, заткнув уши пальцами, шарахнул из нее так, что осколок того снаряда покоится теперь вместе с телом деда на фамильном кладбище в Сагареджо... Кем он был, тот немецкий солдат, и что с ним случилось, жив он или уже умер... Если жив, интересно, как сложилась его жизнь после войны, есть ли у него внуки и какие они... Может, после него никого не осталось... А если бы потом дед и тот немец встретились, что бы они сказали друг другу?.. Думаю, они начали бы говорить о своих внуках или просто посидели бы, помолчали, как делают зачастую пролившие много крови старые вояки.

У поворота в Гомбори отец давал мне сесть за руль, и наступала моя очередь рассказывать истории о школьных драках и любви. О том, как я вместе с одноклассниками пошел на стадион. Как мы познакомились в Муштаидском саду с братавшейся с футбольными болельщиками городской сумасшедшей Мариной, которая умела удерживать рюмку водки на подушечках двух пальцев и говорить свои знаменитые тосты... Я вел машину слишком быстро, и отец грозился никогда не сажать меня больше за руль и в то же время внимательно слушал мои рассказы. Сам он в молодости лихачил, как Айртон Сenna, несколько раз чуть не разбился, а однажды на целых восемь месяцев оказался прикованным к кровати. С тех пор он водил машину очень осторожно. И за меня тоже боялся. «Если я остался в живых, это еще не значит, что ты тоже уцелеешь, если будешь лихачить на дорогах.» А я до сих пор лихачу, Лера Массква, но каким-то образом меня, наверное, спасает его постоянное чувство страха за меня... Слабоумная Марина дала три рубля какому-то парню, чтобы он купил ей вино, потому что водка была «очень горькой», а тот смылся с ее деньгами. Обиделась Марина, заплакала, и мы побежали его искать, хотели набить ему морду. Хоть парень был и старше, мы бы с ним справились, но не нашли его. Когда вернулись, увидели, что какие-то блатные принесли вино и дарят ей десятирублевые купюры, а сумасшедшая умильно кладет их себе в лифчик и поднимает стакан за всех присутствующих: «Дорогие вы мои! Я вас очень, очень люблю, как братьев!», и плачет — теперь уже от наплыва чувств...

Отец снова и снова начинал рассказывать о том, как с пятнадцатью рублями в кармане приехал в Тбилиси из Гомбори, поступил в университет и полюбил самую красивую девушку — Нино Чавчавадзе.

В студенческие годы, все пять лет, он жил в Навтлуги у своей тети, сестры отца, той самой, которой его отец отвез мешки с мукой, а сам поехал на вазианский мост, навстречу своей смерти, сидевшей в «студебеккере». Тетя со слезами на глазах рассказывала: «Я уговаривала его остаться, не уезжать, время было позднее, а он заупрямился, сказал — в другой раз. А ведь если бы он тогда послушался, ты не остался бы сиротой, как мои дети»... Отец в то время зубрил немецкую грамматику, ночами сидел и занимался, никто не верил, что он поступит, все считали его бездельником. Когда отец получил диплом, даже его двоюродный брат Элгуджа разинул рот от удивления: «А ты ведь и правда

выучился...» Элгуджа всю жизнь водил городской автобус, был хорошим шофером и порядочным человеком, очень любил своего бесшабашного, но хорошо образованного двоюродного брата, говорил, что воспитал его и поставил на ноги. В течение пяти лет мать Элгуджи, тетя отца, каждый вечер допоздна сидела на скамейке перед домом и с тоской на сердце ждала, когда вернется ее племянник-сирота, который легкомысленно водил по ночам разных девушек за кирпичный забор еврейского кладбища. Несколько раз он нарывался на серьезные неприятности, не все собирались терпеть его выходки. Тетя ворчала: «Утомился бы ты, парень, наживаешь врагов и себе, и Элгудже. Я же не переживу, если с тобой что-нибудь случится... не дай Бог, тебя убьют, пырнут финкой, как твоего дядю Дмитрия»...

С Дмитрием была отдельная история, Лера Массква. Он тоже воевал, попал в плен, потом сбежал и вместе с французскими маки вошел в Париж, но не остался там, вернулся. Приехал домой на линейке, привез для своих племянников тетради в кожаных переплетах, а еще «Илиаду» и «Одиссею» на французском. Он избежал ссылки в Сибирь. Было странно, что он вернулся. Зачем возвращаться в Авлабар из Парижа?... Наверное, он тоже приехал на встречу со своей смертью — в его случае смерть сидела не в «студебеккере», а в ресторане, в лице армян из Ленинакана. Армяне набросились на Дмитрия с ножами, когда пытался защититься от них незнакомую ему шлюху. Он дал им достойный отпор и остался жив, но один из ножей оказался ржавым, и через месяц Дмитрий умер от заражения крови. Его шестнадцатилетний сын встречался с девушкой, но ее родители воспрепятствовали их браку: «Они все прокляты в этой семье, умирают одинаковой смертью»...

Отец все рассказывал и рассказывал свои истории. Мы все ехали и ехали. Он говорил о том, как еще студентом познакомился с Тамазом Бибилури, который очень его опекал, как встретил в Муштаидском саду тогда еще молодую городскую сумасшедшую Марину и пытался ее защитить, что делали и мы с одноклассниками спустя годы. Марина его запомнила и с тех пор по-особенному тепло приветствовала его: «Здравствуй, братец, как дела?» «Сумасшедшие всегда меня обожали, чего не могу сказать о здоровых», — посмеивался отец. «Пап, наверное, ты и сам любил их больше, чем нормальных», — ответил я. Отец, подумав, согласился: «Да, наверное»... И стал рассказывать о футболистах его поколения — Мише Месхи, Шота Яманидзе, Георгии Сичинава, Владимире Баркая; болельщики делились на месхистов, метревелистов и семистов, у Баркая была кличка «Сема», Месхи и Метревели были гениями, но Баркай был особенным, мыслящим футболистом. Наверное, отец имел в виду то, что называют плеймейкерством. «Нам, старым болельщикам, нравилось московское "Торпедо", мы не любили другие московские команды и каждый раз их освистывали. Зато торпедовцы всегда показывали высший класс, играли красиво, технично, не прибегали к нечестным приемам. И вообще они были отличными ребятами... — Он говорил о них, как о родных, наших... Валера Воронин, Эдик Стрельцов, Валентин Иванов, Николай Маношин... — Болельщики "Торпедо" особенно любили технаря Маношина: "Маношка устроит цирк!" — кричали ему с трибун. Воронин был мощным футболистом, но спился... Стрельцов попортил нам много крови, каждый раз забивая гол в наши ворота, пока его не посадили на шесть лет... Грузинские футболисты почти никогда не уезжали играть в Москву, только Слава Метревели играл там за "Торпедо" в самом начале, а потом еще Анзор Кавазашвили — довольно долго... Однажды Анзор попал в сильную передрыгу. В 1968 году Россия ввела в Чехословакию

свои войска, и танки прошли через всю Прагу. Так случилось, что через несколько месяцев футболисты московского "Торпедо" поехали на игру именно в Прагу. Шла прямая трансляция матча. Чехи набросились на русских и начали их избивать. На поле происходило такое, что даже судья не смог ничего сделать: Эдик Стрельцов, бывалый, крепкий русский парень, отсидевший срок в тюрьме, и тот лишь заслонял руками голову и лицо. В воротах у торпедовцев стоял Анзор Кавазашвили, чехи не стали разбираться, кто там русский, кто грузин, и пошли на него. Когда он взял мяч в руки, стоявший к нему ближе других чех дал ему по шее. Тогда Анзор отбросил мяч за пределы поля, чтобы не дать противнику возможность забить гол и сбил с ног ударившего его чеха, ему удалось отбиться от остальных нападавших, а в конце он набросился на своих, разозлившись, что они не пришли ему на помощь...»

«Чехи правильно сделали, что решили им отомстить. Только так и нужно поступать когда твой город захватывают чужие танки», — сказал я. «Нет, — не согласился отец, — в той ситуации нужно было бороться с самими танками, а не с футболистами, эти парни не имели никакого отношения к тому, что случилось в Праге... Советская власть ведь и со своими так не раз поступала... Вон что сделали со Стрельцовым — посадили двадцатилетнего парня, когда тот был в отличной форме, прямо перед чемпионатом мира в Швеции... Надо бороться с тем, кто борется с тобой, вымещать злобу на других неправильно, наши так бы не поступили...»

Через два года, 9 апреля, наступил и наш черед. Теперь танки вошли в Тбилиси... А через какое-то время на игру с нашим «Динамо» приехали футболисты московского «Спартак», и Гела Кеташвили так надавал Родионову, что того еле подняли на ноги, и, наверное, дело было в том, что спартаковец оказался однофамильцем генерала Игоря Родионова. Федору Черенкову и остальным тоже досталось, люди сорвались с трибун и набросились на футболистов. Так что наши оказались не лучше чехов, хотя много воевали и с танками...

Такова история этого подвала, Лера Массква. Это то, что оставил мне отец, а еще он оставил старый телевизор, винтовку, которую мать ликвидировала, потому что я из нее стрелял, мою внешность и чувство поражения, мы с ним оба проиграли, хотя отец никогда не играл на тотализаторе, не пил, не курил, никогда не сидел без денег и не рассказывал истории какой-то девушке, поющей «Вальс-бостон» на канале RTVI. Я же тут вот сижу и вместо того, чтобы заняться чем-то путным, занимаюсь пустой болтовней...

Мне сильно не везет, в течение двух недель каждый раз в билете подводит одна игра и постоянно между восьмидесятой и девяностой минутами. До этого все идет гладко, думаю, что выигрываю, а в итоге... Как говорят у вас: «На нет и суда нет»... Но у вас есть выражения и посильнее, это как раз обо мне: «Оправдание, как и задница, у всех имеется»... Вот. Так мне и надо... Собирался показать тебе весь дом, а заставаю торчать в подвале столько времени... Ну, поехали дальше!..

Это мой лифт, старый, хороший, работает исправно и не требует, чтобы в него бросали пятаки или гривеники, но у него один недостаток: нажимая кнопку четвертого этажа, нельзя ее отпускать, — она выскакивает и можно застрять в дифте на какое-то время. Я живу на четвертом этаже, черная железная дверь с золотистой ручкой прямо посередине, чуть надавишь — она откроется. Эта дверь редко бывает заперта... Заходи. Вот он, мой дом. Меня не было здесь почти три года, и я немного отвык от него. Каждый угол бросается в глаза, как валяющаяся в пыли игрушка, с которой ты когда-то играл и на которую натыкаешься в поисках задевавшихся куда-то сигарет. Вот мой зубр, а может, бизон, постарел,

едва стоит на ногах. Еще — разбросанные тут и там хоккеисты от настольного хоккея. Возьму и положу их в другое место, чтобы теперь они покрывались пылью там.

С домом то же самое. Чтобы почувствовать вкус домашней жизни, нужно выдержать ее хотя бы один день. Это трудно. Так и подмывает уйти из дома, хотя я против него ничего не имею, наоборот, даже люблю свой дом, он хороший, по-мужски неубранный, с дверью, открытой для гостей. Он много раз меня отпускал и принимал обратно. Над порогом нет подковы от сглаза, но дом сильный и сам себя защищает, в него заходишь с легкой душой, вот как зашли мы с тобой, — сначала топaeшь по темному коридору, потом попадаешь в большую комнату...

Домой всегда возвращаешься немного другим, ты согласна со мной, Лера Массква?... Когда уходишь из дома, меняется даже звук твоих шагов, ты ничего в нем не видишь, а вернувшись, начинаешь замечать мельчайшие детали.

В зале ютятся предметы, на которых глаз отдыхает: немецкое пианино «Ройниш», на котором я никогда в жизни не играл, надеюсь, и не буду. Над ним висит постер с автопортретом знаменитого художника Авто Варази, я его очень люблю, он для меня своего рода оправдание пьяных ночных походов: ну и что, если я люблю выпить, Авто Варази тоже пил. И несмотря на то что это все-таки не аргумент, я все равно ему благодарен. На пианино возвышается полная разного барахла плетеная корзина времен моего детства. Иногда в ней неожиданно появляются двухларовые купюры, откуда и почему именно двухларовые — неизвестно, надо бы подкараулить того, кто их туда бросает... Может, это волшебница с золотыми волосами?... Рядом с афишей портреты Беллы Мирианшвили и Роми Шнайдер, еще два графических рисунка (не знаю автора), натюрморт Вахтанга Габуния, «Тушетия» и «Хорнабуджи» Тенгиза Мирзашвили, чуть ниже — «Мать и дитя» Пабло Пикассо и еще одна очень сильная картина какого-то парня, купленная мне в подарок за пятьдесят лари на Руставели, около Академии наук. На другой стене висят маски, их я сам сделал в детстве. У нас был хороший учитель рисования — Ушанги. Он помог нам их делать. Ушанги был очень строгим, если мы приносили на урок рисунок, ставил пятерки, если нет — кричал на нас и называл зелеными червяками. Поэтому, если у меня был не готов рисунок, я не давался ему в руки и убегал. В один прекрасный день он успел запереть дверь, обрадовавшись, что наконец поймает меня, но за неимением другого выхода я выпрыгнул в окно. Наш класс находился на втором этаже, но этаж был невысоким. Бедного учителя чуть не хватил удар, но когда он увидел меня целым и невредимым, то разбушевался и, размахивая своей палкой, стал истопленно кричать мне вслед, что я зеленый червяк. Вот так-то, Лера Массква...

Посреди комнаты — стол с разбросанными книгами и листами бумаги. За столом я пишу, подсаживаюсь то с одной стороны, то с другой... Впрочем, мне не хочется говорить об этом, пропустим этот эпизод... На стене висит дагестанский ковер толщиной в ладонь... С ковра свисает дедов кинжал с расшатавшейся рукояткой, но его историю я, кажется, уже рассказывал, лень повторяться... К шаткой рукоятке прикреплена подаренная во Владикавказе, в КПЗ, ингушом Аликом Гехичаевым вайнахская узорчатая феска... Рядом висят подаренный мне тушинцем Зауром Аджидзе плетеный по-тушински кнут и портрет сердитого, обвешанного оружием Важа Пшавелы с отодранным глазом, он угрюмо смотрит из-под надвинутой на брови папахи. На книжной полке стоит освещенное странным светом фото Резо Инанишвили. Не ведись на это освещение и мягкую улыбку, Лера Массква, он был далеко не спокойным человеком, в его душе бушевали такие бури, что могли бы охватить три планеты... В рассказах

Инанишвили вечно дует ветер, воротник его пальто всегда поднят... Но он все равно ничего не боялся и смотрел на жизнь свысока, с бесстрашной и грустной улыбкой. Рядом с ним фото двадцатидвухлетнего Зуры Гурчиани из Эцери, его расстреляли вместе с другими сванами в селе Каман, недалеко от Сухуми. Смертельно раненный, но еще живой, он прохрипел в рацию: «Мы все погибли, бомбите Каман!» Там же в Каманах расстреляли абхазского священника по фамилии Ануа за то, что он поддерживал грузинскую сторону, это сделали сами абхазы, хотя с ними могли быть и другие — конфедераты, как их тогда называли, — казаки, русские, армяне, чеченцы... Скорее всего, так оно и было; все они в своем пестреющем разнообразии были на одной стороне, а на другой — только грузины... Позже они сожалели, что убили священника, боялись, что им воздастся за это. Так и случилось. Она была страшной, та война, очень страшной... Но это уже другая история.

Наверху, над всеми другими фотографиями, стоит фото сложившего руки на голове и словно присевшего на краешек траурного креста поэта Габриэля Джабушанури в хевсурском «талавари» и с волчьим цветом глаз, автора «Черного неба Галгайче». Перебравшись в населенный ингушами аул, он писал в своем дневнике: «Вчера я выпил и пошел на моего соседа Абики с кинжалом». В этой части комнаты, Лера Массква, расположились все те, кто неуклонно следовал своему, особому пути.

Вот здесь маленькая спальня с двумя странными окнами. Из одного окна всегда видно чистое синее небо и яркое солнце, по ночам — звезды, и среди звезд большая и дырявая желтая луна. Из другого — низкое серое небо, оно словно давит на стены дома, и в треснувшем уголке оконного стекла, всегда беспросветная тьма. Я больше люблю это, другое, окно, упираюсь лбом в стекло, словно вступаю в поединок с нахлынувшим бесцветным днем, и беззвучно ругаюсь матом. А небу нечего сказать в ответ... оно и так серое...

Такой вот дом. Такой вот я. Такой, какой есть.

Здесь живут еще и все, о ком я тебе рассказывал, невзирая на то, где они сейчас находятся. Здесь незаметно оказалась и ты, Лера Массква.

Послушай, может, ты пойдешь и закроешь этот кран?.. Потом спустись, пожалуйста, в магазин и возьми там в счет моего долга пачку «Camel». Они дадут. Когда вернешься, включи магнитофон, вместе послушаем Розенбаума. Настоящего. Только я больше люблю его «Заходите к нам на огонек». Это песня времен моего беспокойного отрочества, она тоже какая-то очень настоящая. А когда тебе надоест возиться с неисправным краном, смотреть на мое невеселое лицо и выполнять мои «принеси то, принеси это!» — можешь послать меня ко всем чертям... и вернуться туда, откуда пришла. Через телевизор. Оставь меня, возвращайся в Москву. С тобой хотя бы легко. Потому что ты умная.

Давай побыстрее, эта ваша «Жизнь прекрасна» вот-вот закончится, и придется тебе тогда остаться у меня... а я ведь буду гонять в магазин за продуктами в кредит...

Она ушла. Лера Массква.

У меня закончились сигареты. Было лень включать магнитофон, лень закрывать кран на кухне. Так я и сидел, проигравший... но отчаянный.

Вот и все. Простите баламута.

«Пронеслась их жизнь земная, как ночное сновиденье...» Какое странное сходство между словами, сказанными одним из величайших поэтов восемьсот лет назад, и теми, что прохрипел какой-то урка в сибирской тайге, а может, в одесском воровском притоне: «Недолго музыка играла, недолго фряер танцевал!...»

Правда, похоже? Или мне показалось?..

Дато Маградзе

Джакомо Понти

Главы из поэмы

С грузинского. Перевод Николая Голя

В «Джакомо Понти» есть одноименный лирический герой, в котором легко можно узнать самого автора. Фабула произведения, одновременно и символическая, и реалистическая, предельно проста — идет судебный процесс самого Джакомо Понти, а весь текст — апология лирического героя (апология в древнегреческом смысле: «оправдательное слово»). Как известно, этот кафкианский мотив отразился и в лирической поэзии XX века: можно вспомнить такие примеры, как лирические тяжбы Леона Фелипе и Анны Ахматовой.

*Заза ШАТИРИШВИЛИ,
философ, литературовед*

Пролог

Будильник, расстреляв все сны подряд,
И чашка кофе
(Чёрт возьми, остыло!),
И руки умывающий Пилат —
Всё говорит, что время наступило.
И как его теперь преодолеть?
День мчится, обезличивая лица.
Костюм парадный некуда надеть,
И он в шкафу бессмысленно пылится.

Кто отразился в зеркале? Не я —
Остаток мой. Так жухнет сад, гния,
Оставшись без ухода и обрезки.
Так истлевает лик на древней фреске.

В глазах печаль берёт свои права,
И столь неторопливые когда-то
Бегут, как акробаты по канату,
К любимой обращённые слова.

Дато (Давид) Маградзе — поэт, журналист. Родился в 1962 году в Тбилиси. В 1984 г. окончил филфак Тбилисского университета. В 1991 г. основал грузинский ПЭН-центр и стал его первым председателем. В 1992—1995 гг. — министр культуры Грузии. Автор многих книг стихов, в том числе переведенных на европейские языки. Автор текста государственного гимна Грузии. Лауреат многочисленных грузинских и международных премий.

...А «Западно-восточному дивану»
Уступят сочинённые по плану
Бездушных строк немереные списки,
Отмеченные холодом руки...
Поэт, как бусы, собирает брызги
Разбившейся о валуны реки...
Нанижет — и тебе на шею снизки
Набросит он, и выведет тебя,
Растрёпанную непогодой сплетни,
На тихий берег —
Тёплый, нежный, летний...
Вот что есть книга! Каясь и любя,
Она твой образ сохранит навеки,
Она расскажет всё о человеке,
Споткнувшемся о горбоносый профиль.
Поэт нанижет —
Брызги? строки? строфы ль? —
На нерв стиха, и разных лет крупницы,
Разбросанные, как зерно для птицы
На площади старинной городской, —
То вымысла, то истины крупчатка, —
Пойдут на эти бусы без остатка.

...И на листе, меж буквами струясь,
Теней возникнет призрачная вязь —
Тут все свои, никто не посторонний:
Вот бабушка стоит, облокотясь
О медные перила на балконе;
А вот она же, выйдя за порог,
Мальчонку крестит:
«Да поможет Бог...»

А вот в беседке чайное застолье...
Воспоминанья проступают солью
Сквозь буквы увлажнённого листа,
А я во тьме веду смычком по струнам,
И мне уже не быть, как прежде, юным —
Повсюду ночь, и радость отнята.

И мой корабль, Эвксинским шедший Понтом,
Безжалостным похищен горизонтом,
И снег под солнцем превратился в лужи,
И мне велят: «Отдать другому роль
За пропуск репетиции изволь».
И на листе промокшем — та же соль...
...Не всё так плохо, быть могло и хуже.
Поэтому печалиться не станем
И не забыв, как водится, сказать:
«Что суждено — того не миновать!» —
Перед Христом Спасителем предстанем.

...Сырой рассвет. Намокшая страница.
(«Намокшая», —
твержу в который раз.)
Как полководцу нелегко смириться
С потерей войска, так и мне сейчас
И тяжело, и горько в свой черёд:
Я — молвить страшно! —
потерял народ.

Теперь мое пристанище — кабак.
И где друзья? Куда ни глянешь — враг.
К стене с ковром
я прислонюсь спиной —
От нападения с тыла защишусь,
Последней сигаретой угошусь
И запою, как будто бы завою:
«Ашогел!»
Нет её, как ни печально.
In vino, vino veritas —
В вине.
И, видит Бог, не по моей вине
Всё в мире без ашогел аморально,
Всё рушится, все клятвы — пустяки.
А я — один, вокруг меня враги,
И я пою (сказать вернее — плачу),
Рубаху распахнув:
«Ridi pagliaccio!»

А утром все узнают из газет,
Что ни свобод, ни вдохновенья нет:
Решением суда отменены
Они на территории страны.
И над передовицей вся страна
Склонится —
Ведь давно уже она
Книг не листает, а кабы листала б,
То лишь одну — и это книга жалоб.

А мы... Что мы? У нас огромный опыт.
Пусть мы окружены со всех сторон —
Палёной водкой окропим окопы
И в бой пойдём на женский батальон
И победим, конечно...

Но с утра-то
Так хочется забыть про боль утраты,
Склониться низко к быстрому ручью,
К струе воды не подпустив Пилата...
...И с жаворонком утренним пою.

Век — миг

Покинув дом Отца, ты движем вот чем:
Надеждой оказаться в доме отчем.

Из зала суда

Судебный зал. Назначенная дата.
Мышиная пробежка адвоката
С полупустою пачкой сигарет —
Так долго продолжалось ожиданье.
И вот настало время заседания.
— Встать, суд идет! —
И вспыхнул яркий свет.

— По свыше установленному плану
Сначала подтвердим, что, ей-же-ей,
Перед собой мы видим капитана
Флотилии бумажных кораблей
Джакомо Понти...

— Да, Джакомо Понти!
Я из колен Лоренцо и Козимо.
Всегда, боясь, что жизнь промчится мимо,
Я на переднем крае был на фронте
Ночей и дней
И говорить клянусь
Одну лишь правду. Это подтверждая,
Рукой к священной Книге прикоснусь...
...Нет, как я очутился здесь — не знаю,
Однако же предположить берусь,
Что пьяным был в дугу и сам собою
Сюда хмельною занесён дугою.
Не говорите, что таких закон-де
Велит карать.
Да, я — Джакомо Понти,
Я из колен Козимо и Лоренцо.
Судьба лихое выдала коленце:
Беспамятство — и я у вас в плену,
Но каяться пристало мне едва ли.
Я именами предков присягну,
Что грудью защищал алтарь Грааля
(Не это ли мне ставится в вину?).
Я, вольный гражданин Джакомо Понти,
Вёл честный бой и потерпел афронт,
Но, ваша честь,
Вы всё-таки не Понтий —
Понтов не стройте.
Нас не взять на понт.
Я изучил резоны обвиненья:
Они на месте строятся пустом;
Раз это мнение ставит под сомненье
Мой адвокат, виляющий хвостом
Под вашу дудку, —
Адвокату дам
Отвод и защищаться буду сам.
Наветы отместить не премину,
И весь набор улик пустопорожний
Я вам обратно в глотку запихну...

— Старайтесь быть в речах поосторожней,
А если не сумеете — тогда
В тюрьму за оскорбление суда!

— Ну, хорошо. Дипломатичней буду.
Итак, продолжим прения сторон.
Судите сами: в чем я обвинен?
В стремлении к мечте, к надежде, к чуду.
Еще одна вмененная вина:
Я говорил (ну да, не отрицаю!),
Что жалким вашим чувствам — грош цена.
И что же? Разве им цена иная?

На вашей крыше я не свил гнезда.
Я занавес задернул раньше срока.
И вот итог: сегодня доброта
Здесь судится под именем порока.

Судьба мне указала путь к духану,
Как Моисей евреям — к Ханаану.
Вот отчего
(Вновь отрицать не стану!)
Мои слова и мнимая вина
На фоне вашей жизни бездуханной
Благоухают чашею вина.

Письмо к Ахиллу

— Приветствую, Ахилл!
У некой дамы,
Ходящей на высоких каблуках,
Не отыскал я
(Хоть искал упрямо)
Мест уязвимых.
Очевидно, мама,
Её держа, как в люльке, на руках,
Давным-давно, во времени ином,
В Стикс погрузить сумела целиком.
Теперь и Аполлоновой стрелою
Её и в пятку поразить нельзя.
Как быть?
Всезнанием поделюсь со мною,
А если нет — то позови меня
Под стены Трои,
Призывая к бою.
И я пойду, как Пётр, по глади вод
(И, может быть, дойду),
И в свой черёд
В кровавой битве свой позор омою,
И скорбным обстоятельствам назло
Покрою славой мёртвое чело...
Нет, лучше к морю даму пригласить:
Как по песку на каблуках ходить —
Придётся ей, отбросив недоверье,
Покинуть пьедестал высокомерья,
Разуться,
На песок ступить ногой...
И побегут вдоль моря под луной —
Восторженны, прекрасны, босоноги —
Пропахшие солёною волной
Отливом отпечатанные строки.

Презентация. «Восточно-западный диван»

Увидел Зевс прекрасную Европу
И обратившись золотым быком,
За ней помчался в Азию галопом,
Любовью, ярко вспыхнувшей, влеком, —
И перевёз из Азии в Европу...

О хитроумный край путей торговых,
Мой евроазиатский перекрёсток,
Солёною стекающий слезой
Вниз по щеке Морщинистой Земли.
Моя страна, где Шёлковым путём
Сплетаются надежды паутина,
Где яростный восточный аппетит
Накинулся на западные яства...
Моя страна судьбой обречена
Смешать в своих сосудах кровеносных
С афинскою премудростью
Цветочный
Пьянящий сердце
Запах Исфахана.

И если трезвым взглядом посмотреть,
То станет несомненно, что культура —
Всего лишь череда ограничений,
Необходимый список предписаний,
Как первородный сдерживать инстинкт.

Всё на земле свою имеет цену.
За всё мы платим дорогой ценой,
Особенно — за солнце и мечту,
Особенно — за выдержку и волю.
Весь этот мир стоит на трёх столпах
(Прислушайся к словам моим, Горацио):
Афины — мудрость,
Правосудье — Рим
И Иерусалим — живая вера.

Европе душу дал Галилеянин,
Велевший Савлу превратиться в Павла,
И занавес раскрылся широко,
Явив сердцам щемящий дух Востока.

Известно: дело тонкое — Восток,
Пропахший ароматами Творенья.
Стучит о камни Мармары
Прибой.
Смешались волны в шейкере Босфора
В коктейль хмелящий:
Западовосток.

И тот же микс гуляет в Геллеспонте...
...Я — вольный гражданин Джакомо Понти,

Я выбил искру из кремня стихом
И воздухом одним дыша с Христом,
Дыхание ислама чую рядом...
Чтоб дух Европы
В мой ворвался дом,
Мне euowindows открывать не надо.

Но и восточный ветер внятен мне:
Я помню, что такое «Шахнаме»
И как, сверкая в небе над людьми,
Мир освещало солнце Низами.

Восток и Запад —
Оба жаждут власти.
Ни одному из них не победить.
Но я еще не сыт миндальной сладостью
Страстей восточных;
Взор свой усладить
Хочу разливом переливов цвета,
Кружится от которых голова.
Но где слова,
Чтоб высказать всё это?
Цвета расскажут больше, чем слова.

Тончайшая оттенков партитура
Все ноты соберёт в мотив один,
И раскрывает нам миниатюра
Прекрасный мир Хосрова и Ширин.

Чтоб по пути кратчайшему идти,
Читатель мой, из чувств своих пяти
Четыре чувства хоть на время вычти —
Впитай глазами краски древней притчи.

...Хотите имя?
Моё имя — Красный.
Наш мастер — Синий, но его убил
Завистник — Жёлтый, запродавший душу
Приобретателю неверных душ,
И кисть свою окрасил в алый цвет.

В саду султана наступила осень.
Бледнея, умирает синь небес,
И жёлтый цвет листвы слегка пожухшей,
Нисколько не краснея от стыда,
Глазам открытым говорит:
«Я — красный!»

...Старинная восточная легенда
О трёх художниках, о трёх цветах,
Как будто шёпот лет давно прошедших,
Нигде не напечатанной осталась.

...А что Европа?
То же, что всегда:
Она бежит меж пальцев, как вода.

Песком пересыпается сквозь пальцы.
Зайди в *Santa Maria delle Grazie*:
Там тайна Тайной Вечери живёт.
А рядом —
На прилавке магазина
Разложен для услад простолюдина
Великого да Винчи тайный код.

Но ветер в паруса «Санта-Марии»
Бьёт точно так же, как и в дни иные.
Колумб опять выходит в океан,
Оркестру волны моря подпевают,
И палочку меж пальцами сжимает,
Как Моисеев посох,
Караян.

...В ночном кафе стусилась темнота.
Хрустальным светом
Люстры не искрятся.
Испита чаша.

Чашечка пуста.
Раскрашенная в яркие цвета
Слепцом или безумцем пустота —
Вот символ дикой эры презентаций.
(Хотя вон тот
Так подобрал жилет
К рубашке,
Что понятно: чует цвет.)

Европа превращается в музей.
Чем оживить недвижные предметы?
Кто день восьмой
Отыщет за семь дней?
Как осень превратить обратно в лето,
По грифу нервы туго натянуть,
Дверь запертую снова распахнуть
В прошедшее недрогнувшей рукою,
Чтоб, словно Лазарь, ожило бывшее?

Тот колокол звенит —
Иль отзвенел?
Той красоте судьбою дан удел
Извечно жить —
Иль вовсе не у дел
Она осталась?
Было ль то, что было?
«Пьета» рыданием мрамора застыла,
Но литургии мало кто подпел...

Ещё надеюсь...
...Не мечтаю даже!
Объявлена на души распродажа,
От тела сила духа отошла,
Поэзия ни уха не нашла...
Минувшее живёт с грядущим врозь,

И дождь, как нож,
Пронзил меня насквозь.
Но жаловаться всё же перестань!
Мне некого винить.
Я перестану.
Я сам покинул мир турецких бань,
Стремясь к струе Тревийского фонтана.

Как рыцарь, я хранил святой Грааль.
Я, словно дервиш, брёл в обносках вдаль.
Коктейль гремучий Запада с Востоком
Всей грудью я вдыхаю с давних пор.
Моя волна имеет два истока.
Вам нужно имя?
Я — пролив Босфор!

Свидание с Отчизной

Страна моя! Хочу тебе сказать,
Что мне любви к тебе не занимать:
Люблю тебя такой, какой не стала,
Люблю такой, какой могла бы стать.

Я на свиданье родину зову.
Его ни дождь, ни ветер не отменят.
Она придёт на это randevu,
Пообещает ласку —
И изменит.

И судей приведёт, и палача,
Вдрызг измочалит чуть живую душу.
А если и обнимет невзначай,
То в этих же объятьях и удушит.

Твой лоб клеймом калёным обожжёт
И, словно агнца, в жертву принесёт
У залитого кровью алтаря...
И всё-таки — она судьба твоя.

...А если ты, приветствуя восход,
Зайдёшься в предрассветном «кукареку»,
Она такую порчу наведёт,
Что даже самый чёрный в мире кот
Тебя сторонкой лучше обойдёт,
Чем подойти к лихому человеку.

Вовек с тебя не снять такого сглаза.
Ты ищешь в ней отчизну, а она
Промчится мимо с грохотом КАМАЗа,
И пыли поднятая пелена
Вмиг ослепит тебя на оба глаза,
И тьма наступит среди бела дня...
И всё-таки — она судьба твоя.

У родины достанет сил сполна,
Чтобы к тебе надсмотрщиков приставить,
А станешь своевольничать — она
Тебе прикажет памятник поставить,
Но лишь посмертно.
А покуда — гнать
Его взашей, была б беречь охота! —
Под дождь, на холод,
Разом, с ходу, с лёта!

Она прекрасно сможет подыскать
Тебе взамен беднягу-патриота,
Чей низок лоб и неказиста стать.
Он мыслит узко, говорит неясно —
Зато его легко и безопасно
По всем дворам за бороду таскать.
А вслед тебе пошлёт головореза,
Чтоб где-то в Цицамури возле леса
Смерть прервала дорогу в Сагурамо¹
(Так нежно любит деток эта мама).
...О, жалкое невежество сердец!
Не превратить землянку во дворец.

Напрасно мыслят патриоты наши,
Что посиделки с чачею под хаши
И войлочная шапка в солнцепёк,
И аромат давно немых ног,
И прочие житейские трюизмы
Достойны звания патриотизма.

Невежество!
Есть версия его
Иная, но не выйдет ничего
Хорошего из злобного кривлянья,
Замешанного на дрожжах незнания, —
Пусть даже кто-то
Это в свой черёд
Сто раз либерализмом назовёт.

Джакомо Понти! Будем мыслить строго:
Твоя страна прекрасна и убога,
Истрёпаны дождём её края,
Но всё-таки — она судьба твоя,
И — всё-таки — дана она от Бога.

Письмо к Прометею

Эй, Прометей!
Не дашь ли огонька,
Пока ещё не села зажигалка?
Конечно, дашь.
Я знаю, что не жалко.
Покурим да потрепемся слегка.

¹ Великий грузинский поэт и просветитель Илья Чавчавадзе был убит в Цицамури (по дороге в Сагурамо).

Мне в детстве
Точно так же, как тебе,
Со спичками играть не разрешали,
А я их крал.
Потом смолил в подвале
С друзьями по кварталу и судьбе,
Из них давая прикурить любому.
«Сейчас же брось, — меня ругали дома, —
Играть с огнём!..»
Ты знал такое сам.
Я повзрослел, и всё ж по временам,
Дрожмя дрожа
От холода людского,
Мне поиграть с огнём хотелось снова.
И вот итог:
Пришёл черед цепям.

И если я, прикованный к скале
Их равнодушья и непониманья,
Хоть искру запалить смогу...
«Вниманье! —
Несётся крик. —
Пожарные, скорей!
С брандспойтами, с баграми, топорами!»
Боятся,
Что подняться может пламя
И осветить их тёмные дела,
И вспыхнуть в сердце женщины,
И мужа
Она покинет,
Чтоб согреться в стужу
У яркого костра горячих слов,
Уйдя от старых счётов
И счетов
За электричество и отопленье...
...Увы! В азарте
Пожаротушенья
Они однажды могут погасить
Меня дотла,
До пепла и до праха
И до золы,
Но я не знаю страха:
Коль быть такому —
Так тому и быть.

Эй, Прометей, признай:
Такой конец
Ничуть иного не страшней итога.
Мой брат родной,
Предшественник, отец!
Дай прикурить.
Поговорим немного.

Заседание без протокола

— Синьор Джакомо Понти,
Вам вопрос
Задать хочу я не под стенограмму —
Ведь дела он касается не прямо,
Но всё-таки волнует нас всерьёз:
Из ваших многочисленных коллег
Никто к перу с бумагой не прибег,
Чтоб защитить вас.
Это почему же?

— Я так бы вам ответил,
Ваша честь:
Никто из них не хочет в дело лезть.
От бед моих им лучше,
А не хуже.

Довольные сложившимся порядком,
Они сидят по личным тихим хаткам,
И приторные вина попивая,
Рифмуют строчку:
«Наша хата с краю».
Я мыслю так:
«Чем больше будет нас,
Тем ярче станет жизни каждый час,
Тем радостней и красочней».
Они же —
«Чем меньше нас, тем до бессмертья ближе».

Отравленные ядом самомнения,
Они стремятся к самоопылению.
Как трагик
На провинциальной сцене,
Такой творец то воеет, то кричит,
То рушится с размаху на колени —
И предвкушает:
К славе путь открыт...

Да защищён талантом
Буду пусть я
От поэтического захолустья!
На стихотворной той периферии
Пусть вместо нас кривляются другие
И ждут от дуры-публики оваций
За мелкий дождик
Звонких декламаций.

А мне аплодисменты ни к чему.
Зал шикает?
Так повернись к нему
Спиною равнодушной,
Не иначе, —
И пригуби дерущей глотку чачи!

Я, ваша честь, не здесь.
Мой путь — иной.
Не с ними я,
Они же — не со мной.
Я предпочёл пирушке групповой
Раздумье одинокого застолья.
Им — виться яркой клоунской толпой,
Мне — биться с грустью собственной
И болью.

Не здесь я, где змеится, словно вьюн,
Паяц нелепый в ярком одеянье.
Я там, где водка плещется в стакане,
Где грохот обвалившихся трибун
И рвущийся в атаку Кипиани»!¹

Да, ваша честь,
Поэт — не то же, что
Пустой фигляр из цирка шапито.

С ног на голову ставятся слова,
Поносная патетика права:
Поэзия равна самокопанию
И блеск столичный пожран глухоманью.
Я, ваша честь,
Всегда хранивший честь,
Не нанимал на бенефисы клаку,
Не представлял себя иным,
Чем есть,
И если надо, честно шёл в атаку.
И ощущал, как праздник,
Каждый час,
И слезы строчек капали из глаз.

¹ Давид Кипиани — легендарный грузинский футболист.

Нугзар Шатаидзе

Два друга

Рассказ

С грузинского. Перевод Ирины Модебадзе

Разбитая армия¹ отступала на запад. Днем шел снег, вечерами подмораживало, но страх перед врагом не позволял развести огонь, и поэтому, вымокшие и опустошенные, они даже ночью не отдыхали.

По утрам то одного не могли дозваться, то другого. Усталая разочарованная армия таяла день ото дня: соскучившись по теплу и горячей пище, бойцы, не дожидаясь приказа, разбредались по домам.

Так продолжалось несколько дней, но потом как будто распогодилось: потеплело, снег растаял; но с севера вскоре надвинулось черное облако, затянуло небо, и вокруг вновь все померкло. Февральский снег сменился мартовской слякотью. Грязь была повсюду, дороги развезло.

В Батуми тоже было неприветливо пасмурно. Город утонул в непроглядно плотном тумане. С темного неба склизкими клочьями отторгнутой морем медузы тяжело сыпались мокрые хлопья снега и таяли на ветвях рядами выстроившихся вдоль бульвара магнолий.

Море замерло в тревожном ожидании.

В порту стоял итальянский пассажирский корабль «Кирали». Оттуда не доносилось ни звука. Разливая вокруг неприятный желтый свет, на палубе горело несколько лампочек.

Из кухни с подносом в руках вышел смуглый кудрявый юнга, прошел покрытый ковром узкий коридор и постучался в одну из кают.

— Entrez! — Юнга открыл дверь и вошел в каюту.

Трое мужчин всматривались в разложенную на столе карту: величавый высокий седобородый старик, мужчина в смокинге и лысый генерал². Последний, оживленно жестикулируя, возбужденно говорил, а те двое молча слушали.

Какое-то время юнга вслушивался в незнакомые звуки чужой речи, и почему-то ему казалось, что и те два сеньора, так же как и он сам, не понимают,

Нугзар Шатаидзе (1944—2009) — писатель, драматург, сценарист. Творчество замечательного мастера грузинской прозы было отмечено Государственной премией Грузии (1996 г.) и авторитетной премией «Саба» (2005 г.). По мотивам рассказа Н.Шатаидзе «Путешествие в Африку» был снят фильм «Другой берег», отмеченный на международных кинофестивалях.

¹ Описываемые события происходят весной 1921 года, когда остатки грузинской гвардии устремились в Батуми, а оттуда в эмиграцию (Прим. переводчика).

² Аллюзия на членов правительства Грузинской Демократической Республики (Прим. переводчика).

о чем же говорит генерал. Потом, поставив на маленький столик поднос, он разлил по чашечкам кофе и, стараясь не шуметь, осторожно вышел.

Ночной город поглотила зловещая тишина. Дома стояли молча: из-за слепых, прикрытых ставнями и плотно зашторенных окон не доносилось ни звука.

За несколько дней до этого Кязим-бей захватил Артвин и под предлогом помощи грузинам с большой армией вошел в Батуми.

А грузины сидели и пили в ресторане гостиницы «Ориент».

Тому, кто не видел застолья проигравших войну грузин, трудно будет представить себе эту картину: пили молча, жадно и с каким-то странным упорством. Тишину нарушали только звон посуды и перестук столовых приборов, изредка можно было услышать скупые: «Алаверди» и «Яхшиол». Застолье возглавлял известный телавский тамада Карангозашвили — мужчина среднего возраста, но все остальные, как на подбор, были молодыми.

Курсант военной школы Сандро Ломоури не пил: у него и без того была высокая температура. В болезненном дурмане ему казалось, что все происходит где-то на дне — сидевшие за столом друзья как рыбы беззвучно шевелят губами, а сам он тонет в какой-то мутно-вязкой жидкости и, постепенно уменьшаясь, растворяется в ней. Но в тот момент, когда он, казалось, уже вот-вот должен был окончательно исчезнуть, каким-то чудом он снова начал расти и, с головокружительной скоростью увеличиваясь в размере, достигал огромного, почти вселенского размера. Тогда он слышал каждый шорох, каждое слово, и ему казалось, что и любую стоящую за этими словами мысль он тоже постигает с особой ясностью.

Теперь в нависшей над столом почти невыносимой тишине раздавался лишь голос Карангозашвили. Он рассказывал эпизоды войны с большевиками, которые бывшие их очевидцами советские дедушки потом будут таинственными голосами рассказывать своим внукам, а те — своим детям. Он говорил с таким странным возбуждением и увлеченностью, что Сандро все время слышались звон скрепящихся сабель и задорный грохот пушек.

Под конец Карангозашвили вспомнил один старый случай — еще тех времен, когда Ага-Магомед-Хан напал на Тбилиси, и удивленный Сандро с болезненной ясностью увидел на склоне горы Табори небольшой отряд пушкарей, окруженный яростно наступавшими кизилбашами. Услышал он и голос майора Гурамишвили, говорящего своим бойцам: «Братья, грузины, в бою нас ждет неминуемая гибель, но мы можем сдаться на милость врага. Что вы выбираете, славную смерть или жизнь в позоре?»

Сандро покачнулся, погрузился в вязкую как глицерин жидкость, уменьшился, уменьшился и, прежде чем окончательно исчезнуть, краем глаза заметил, как при этих словах и он сам вместе с теми пушкарями опустился на колени, взял тремя пальцами щепотку земли и, как бы причащаясь, съел ее.

Очнулся он не скоро. Сидел, бездумно уставившись на развороченный стол. Перед глазами стояли картины боя, слышались стрельба и грохот взрывов.

Сам он был ранен в Коджорской битве. Тяжелым это ранение не было — пуля прошла над коленом, но он потерял много крови, и, если бы не Ваничка Гогуадзе, кто знает, чем бы это кончилось. Ваничка вывел его с поля боя и передал санитаркам — тбилиским девушкам, которые без спроса, тайком, бежали из родительского дома и добровольцами пришли на фронт.

Потом он лежал у себя дома, и Софи Павловна лечила его мазью Турманидзе.

Одиннадцатого марта он смог встать. Дядя принес из подвала дедушкину палку с серебряным набалдашником, и с ее помощью он начал ходить по комнатам. Из дома его не выпускали — Тбилиси уже был в руках большевиков.

В тот же вечер пришел Ваничка, но от чая он отказался и только без конца мерил комнату шагами: взад-вперед, взад-вперед.

— Что случилось, Вано, что тебя тревожит? — спросил Сандро.

— Говорят, большевики составляют список для расстрела...

Сандро рассмеялся.

— Смейся, смейся, а когда завтра-послезавтра придут, тогда и увидишь!

Сандро догадался, что сейчас действительно не до шуток, и присел на тахту.

— И что теперь делать?

Ваничка взял стул и сел напротив Сандро:

— Пока есть время, надо уезжать за границу, здесь нам оставаться не стоит...

До Батуми они доехали на бронепоезде, которым командовал двоюродный брат Ванички — гвардии майор Алфес Гогуадзе. Сразу по приезде друзья узнали, что через три дня из порта отчалит итальянский пароход, который должен был доставить пассажиров, в том числе и свергнутое правительство Грузии, до Марселя.

Алфес помог достать два билета третьего класса на «Кирали», и до отплытия они остановились в гостинице «Ориент»...

Вино сделало свое. Юнкера запели. Столпившись у дверей кухни, обслуга ресторана с посветлевшими лицами наблюдала за происходящим.

Перед глазами Сандро встал изрытый траншеями запорошенный снегом луг у Табахмелы, где закрепились второй батальон резервистов и юнкерский корпус.

Враг навел на их позиции артиллерию.

Один снаряд разорвался совсем близко, и в снегу разверзлась огромная черная яма. Запахло мокрой землей, и из глубин памяти всплыла картина давно, еще в раннем детстве виденного в деревне: бычья упряжка тянула плуг по ситцево-пестрому, в васильках и ромашках, травянистому склону, а ветерок доносил оттуда сладкую «Оровелу» и головокружительные трели жаворонков... «Скоро придет весна», — подумалось тогда Сандро, и он ощутил удивительный покой.

Отрезвили его звуки музыки: медудуке¹ исполняли лекури. Хлопая, зрители возгласами подбадривали танцоров.

К застолью присоединились новые гости: какой-то пожилой генерал и молодой майор в черной чохе.

Танец закончился.

Авалишвили спрыгнул со стола, поклонился восхищенным зрителям, сел и пестрым багдади протер испарину на голове и шее.

Совершенно подавленный Карангозашвили, подняв объемный сосуд, говорил:

— Господа, наступил решающий для нашей родины момент: мы только что узнали, что Кязим-бей объявил себя губернатором Батуми, а Чолокашвили сообщает, что большевики уже в Поты и завтра-послезавтра будут здесь...

Над столом надолго нависла гробовая тишина.

¹ Музыканты, играющие на дудуки — музыкальном инструменте наподобие свирели, имеющем девять отверстий — восемь сверху и одно снизу (Прим. переводчика).

Не в силах сдержать нахлынувших слез, Гогия Авалишвили выбежал наружу.

Остальные ошеломленно застыли, к глазам подступили слезы.

Снаружи разливался белесый свет. Дождь кончился, но нависшее над городом черное облако вновь готовилось непогодить.

На заднем дворе гостиницы, под навесом, они заметили двух привязанных лошадей, их спины были прикрыты накинутыми бурками.

Какой-то старый грек подметал двор метлой с длинной ручкой.

— Доброе утро! — поздоровался Ваничка.

— Доброе!

— Где-нибудь можно нанять экипаж?

— Еще слишком рано...

— А это чьи лошади?

— Вот князя приехали, их.

Друзья вышли на улицу и направились в сторону порта.

Как-то вечером отец объявил, что завтра к обеду пожелует Акаки.

Утром мама пожарила рыбу и сварила гоми, а папа, несмотря на то что Акаки не прикасался к вину, поднял из подвала две бутылки кахетинского.

К обеду действительно пришел Акаки.

Радостно кинулись его встречать, но старик ни разу не улыбнулся, вошел пасмурный и, вздыхая, опустился в кресло.

— Что случилось, батона Акаки, почему вы не в настроении? — спросил папа и сел напротив.

— Эх, тяжело у меня на сердце — вижу вас в последний раз... Поэт откинул назад свою седую голову.

— Почему, в последний раз?! — обеспокоился папа.

— Завтра еду в Сачхере, не вернусь ...

Отец не произнес ни звука.

В разговор вмешалась мама.

— Почему вы так говорите, батона Акаки, вы же знаете, как мой муж и дети вас любят, почему же вы нас так расстраиваете?

Акаки вздохнул и положил руку на голову младшей сестры Сандро, украдкой примостившейся у его колен:

— Что поделаешь, мне и самому не хочется об этом думать, но я чувствую, что больше вас не увижу, и сердце обливается кровью.

Вскоре сели за стол. Папа старался как-нибудь развлечь гостя, но безуспешно. Акаки вновь был подавлен. Он положил себе на тарелку маленький кусочек рыбы и немного гоми. Только и всего. Больше ни к чему так и не прикоснулся.

Все примолкли. Даже дети почувствовали что-то неладное и потеряли аппетит.

— В чем дело, Акаки, у вас что-нибудь болит? — спросил отец.

— Да нет, дорогой, в этом-то все несчастье, что болеть ничего не болит, но не знаю ... Последнее время я как-то сдал ...

Через две недели в Схвители, в своем доме, Акаки Церетели скончался от кровоизлияния в мозг ...

... Пройдя узкими грязными батумскими улицами, они вышли на набережную. Море спокойно лежало, не подавая признаков жизни.

Сандро впервые был на море, и все казалось непривычно-странным: столько воды, пропитанный незнакомыми запахами воздух и надоедливые резкие крики недавно проснувшихся чаек.

У причала столпилось множество людей. Желających подняться на корабль было много, но билеты были не у всех, и у сходней образовалась давка. Прощались: кто-то плакал, кто-то смеялся, а кто-то просто стоял, печально глядя на пассажиров на палубе.

Сандро присел на черный причальный кнехт и стал массировать больное колено. Он вновь попал под власть непонятного тумана, вокруг, теряя форму, все расплывалось.

Гогуадзе достал из жилетного кармана часы, открыл и посмотрел на циферблат.

— Который? — спросил Сандро.

— Через полчаса отходим.

Умолкли.

Ваничка ждал, когда у Сандро отойдет колено, а пока, выискивая среди пассажиров знакомых, он смотрел на толпу, кому-то даже улыбнулся, сняв в знак приветствия шляпу.

Настроение упало, Сандро как-то странно расслабился, и сейчас ему казалось, что легче умереть, чем встать и подняться на корабль ...

«Последнее время я как-то сдал», — вспомнились неожиданно слова Акаки, и он до боли в пальцах вцепился в края кнехта.

Сейчас ему казалось, что этот железный пень и был его родиной.

Его родиной было и это огромное море, и насыщенный странными запахами прохладный воздух, и белые чайки, с громким криком кружившие над лодками рыбаков ...

Его родиной была бычья упряжка с плугом на травяных склонах Картли, сладкая «Оровела» и спокойные трели взмывших в небо жаворонков... И, наконец, его родиной была та каждая щепоть земли, которую перед смертью съели майор Гурамишвили и его пушкари ...

Покрывшись испариной и побледнев, он так вцепился в железный столб, как будто кто-то собирался насильно оторвать его и увести. Пальцы болели, из-под ногтей вот-вот пойдет кровь, но он не разжимал рук — сейчас этот столб был одновременно и его родиной, и той соломинкой, за которую цепляется утопающий.

— Не бойся, Сандро, — сказал Гогуадзе и присел передним на корточки, — на корабле обязательно будет хороший врач, и как только поднимемся на борт, он осмотрит тебя и даст лекарство.

— Я не еду, Вано...

Для самого Сандро этот ответ оказался настолько неожиданным, что на какое-то мгновение даже напугал его, но почти сразу он почувствовал удивительное облегчение, — как будто вынырнул из той вязкой жидкости, глубоко вдохнул, и легкие заполнил прохладный, живительный воздух. Неожиданно все стало на свое место, вещи обрели привычную форму, и с приятным удивлением он обнаружил, что боль в колене утихла, а температура спала.

— Как это не едешь?! — поразился Ваню, — У тебя, видно, температура поднялась...

— Нет, со мной все хорошо ... — улыбнулся Сандро.

— Расстреляют тебя, брат... Коджори и Табахмелу не простят ...

— Расстреляют так расстреляют, мать их!

Ваничка понял, что, однажды приняв решение, Сандро уже не передумает. Что было делать, не силой же его тащить? Бессильно махнув рукой, он повернулся и быстрым шагом направился к пароходу...

Сандро видел, как Гогуадзе подошел к трапу, показал билет и, ни разу не оглянувшись, поднялся на корабль.

Внезапно на причале поднялся оглушительный крик, раздался свист. На палубе стояли трое: величавый белобородый старик, черноусый мужчина в смокинге и лысый генерал. Растерянно улыбаясь, они смотрели на бурлящую толпу, но, видя, что оглушительный шум и свист не стихают, о чем-то переговорив, отошли от поручней и скрылись из вида.

Вглядываясь в взволнованные лица галдящих людей, Сандро еще немного посидел, потом встал, вложил в руку какой-то женщины с ребенком, которую моряки не пускали на трап, свой билет, хромя прошел причал и вышел на улицу.

А Ваничка Гогуадзе нашел свое место на корабле, присел на деревянный городской стул и прикрыл глаза.

С Сандро они дружили с детства — вместе учились в гимназии, сидели рядом в классе. Когда его привезли из деревни и отдали в школу, мальчишки подняли Ваничку на смех — всячески издевались над его гурийским диалектом, но он никому не прощал насмешек — дрался и часто ходил то с подбитым глазом, то с расквашенным носом.

Его единственным другом и союзником был Сандро, но прошло время, и Ваничка понял, что Сандро гораздо больше, чем он сам, нуждается в дружеской поддержке. Он был очень чувствительным и необычным мальчиком. Иногда мог такое сказать, что невозможно было удержаться от смеха, но Ваничка над ним никогда не смеялся, ведь он на собственном опыте испытал всю горечь насмешек.

Пока родители были живы, все было нормально, но после их смерти, когда Сандро и его младшую сестру забрал к себе дядя со стороны матери, он как бы сломался. Бездетные супруги окружили детей заботой и любовью, но, несмотря на это, Сандро очень тяжело переживал свое сиротство.

Ваничку мучила совесть, сейчас он злился не на Сандро, а на самого себя — что я за человек, если вот так бросил друга детства ...

А в это время Сандро Ломоури спешил в сторону гостиницы «Ориент». По пути его нагнал пустой экипаж, Сандро остановил его и через несколько минут спрыгнул у заднего двора ресторана.

Дворник-грек, покуривая трубку, сидел на бревенчатой скамье. Навес, где были привязаны две покрытые бурками лошади, был пуст.

Сандро подошел к дворнику и попросил скрутить табак.

— Все ушли, — сказал старик. — «Кирали» скоро отчалит. Это последний корабль, больше уже не будет.

— А эти? — Сандро указал головой на опустевший навес.

— Недавно прошло войско какого-то однорукого генерала, эти тоже

вскочили на коней и поскакали за ними... Говорят, Кязим-бей из Батуми выгнать надо.

Снова пошел дождь. Сандро вошел в зал ресторана и огляделся. Там не было ни души. На неубранном столе, вперемешку с грязными тарелками и недопитыми стаканами, лежали остатки пищи.

Зал заполнял резкий запах.

Забравшись на стол, что-то ел рыжий кот. Сандро угрожающе замахнулся, но тот даже ухом не повел.

Сандро разозлился и, как будто на столе хозяйничал не просто вороватый кот, но сам Кязим-бей, достал из-за пазухи наган и, не целясь, выстрелил.

Кот в панике слетел со стола и с оглушительным воплем выскочил в открытую дверь.

Из трюма «Кирали» доносились пыхтение паровой машины и скрежет клапанов.

Моряки убрали трап.

Ваничка не утерпел — поднялся на палубу и посмотрел вниз, но Сандро нигде не было видно.

Люди на причале стояли молча: хмурые мужчины и комкающиеся мокрые от слез платки женщины.

Вскоре раздался гудок, корабль задрожал, двинулся и медленно отошел от берега.

Пассажиры высыпали на палубу.

Моросило, шел мелкий косой дождь, и на водной глади образовалось множество маленьких кругов.

Внезапно кто-то бросил с корабля шляпу, до берега она не долетела и упала в воду.

Сейчас же кто-то другой сорвал с головы черный цилиндр и бросил за борт.

Будто только этого и ждали — все ринулись к борту. Мужчины срывали шляпы и бросали в море.

Вскоре на поверхности воды уже покачивалось множество шляп.

Неожиданно Ваничка заметил на палубе группу знакомых юнкеров, и ему показалось, что он видит среди них Сандро.

С бьющимся сердцем он подошел к ним, но вместо Сандро увидел Авалишвили.

— Гогия, Ломоури не видел?

— Ломоури?! — удивился Авалишвили, — но разве вы не вместе ушли из ресторана?

— Э-э! — махнул рукой Ваничка, пробился сквозь толпу к борту, вскочил на поручень, прыгнул в море и мощным брассом поплыл к берегу.

Для пассажиров поступок незнакомого юнкера оказался последней каплей.

У некоторых к глазам подступили слезы.

Небо хмурилось. Солнца не было видно.

«Кирали» выходил в открытое море. Корабль постепенно уменьшался, таял и, наконец, окончательно исчез из вида.

У причала над поплавками качающихся на поверхности воды шляп с жалобным криком кружили возмущенные чайки.

Золотые страницы «ДН»

Отар Чиладзе

(1933—2009)

Перевод Наталии Соколовской



* * *

Вновь ласточки садятся мне на грудь,
и вновь лоскут небес достался мне на долю.
Он пестует тоску и заменяет волю.
И с этим проживу я как-нибудь.

Я вновь должник вот этих старых стен,
друзей и недругов, деяния и слова.
То, что исчезло с глаз, — к душе прильнуло снова.
А прочее пока без перемен.

Вновь полыханьем роз наполнен оком.
В обнимку жизнь и смерть,
и праведник и грешный.
И в сердце ты опять рождаешься моем,
как голос — в тишине и свет — во тьме кромешной.

«ДН», 1985, № 10

* * *

Хочешь — не хочешь, тебя не спросив и с тобою не споря,
жестокосердая, в дом постучится зима.
Черновиков пред тобою колышется море.
Ты не успеешь наплаваться в синем просторе.
Это открытье любого свело бы с ума.
Вместе с бумагой, и мыслью, и дрогнувшим небом
ты переселишься — и не успеешь моргнуть —
в место, где царственным непрекаемым снегом
будет стелиться до звезд одинокий твой путь.
Взгляд человека, как брошенный камень, затерян
в однообразной пульсирующей белизне.
Хочешь — не хочешь... И путь предстоящий безмерен.
Снежный простор. Тишина. И сиянье извне.

«ДН», 1985, № 10

Иракли Ломоури

Рассказы

С грузинского. Перевод автора

Докладная записка Кофи Анану (из цикла «Все дороги ведут в бедлам»)

Господин Кофи!

Кофе я тоже очень люблю, можно сказать, уважаю... Из-за этого и вышло все: не попрись я в тот день, 14 июля 2003 года, на «Базар дезертиров» за настоящим кофе — там у меня один знакомый, кофечерпий Сейран, хвастает, только у меня, мол, во всем Тбилиси настоящий рио-арабика-гранде, — ничего бы и не случилось!..

Сидел бы я, как и прежде, в моем старом любимом кожаном кресле, перед моим старым добрым монитором, в одной руке новенький оптический маус, в другой — дымящаяся чашечка кофе... нет, даже поминать эту благословенную жидкость и то не хочется...

Почему я пишу именно Вам, господин Кофи? Вы меня поймете, во-первых, потому, что я уже объяснил, почему, а во-вторых, потому, что негр негру и брат и сват (такая старинная поговорка, то есть народная мудрость, бытует у нас в Грузии)... Ведь я тоже негр. Удивлены? Не удивляйтесь... Вот послушайте мою историю и поймете — я действительно черным-чернокожий...

Короче говоря, вышел я в тот день на улицу. Жара такая, что хоть заново штурмуй Бастилию. Машу рукой, останавливаю маршрутку (то есть маршрутное такси, микроавтобус), сажусь, тронулись... Едем почему-то так медленно, словно попали в траурный кортеж секретаря ЦК партии (той самой!)... Не едем, а ползем, плетемся...

Единственное свободное место было в конце, в последнем ряду, на возвышении, ну я и сел, и сажу себе тихо-мирно...

Едем, вернее, ползем, гляжу в окошко — машут нам рукой, хотят остановить, а микроавтобус-то не останавливается! Я даже удивился!.. Правда, сидячие места уже все были заняты, но ведь у нас все равно пускают и подвозят стоя... Да и микроавтобус-то был вместительный, с высоким верхом, Дерюгин

Ираклий Ломоури — родился в 1959 году. Закончил факультет востоковедения ТГУ и факультет христианской антропологии Тбилисской духовной академии. Печатается с 1982 года. В 1989 году два его рассказа были опубликованы в «Дружбе народов». Автор семи сборников рассказов, двух романов и сборника сказок. Переводит художественную прозу на грузинский — с русского и английского.

и тот бы поместился, не сгибаясь... Наверное, помните Дерюгина, еще в сборной СССР играл... Одним словом, едем так, будто рождены ползать...

Вдруг вижу: прямо передо мной хорошо одетый, гладко выбритый парень залезает в сумку соседки! Женщина, с виду домохозяйка, сидит у окна, рядом с ним — а этот парень... Что делать?!... Меня враз холодным потом прошибло!.. А парень, видимо, что-то почувствовал, обернулся и... улыбнулся! Улыбнулся мне! Лично! Так улыбнулся, лучше уж... лучше уж матом бы покрыл! Я, конечно, не стерпел бы, ударил его, поднялся бы переполох, народ нас, конечно, стал бы разнимать, ну и в итоге... Все целы и невредимы, женщина сохраняет свои кровные и я тоже... сохраняюсь! Но нет, чего уж там попусту мечтать! Когда парень мне улыбнулся, я растерялся, сижу молчком, только ерзаю... А он нагло, у меня на глазах, вытаскивает кошелек из сумочки у этой гусыни, форменной гусыни! Нагло раскрывает и нагло пересчитывает — 12 лари и 40 тетри (это примерно 5 американских долларов), я ясно разглядел, — и кладет себе в карман! Нагло! И снова улыбается! Он что, издевался надо мной?!.. Нет, терпеть такое было уже невозможно!.. Оглядываюсь — все, как один, уставились в окна, словно туристы из какой-нибудь бывшей братско-социалистической страны, впервые попавшие в нашу «солнечную»...

И вдруг — что я вижу! — передо мной, только на этот раз с левой стороны, какой-то крупный, весьма представительный, с проседью, мужчина начинает сдирать золотое кольцо у сидящей рядом женщины в трауре... Женщина, видимо, онемела от ужаса и почти не сопротивляется, молчит, может, он ей показал нож или бритву, не знаю, с моего места не видать...

Женщина беспомощно оглянулась и посмотрела мне прямо в глаза, я — в окно... С трудом сглотнул, чувствую, бьет меня нервная дрожь, но что же делать, сижу... Не могу же я стать добровольной (а точнее, «дебиловольной»!) жертвой каких-то подонков — меня дома жена-дети ждут... и даже теща с тестем!

Вдруг чувствую какое-то движение рядом со мной, смотрю, и что ж я вижу?! Какой-то парень в черных очках залезает относительно молодой, довольно пышнотелой особе за вырез платья! Совсем взбесились! Жду, вот сейчас она завопит, вот сейчас, но молчит, молчит исступленно... Лицо женщины вижу в профиль, какое-то напряженное у нее выражение, нет, как будто даже улыбается?! Приятно ей, что ли?! Нет, это гримаса, гримаса! А этот шустряк уже начинает пуговки у нее на груди расстегивать! Ну-у, это уж!!! И ни звука! Все молчат, все, абсолютно! Как свежемороженые скумбрии! Будто ничего не видят! А тот парень, с переднего сидения, опять оборачивается и снова улыбается мне! Чего он от меня хочет?! Какого черта?! И к тому же никто не сходит! Столько времени едем, и ни один человек еще не сошел! Ни один! Нет, я должен сойти! Стой, кричу я водителю, останови! Но он не останавливает, включил баяты, заунывные восточные песнопения, и на полный звук! Стой! Кричу, ору! Стой! Стой!! Мне дурно, стой!!! Уже в окно ору, руками машу... Чуть не вываливаюсь из окна... Наконец, спустя какое-то время, машина остановилась...

Сошел у госцирка. Стою, на обочине шатаюсь, дышу с трудом, грудь нараспашку, кислороду мне не хватает, кислороду! Руками развожу, бессильно и как-то даже конвульсивно... Вдруг длинный черный лимузин притормаживает передо мной, водитель перегибается к правому окну и подмигивает мне... У меня темнеет в глазах, ноги подкашиваются, и я растягиваюсь на мягком от жары асфальте...

Кто меня привез домой и когда, не помню... Было уже совсем темно, когда я пришел в себя... Лежу на кровати, на лбу мокрая, а на самом деле уже

совершенно сухая тряпка... В спальне никого... С трудом поднимаюсь и плетусь в ванную (уже туалет)...

Вдруг из гостиной жена кричит:

— Гела, скорей, тебя по телику показывают!

Захожу в комнату и что ж я вижу, действительно, тот самый момент, когда парень с переднего сидения залез в сумочку «гусыне», а я одним глазом гляжу в окошко, а другим...

Короче, не буду пересказывать.

Почернел я.

Правда! Кожа стала черной. Сплошь. Как у натурального негра.

Как у Вас, господин Кофи!

Только я этого тогда не заметил. Стою, раскрыв рот, и стараюсь не смотреть на себя, но все равно смотрю... Члены моего драгоценного семейства затаили дыхание, видимо что-то чувствуют, что-то такое, эксклю...дивное!.. Ждут, но пока сидят молча. Пока.

Хотя дети и после ничего мне не сказали. Вообще ничего. Глаза от меня отводили, что ли...

Сюжет, в конце концов, закончился — шел он, наверное, целых пять минут, но эти пять минут мне показались пятью годами...

На экране появилась девушка-диктор, улыбнулась как бы спросонья, но сердечно, будто мы были ее родичами, которых она не видела лет пятнадцать, и объявила: «Дорогие телезрители, вы смотрели экспериментальную передачу «Скрыто-шитая камера». По поводу показанных сюжетов вы можете высказать свое мнение в ток-шоу «Сердцем ноющее слово». Запись желающих в офисе телекомпании «Гардабани-3» с 12 до 24 часов»...

Тишину первой нарушила теща:

— Между прочим, эту передачу в народе прозвали: «От камеры до камеры»...

— Что, уже посадили кого-нибудь? — поинтересовался тесть.

— Сам сел. Явился с повинной! — ответила теща.

— Не дождетесь! — сказал я почему-то громко, с победоносным видом, и вышел в свою комнатку (есть у меня закуток вроде мастерской, бывшая кладовка, куда я с грехом пополам втиснул тахту), повалился ничком и захохотал! В подушку...

Удивляетесь, господин Кофи? Я и сам, помню, удивился. Что это было со мной, истерика что ли?

На другое утро я проснулся поздно, а точнее, меня разбудила жена. Заглянула ко мне и говорит фельдфебельским тоном:

— В первом подъезде, на десятом этаже, у Гонджилашвили испортился нагреватель, Атмор. Иди чинить! Тебя ждут, только что звонили. Кстати, они тебя вчера по телику видели. Ковбой!

Хоть и работаю я простым электриком, но закончил-то физический факультет Государственного университета и, между прочим, с красным дипломом!

И причем тут «ковбой»?!

С превеликим трудом поднимаюсь. Во рту такое ощущение, будто вчера ацетон вместо водки хлестал. А ведь ни капли не пил!

Захожу в ванную, хочу плеснуть себе водички в глаза, гляжу в зеркало, а оттуда смотрит на меня какой-то чернящий негроид (прошу извинить, господин Кофи!) Я уж подумал было, опять у меня в глазах темнеет!

Растираю уши что есть мочи (если вдруг почувствуете, господин Кофи, что теряете сознание, дурно вам, сразу начните уши растирать, очень помогает!), закрыл глаза, глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, открыл глаза и...

Тот, в зеркале, чем-то походил на этого, как его, Эдди Мерфи, выражением глаз, что ли, моргал как-то простодушно, будто невинная овечка...

Присел я на унитаз. И сижу...

Логически рассуждая, наверное, я должен был подумать — а может, это просто сон?! Кошмар?! Но вместо этого я так четко и бесповоротно ощутил, понял и осознал, что почернел раз и навсегда... Так, наверное, гусеница осознает свою волшебную метаморфозу и, нежно помахивая крылышками, летит себе собирать соки у всяких там лютиков-маргариток...

Но куда мог пойти я, такой вот Анджел Дэвис?!

Сижу на унитазе и не знаю, как быть. И вот именно там я и вспомнил о Вас, господин Кофи! Именно тогда я понял, что вы мне поможете!

Господин Кофи!

Вы ведь защитник униженных и оскорбленных во всем мире... Истинное сердце негра, о котором с любовью поют в народе, именно у Вас и бьется в груди, я знаю, трепетное! Вы печетесь о мире во всем мире. Вы заботитесь о человеке... Несмотря на национальность, расу или там цвет кожи... Негр ведь негра не куснет, нет, извините, это не при чем, да, вспомнил — негр негру сорвал банан и предложил, тот удивился, вокруг бананов было навалом, ешь — не хочу, но нет, первый говорит, мол, вкуснее, если возьмешь из моих рук... — так пишет наш великий поэт Важа Пшавела. Хотя, кажется, там речь шла об оленях... и о траве... Но это все равно, без разницы... Я знаю, уверен, Вы поможете мне, защитите меня, защитите мое униженное и оскорбленное достоинство... Какое право имеет пресловутый «Гардабани-3» устраивать такую подлую провокацию?! Окажись они на моем месте, я бы еще посмотрел, кто из них Матросов или Гастелло!

Короче, когда я понял, господин Кофи, что вы не оставите меня в беде, вздохнул с превеликим облегчением и вышел из ванной-туалета...

Стойким, почти армейским шагом вошел я в гостиную, встал на пороге, демонстративно сложил руки на груди (в тот момент я капля в каплю походил на бесстрашного вождя зулусов, Чаку), смотрю молча, свысока на мое драгоценное семейство... Все они в сборе у телевизора: и двое деток среднешкольного возраста, и жена, и теща, и тесть... Смотрят дневной сериал — было воскресенье... Стою и жду реакцию, что сделают, когда углядят меня эдаким чернокожником... Думаю — или вообще не признают, не поймут, кто я, или же просто у них от страха сердце разорвется (у тещи особенно слабое сердце)... Стою, жду... А они и не смотрят на меня. Сделал шаг и встал перед экраном. Кричат мне:

— Не мешай!.. Уйди!

Подхожу к моей благоверной, встаю лицом к лицу, но несколько сбоку и говорю:

— Повернись ко мне!.. Посмотри на меня!

Повернулась, посмотрела... оглядела сверху вниз.. снизу вверх.. и говорит:

— Чего тебе надобно, мой герой, звезда экрана, мой Тарзан, мой Суперм...

Не выдержал, кричу:

— Ослепли вы, что ли?! Не видите, почернел я!

— Почернел?

— Негр я, негр!.. Настоящий!

— Клоун ты настоящий, вот ты кто, — спокойно говорит жена, — Ступай чинить Атмор. Гонджилашвили в третий раз звонили!

Я молча повернулся и побрел обратно в ванную, гляжу в зеркало. А оттуда опять та же самая антрацитовая физия (извините, чуть не написал, рожа) по имени Гела Сардионович Ананиашвили, родившийся 5 марта 1959 года, грузин, беспартийный, несудимый, с высшим образованием, ныне электрик-монтажник Общества с Ограниченной Ответственностью «Национальный душ»...

Короче говоря, господин Кофи, почему-то никто не заметил, что я чернокожий, но ведь сам-то я вижу, что я негр, и почему-то я уверен, природный, натуральный негр меня сразу же признает... нутром! Признайте же меня, господин Кофи! Я больше не могу жить в этой стране, где видят черное и думают, что это белое, где наигрывают танцевальную мелодию, а выходит погребальная, где по воробьям стреляют реактивными снарядами, а волкам и шакалам посылают воздушные поцелуи...

Закрылся бы я своим закутке, господин Кофи, и никогда бы оттуда не выходил, будь на то моя воля, но не дают мне этой возможности, день и ночь твердят: иди, работай, добывай деньги!... Деньги, деньги, деньги! ...Им мои деньги нужны, а мое сердце и кожа, да и душа расхристанная, до лампочки!

А потом они мне объявляют: Ты, мол, должен лечиться! Отвечаю: Сами вы должны лечиться у окулиста-психопатолога! Сам ты, — говорят, — псих с патологом!.. Ах так! — говорю я... Ах, эдак! — они... Ну и навалились скопом, и повязали руки-ноги... Разве я один бы с ними справился? Они даже позвали на подмогу сантехника Рафика и три поколения Гонджилашвили! И вот, связанного-перевязанного, поволокли в психушку.

В кабинет главврача меня ввели верзилы-санитары: я уже в смирительной рубашке, так сказать, в «цивилизованном» виде.

Главврач, солидный такой дядя, прищурился, поглядел на меня и спрашивает вдруг по английски:

— Ар ю фром Африка?

— Ноу, — отвечаю, — фром Джорджия.

— Аа, фром Америка, стейт Джорджия, — говорит и спустя секунду спрашивает. — Энд вот проблем хев ю, мистер?

— Донт лав вайтс, — честно отвечаю.

— Оо, итс сириоз проблем! — говорит врач и добавляет про себя по грузински. — Негр, который живет в Грузии и не выносит белых, несомненно нуждается в лечении...

Ну вот, господин Кофи, сижу я теперь в психушке, а точнее, в психтюрьме (не думайте, что только при коммунистах была у нас карательная психиатрия). Правда, тут весь контингент больницы, и пациенты и врачи (которые, надо сказать, не очень-то и отличаются от нас, так называемых «больных»), видят, что я чернокожий, но от этого мне не легче — на волю все равно не выпускают!

Господин Кофи!

Я официально отказываюсь от гражданства Грузии!

Давайте учредим новое государство — Кофиленд! — где будем только мы, ну а бледнолицых и на дух не подпустим...

Будем жить себе припеваючи, смаковать черный кофе с коньяком, нет, лучше с черным ямайским ромом, и слушать «Блек Меджик Вумен»!!!!...

*Сталин в подвале
(из цикла «Хроники параллельной Грузии»)*

У Майи Цкнетели¹ перехватило дыхание. Неожданная сводка Информбюро потрясла ее. Сводка и впрямь звучала жутко. У диктора Левитана даже дрогнул голос, впервые с начала Великой Отечественной (во всяком случае, так показалось Майе):

— Милитаристская Япония вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз! Враг использовал фактор неожиданности и после упорных, кровавых боев захватил следующие порты и населенные пункты: Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Уссурийск и по транссибирской магистрали прорвался к Новосибирску! Красная Армия проявляет беспримерное мужество и до последней капли крови защищает каждый клочок родной земли! Недалек тот час, когда мы разобьем наголову бешеную Квантунскую армию!

Майя прикусила губу. Проклятая, коварная милитаристская Япония! Любимой родине нанесла удар в спину в самую тяжелую, судьбоносную минуту, напала именно тогда, когда орды фашистских захватчиков рвутся к Москве! Так значит сибирские дивизии не смогут защитить сердце родины?! Не смогут защитить дорогого товарища Сталина?!

Комсомолка Майя Цкнетели и в учебе была передовой, и в военной и физической подготовке была одной из лучших, и самообразованием занималась, и бескорыстно помогала товарищам — каждую пятницу в комячейке делала доклад о мирной политике Советского Союза и международном положении. Особо подчеркивала мудрую национальную политику великого вождя, кормчего всего прогрессивного человечества Иосифа Виссарионовича Сталина.

Товарищ Цкнетели слишком хорошо разбиралась в международном положении и в обстановке на фронте, чтобы не понимать, чем грозит открытие второго фронта на Дальнем Востоке.

У Майи на глаза навернулись слезы. Но нет, не время сейчас плакать! Она должна попасть на фронт! Сейчас же! Сию минуту!

Пока Майя переодевалась в единственное ситцевое платье, хромая корова, кормилица семьи, так жалобно замычала, что у нее дрогнуло сердце, она забежала в хлев, повязала передник (единственное выходное платье требовало бережного обращения), подоила корову, поднесла стакан парного молока старой, не встававшей с постели матери и решительным шагом направилась в комиссариат.

Сегодня же она должна записаться в Красная Армию! Чего бы ей это не стоило! Пусть ее возьмут хотя бы санитаркой! Но лучше будет, если ей доверят работу снайпера! И почему это не должны доверить? Разве она не лучше всех сдала нормы ГТО в своем классе? Разве в стрельбе из мелкокалиберной винтовки лежа не она попала в «десятку» в девяти случаях из десяти?

¹ Цкнети — дачный поселок в черте города Тбилиси (в прошлом — село); Майя Цкнетели — историческое лицо, народная героиня, жила в XVIII веке; переодевшись в мужскую одежду, воевала против персидских захватчиков в войске царя Ираклия II, погибла во время сражения.

О, с какой радостью и удовольствием будет она бить врага, будь то немец, японец или испанец из «Голубой дивизии»! (Однажды ей приснилось, что верхом на коне она схлестнулась с молодым испанским фашистом и они бились на саблях. Она вонзила клинок прямо в сердце врага, повергла на землю... Умиравший испанец прошептал: «Нэна»¹. Майя почему-то склонилась над ним и поцеловала в лоб.)

Перед комиссариатом стояла очередь односельчан. Оказалось, что пришли все, стар и млад — перед Майей стоял Дед-культя, одноногий инвалид первой империалистической.

Но все оказалось напрасным, Майю не взяли — сказали, сперва закончи десятилетку, а там видно будет. Хотя, пока ты закончишь школу, война успеет завершиться, — усмехнулся военный комиссар, товарищ Бухути, которого Майя хорошо знала. Прошлым летом, во время каникул, он был начальником военного лагеря, где Майя постигала искусство метания гранаты.

Товарищ Бухути вставал за ее спиной, брал за локоть и учил, как надо размахнуться, чтобы граната улетела как можно дальше и разнесла коварного врага в клочья, превратила в кровавое месиво.

Поначалу Майе постижение этого искусства давалось с трудом, хотя она и была ловчее, чем большинство мальчиков-односельчан, поэтому дядя Бухути был вынужден провести несколько дополнительных занятий лично для нее.

Но ничего не помогло, ни знакомство, ни просьбы и уговоры. Майю отправили домой.

Выйдя из комиссариата, Майя увидела, что толпа односельчан сгрудилась под репродуктором на площади, перед зданием сельсовета. Стояла гробовая тишина. Майя подошла к Деду-культе и шепотом спросила:

— Что случилось?

— Такое случилось, дочка, — горько выдохнул старик, — хуже ничего не могло случиться, погибает... Москва пала!

У Майи подкосились ноги, как будто ей разом перерезали сухожилия, и она наверняка упала бы, если бы в последний миг ее не подхватил товарищ Бухути. Оказывается, он уже слышал эту ужасную весть и вышел к народу поговорить.

— А Сталин?! Где Сталин?! — вскрикнула Майя.

— Товарищ Сталин в тайном и надежном месте! Оттуда он руководит борьбой советского народа! Сейчас все — женщины, дети, старики — все должны стать солдатами! Великий Сталин объявил всеобщую партизанскую войну! Под ногами захватчиков должна гореть земля! — Обратился к народу комиссар Бухути и потом прошептал на ухо Майе. — А ты хотела идти на фронт, глупая девочка... фронт сам пришел к тебе!

...Майя не помнила, как возвратилась домой. Она была как в бреду. Всю дорогу домой только одна мысль вертелась у нее в голове: «Я должна спуститься в подвал».

Войдя к себе во двор, Майя слегка удивилась, почему это она должна спуститься в подвал, разве объявлена воздушная тревога?

Майя спустилась в подвал, не зажигая света, приоткрыла дверь и вдруг почувствовала — в темноте кто-то есть, кто-то родной, сильный, надежный... Она почувствовала запах крепкого табака.

¹ Нэна — по мингрельски «мама». Мингрелия — западная часть Грузии.

Если б Майя была не комсомолкой, а простой деревенской девчонкой, то подумала бы, что ей явился призрак покойного отца. Но она была комсомолкой и знала наверняка — материя первична. Кроме материи ничего не существует — ни бога нет, ни черта, ни духа и ни призрака.

Майя прошла внутрь подвала (смелая была девушка!), слегка трясущейся рукой чиркнула спичкой, зажгла огарок свечи на полке. Когда глаза привыкли к сумеречному свету, в глубине подвала она различила силуэт кряжистого мужчины в военном френче, галифе и сапогах.

— Подойди, — сказал мужчина, и Майя невольно рухнула на колени.

Перед ней стоял Сталин!

— Ничего не спрашивай, — продолжал Сталин, — я тут потому, что так нужно для советского народа и для нашей великой будущей победы. Понятно, товарищ Цкнетели?

Майя не смогла произнести ни звука.

— А сейчас иди, принеси мне парного молока.

Майя вскочила, нет, не вскочила, а вспорхнула.

— Если кто-то спросит тебя, где Сталин, скажи, не знаешь, не видела, — сказал ей вдогонку Иосиф Виссарионович и присел на бочонок с квашеной капустой.

Так пролетел месяц. Враг подошел к Грузии, причем с двух сторон: немцы — с запада, японцы — с востока. У Красной Армии не хватило сил сражаться на два фронта, она переломилась в хребте, рассеялась, распалась и перешла на партизанскую борьбу.

Вся страна оказалась в руках врага.

Картли и Кахети¹ заняла квантунская армия, а Западную Грузию — части вермахта и СС. Тбилиси и пригороды (в том числе село Цкнети) были объявлены свободной зоной, что на самом деле означало: эту, якобы свободную, зону совместно контролируют немецкие и японские захватчики. В селе встала даже испанская часть.

Оккупанты сформировали местную власть, вчерашний комиссар Бухути стал сельским старостой и главным полицаем.

О-о, как его ненавидела Майя! Наверняка спалила бы его дом, ночью прокралась бы и запалила, но у нее в подвале был Сталин. Поэтому она терпела от Бухути все — и двусмысленное подмигивание, и бесцеремонное похлопывание по заднице, но когда он предложил, — иди мол, девка, к моей жене прислужой, сыты будете и ты, и твоя мать, а в подарок получишь парчовые платья и «калагаи»², — она не стерпела и влепила ему пощечину.

Майю арестовали. Как партизанку.

— Где Сталин?

Допрос вел немецкий майор. Рядом сидел японский майор (но все время молчал). Испанского майора не было видно. Переводил Бухути. Оказывается, он владел немецким, как родным. Майя так этому удивилась, что даже на минуту позабыла все — и страх, и боль, что есть силы, прикусила язык, чтобы не проговориться ненароком. Во рту Майя ощутила соленый привкус — видно, кровоточил язык.

— Где Сталин? — только это и спрашивал немец. Казалось, чувствовал, Майя знает...

¹ Картли и Кахети — части Восточной Грузии.

² Калагайя — разноцветный шелковый платок.

Допрос продолжался день и ночь, целую неделю, без перерыва. Ее не били, но есть не давали, держали на одной воде и черством хлебе (только раз Бухути тайком занес ей в камеру сладкую каду¹).

По прошествии недели Бухути что-то сказал на ухо немецкому майору, а потом громко японцу так, будто бранился.

«А японский-то он откуда знает?» — слегка удивилась Майя.

Совещались долго. В конце концов, видимо, пришли к согласию. Бухути встал и объявил Майе:

— Ты свободна. Ступай домой и хорошенько подумай, как жить и что делать... Что будет лучше для твоей родины и для тебя лично. Подумай, а потом по своей воле приходи к нам. Мы будем ждать. Нам не к спеху. Будущему Грузии нужны такие пламенные молодые патриоты, как ты.

...Майя брела по проселку, как лунатик. Односельчане как бы не замечали ее — отводили глаза, обходили стороной.

Майя подошла к двери подвала, трясущейся рукой сняла висячий замок, чиркнула спичкой и с облегчением вздохнула — Сталин был на месте!

Сидел на табуретке и курил трубку.

Майя пала перед ним на колени, обхватила сапог. Сталин с отвращением освободил ногу.

— Почему тебя выпустили?

— Не знаю...

— Я знаю. Потому, что продалась.

— Нет, нет!

— Каду ведь скушала? Сладкую?

Майя не смогла произнести ни звука. Опустив голову, зарыдала.

— Сегодня када, завтра калагайя, а потом вдруг вспомнишь, что, оказывается, знаешь, где Сталин... В собственном подвале!

— Товарищ Сталин!..

— Я для тебя уже не товарищ Сталин, бывшая комсомолка Майя... Я уж не говорю о том, как ты прогуливалась перед казармой испанских фашистов... Будто кого-то ищет или ожидает сударыня... Нет, и так достаточно. У тебя остался один-единственный выбор. Знаешь, как смыть позор? Исправить ошибку?

Майя кивнула головой. Сталин встал, подтолкнул табуретку ногой поближе к ней и подал веревку. Майя завязала петлю, встала на табурет и только тогда вспомнила, что в потолке нет крюка. Взглянула — крюк был.

«Когда это успели приделать?» — слегка удивилась Майя и накинула петлю на крюк. Потолок в подвале был низкий, и поэтому она стояла на табуретке, слегка склонив голову.

— Ты сама вынесла себе приговор, Майя Цкнетели, молодец, — сказал Сталин, — и знай: советский народ непобедим, потому что в каждом подвале сидит Сталин!

Иосиф Виссарионович пригладил усы, усмехнулся, проговорил:

— «Коба магариа»!²

И легонько пнул табурет.

¹ Када — круглый пирог с начинкой.

² «Коба магариа»! (груз.) — «Коба крутой» — аллюзия на слоган Михаила Саакашвили «Миша магариа». Коба — партийная кличка Сталина. «Магариа» по-грузински — твердый, сильный, крутой.

*Харакири иверского самурая
(из цикла «Хроники параллельной Грузии»)*

Посвящается Юкио Мисиме

Бонсай зацвел в неурочное время — в августе, в полночь.

Женщина проснулась от смутного, непонятного ощущения, приподнялась, опираясь на правый локоть, кинула взгляд на пустую постель рядом с собой и беззвучно вскрикнула: почудилось, что видит силуэт мужа... но это была всего лишь игра лунных бликов — ничего более.

Женщина встала, подошла к окну в одной ночной сорочке, взглянула на луну — луна показалась ей неправдоподобно огромной, холодной и скользкой. Лунное сияние резало глаз, будто коготь дикой кошки. Стояло лето, но казалось, что изморось покрыла все и вся: землю, гору, дома и пол — так все искрилось, серебрилось.

Впервые в жизни от красоты застыла кровь в жилах.

Город отливала мертвенным светом. Строжайшим приказом он был затемнен, даже мельчайшего огонька не было видно.

Женщина взглянула на бонсай — он стоял на подоконнике. Крохотные листья образовали единую темнозеленую массу — как будто сварили шпинат, отжали и посыпали сахарным песком. Она удивилась — не ожидала, что у эбенового дерева может быть столько цветов. Бонсай у нее зацвел впервые.

Женщине почему-то припомнились последние слова мужа, которые он прошептал ей на ухо при прощании:

— Помни, точило в шкатулке, на столе.

Женщина обернулась, сделала несколько шагов, отодвинула бамбуковую ширму и вошла в кабинет мужа. Не зажигая света — луна сияла как зенитный прожектор, она открыла крышку древней шкатулки, выточенной из кости гиппопотама и вынула точило.

Вернулась обратно в спальню.

В углу стоял ковчежец с приданым, покрытый шелковой тканью; ее отец, потомственный шталмейстер императора, собственной рукой наполнил его всего лишь год назад, когда ее выдали замуж за Командора. Неужели прошел только один-единственный год?

У женщины появилось щемящее, но в то же время светлое чувство, будто без мужа она и не жила вообще. То, что было в ее жизни до замужества, смахивало на сон — пустой, бессмысленный, забытый сон...

Разлуку с мужем она переживала горько, как принцесса Саэхиме.

Женщина слернула с ковчежца белую шелковую ткань с вышитым лотосом, накинула ее на плечи и вынула серебряный ключик, который день и ночь висел у нее на серебряной цепочке, — вынула из ложбинки между еще несозревшими, как бы покрытыми инеем грудями....

Нетвердой рукой вставила ключик в замок — ковчежец открылся со скрипом.

Внутри было темно. Она пошарила рукой, отодвинула свиток «Витязя в тигровой шкуре», переписанный на хирагана, и под набором шахмат, выточенных из клыков морского льва, нашла то, что искала. Вынула кинжал из покрытых бисером ножен, провела пальцем по лезвию — проверила, насколько хорошо заточен. Кинжал показался ей достаточно острым, но она все-таки вынула точило — повела по лезвию так осторожно, будто кинжал был из фарфора, а не из булатной стали.

Вспомнился муж. Было такое ощущение, будто он стоит рядом. Женщина почувствовала, как муж сжал ее руку, и точило само заскользило по лезвию.

Но ведь муж далеко, очень далеко: месяц назад его назначили Командором северного особого укрепленного пограничного района. Это был большой почет, большое признание — в Империи Джорджопонии было всего лишь семь Командоров. Даже правитель западной провинции — принц-нарин — имел всего лишь звание Командора-бригадира...

Женщина горько вздохнула. Да, действительно, это был большой почет, большое признание, большое продвижение по службе, но в то же время тяжкий груз... Мужа назначили Командором в то время, когда орды половцев подступили вплотную, когда все повисло на волоске. Один промах, один проигранный бой, и страна может превратиться в ристалище диких кочевников...

Женщина присела на циновку, подогнув ноги — под окном, в тени бонсай.

Провела точилом по лезвию — еще раз, еще и еще — решительнее, упорнее, с радостью... непонятной, безумной радостью.

Когда рассвело, она не знала. Оказывается, заснула с точилом и кинжалом в руках.

Проснулась от громкого топота. В комнату кто-то ввалился с шумом. Женщина раскрыла глаза, вскрикнула, вскочила. Хотя и подумала, что это сон. Перед ней стоял муж. Высокие кожаные ботинки на толстой подошве и камуфлированная форма были заляпаны грязью. Лицо — серое. Выражение — каменное.

Женщина хотела что-то сказать, но не смогла произнести ни звука.

Муж взглянул ей прямо в глаза. Она все поняла.

— Подай точило, — только и сказал муж.

Молча подала. Муж подошел к окну, вынул кинжал предков, который день и ночь висел у него на груди в ножнах из змеиной кожи и неторопливо заточил. Обернулся и сказал жене:

— Иди сюда.

Женщина сделала шаг. Муж сдернул с ее плеч белую шелковую ткань с вышитым лотосом. Потом снял ночную рубашку. Обнаженную взял на руки и понес, у постели рывком опустился на колени...

Через некоторое время муж встал и вышел в ванную.

Грязная камуфлированная форма и высокие кожаные ботинки на толстой подошве лежали в углу. Жена накинула халат. Взяла и прижала к груди грязную форму — вынесла из комнаты.

Потом в середине комнаты поставила низкий столик. Сама стала накрывать на стол. Слуг нарочно не позвала, все сама делала наспех. В такой момент появление чужого лица было бы абсолютно излишним. Закончив накрывать на стол, растерла тело мокрым полотенцем и надела праздничное, богато украшенное чихтикопмоно¹. Мужа ожидала стоя.

Командор вошел облаченный в парадную, вишневого цвета чоху² с аксельбантами и эполетами. Грудь его украшал орден Девственно чистой Ушба-ямы³ первой степени. Жена низко склонилась перед ним.

¹ Чихтикопмоно — искусственное понятие. Автор объединил два слова: «чихтикопи» — название традиционного грузинского женского головного убора и «кимоно» — традиционного японского женского одеяния.

² Чоха — традиционное грузинское мужское одеяние («черкеска»).

³ Ушба-яма — искусственное понятие. Автор объединил два слова: «Ушба» — название горной вершины в Грузии и «яма» — гора по японски (аллюзия на Фудзи-яму).

Командор сел у столика, подогнув ноги, сказал жене:

— Иди к столу, Мзия.

Жена подошла к столу мелкими шажками, села боком на циновку. На мужа не смотрела, сидела, склонив голову.

Командор развязал бурдюк с вином, вынул пробку, наполнил две чаши, вернул пробку на место, положил бурдюк себе на колени, взял чашу правой рукой, поднял и произнес:

— Все потеряно, кроме чести. Наша кровь — это кровь Дэва¹. Но недочеловеки не могут осквернить честь сверхчеловека. Ни обманом, ни вероломством, ни предательством. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что нас продали. Какой-то подонок провел врага в наш тыл тайной тропой. Бронированная бригада спецназначения оказалась в окружении. Началась паника, солдаты бежали. Я потерял лицо, не смог выполнить долг, не смог остаться навечно на поле брани... Но три божества — Амида, Сэйси и Каннон — ожидают меня в западном раю. Примите душу мою!

Командор сделал глоток, поставил чашу на стол, встал, вынул из ножен свежезаточенный кинжал, тщательно обернул лезвие белой тканью, взял в правую руку, направил острием в живот и начал медленно нажимать...

Жена молча смотрела. На секунду прикрыла глаза, когда кожа разошлась, когда просочилась красная капля.

Командор стиснул зубы — на лбу появилась ложбинка — одним резким движением ввел кинжал до конца. Кровь дэва хлынула ручьем. Скатерть окрасилась в алый цвет.

Бурдюк вмиг опустел.

Командор Зэзва Камкамидзе² вынул кинжал из сникшего бурдюка, снял пропитанную вином ткань, обтер лезвие салфеткой, вернул кинжал в ножны и сказал:

— С сегодняшнего дня, в новой жизни, зови меня Альбертом Илюмжиновым. Новая власть предложила мне пост начальника департамента по управлению коммунальным хозяйством города.

...Жена встала, взяла точило, вошла в кабинет мужа, откинула крышку древней шкатулки, выточенной из кости гиппопотама, и положила точило на место.

Потом подошла к мужу, сидевшему в позе лотоса, встала перед ним на колени и сказала:

— Не имея мудрости змия, не сможешь сменить кожу, аки змий.

И поцеловала мужа в лоб.

Бутунда

(из цикла «Хроники параллельной Грузии»)

В Маньчжурии светает рано. Красное солнце, алее человеческой крови, появляется там и вправду из страны восходящего солнца — свежее и нежное, как младенец, но к тому же напряженное, как спелый гранат, который вот-вот разорвется.

¹ Дэв — сказочный великан. «Кровь дэва» («девис сисхли») — название одного из сортов грузинского красного вина.

² Именами «Зэзва» и «Мзия» грузинские антропологи называли гоминидов, чьи останки (фрагменты черепа) обнаружены в Дманиси (Южная Грузия) при раскопках. Они якобы являются первыми европейцами (Прим. автора).

Унтер-офицер Хоситашвили глядел на солнце исподтишка, хотел взглянуть прямо, но никак не получалось... Солнце поднималось в небо, как огромный воздушный шар — одновременно грузное и грациозное, наподобие влюбленного слона.

«Зачем это мы в Маньчжурии? Что мы тут потеряли? Что? — думал Хоситашвили и от бессилия чуть не скрежетал зубами, покусывал кончики усов — о боже, почему нельзя, чтобы корнет Гедеванишвили и штабс-ротмистр Шервашидзе помирились... вдруг? Почему это один из них должен умереть от руки другого, когда завтра мы все вместе должны идти в бой?»

Дуэль была назначена на 6 утра. Все уже были на месте: дуэлянты, секунданты и врач.

Унтер-офицер Хоситашвили стоял с белым платком в руке — он должен был подать сигнал. Но медлил. Чего ждал, он и сам не понимал. Наверное, чуда.

Только чудо могло помешать дуэли и спасти одного из дуэлянтов. Этот «один», вне всякого сомнения, был корнет Гедеванишвили. Штабс-ротмистр Шервашидзе был кадровым офицером, метким стрелком, а корнет в действительности — «штатской шляпой»: вчерашний приват-доцент, с отличием закончивший Гейдельбергский университет, где и был оставлен для подготовки на чин профессора; ему прочили блестящую научную карьеру, но он внезапно оставил университет, вернулся в Грузию, записался в действующую армию и попросился на фронт.

«Без сомнения, всему виной безответная любовь», — решило светское общество потому, что более правдоподобного объяснения не нашло. Общество сочувственно охало и качало головой, весьма и весьма жалея талантливого, многообещающего молодого человека, Гедевана Гедевановича Гедеванишвили-младшего.

Бывший приват-доцент прошел ускоренную военную подготовку и был зачислен в ударную кавалерийскую бригаду грузинского дворянства.

Опытные кадровые офицеры приняли новоиспеченного корнета с легкой улыбкой, хотя поначалу между ними никакого напряжения или особого трения не наблюдалось. Тем более, что корнет Гедеванишвили многим из них приходился родственником — большинству, правда, дальним родственником, но все-таки.

Одним словом, ничто не предвещало рокового противостояния до той минуты, пока в офицерском собрании не разгорелся спор из-за деревни Бутунда. Дело было так.

Командующий грузинским экспедиционным корпусом генерал Андроникашвили послал на разведку штабс-ротмистра Шервашидзе и корнета Гедеванишвили. От союзника была получена информация, что японцы готовят наступление, начали перегруппировку передовых частей. Ударная кавалерийская бригада грузинского дворянства картами Маньчжурии не располагала, и поэтому генерал Андроникашвили обратился за помощью к русскому экспедиционному корпусу, части которого располагались по соседству. Союзник своевременно оказал помощь. Генерал получил и лично передал штабс-ротмистру Шервашидзе крупномасштабную, трехверстовую карту района, которая еще даже не была утверждена генеральным штабом русской армии.

Офицеры вскочили на коней и поскакали. Долго шли быстрым галопом, но врага не заметили. У первой встречной деревни спешили для рекогносцировки — чтобы определить свое местоположение. Шервашидзе раскрыл карту и с удивлением обнаружил, что деревня называется Бутунда. Нет, конечно, в этом ничего странного не было, странно было то, что соседняя деревня тоже

называлась Бутундой и соседняя соседней тоже. Почти девяносто процентов обозначенных на карте деревень носили одно имя — Бутунда!.. И видимо для того, чтобы как-то их различить, деревни были пронумерованы: Бутунда 1, Бутунда 2, Бутунда 3... Бутунда 12... Бутунда 24...

— Неужели китайцы такие тугодумы?.. Не имеют даже толики воображения и проблеска фантазии, что бы не называть все деревни подряд одним и тем же именем? — озадаченные офицеры вернулись в свою часть, которая стояла в провинциальном, приграничном маньчжурском городке.

Доложили обстановку командующему и отправились в гостиницу «Ориэнт», где было устроено офицерское собрание — офицеры расположенных в городке грузинских частей собирались там, отдыхали, проводили время, пили шампанское, играли в карты...

В зале офицерского собрания корнет Гедеванишвили и штабс-ротмистр Шервашидзе встретили всего лишь четырех человек: штабс-капитана Джандиери, поручика Авалишвили, унтер-офицера Хоситашвили и военного врача Вачнадзе.

Корнет Гедеванишвили и штабс-ротмистр Шервашидзе удобно устроились в кожаных креслах, выпили по бокалу настоящего французского шампанского за здоровье царя Грузии Ираклия III¹ (на маньчжурский фронт прибытие молодого монарха-главнокомандующего ожидалось со дня на день — война, можно сказать, только разгоралась, шел июнь 1904 года) и рассказали про странную Бутунду.

Не успел штабс-ротмистр Шервашидзе закончить рассказ, как штабс-капитан Джандиери, который прежде бывал в Китае в составе военной миссии, разразился гомерическим смехом. Офицеры глядели на него с удивлением. В конце концов чуть сами не рассмеялись, так заразительно хохотал Джандиери.

Штабс-капитан перевел дух, смахнул слезу, сделал секундную паузу и объявил:

— Бутунда по китайски означает «не понимаю».

На этот раз пауза несколько затянулась.

— Что-о?

— «Дундэ» значит «понимаю», а «бу» отрицательная частица. То есть «бундэ» по китайски означает «я не понимаю, что вы спрашиваете!» — объяснил Джандиери.

Корнет Гедеванишвили, поручик Авалишвили, унтер-офицер Хоситашвили и военный врач Вачнадзе не смогли сдержать смех.

Когда они немножко пришли в себя, Джандиери продолжил:

— Все яснее ясного, русский военный топограф заходил в китайскую деревню, спрашивал у первого встречного жителя «как называется эта деревня?», тот отвечал: «бу-дундэ», топограф механически записывал усланное, не вникая, что ему сказали, потом переходил в следующую деревню, где повторялась та же история...²

Корнет Гедеванишвили не дал Джандиери договорить до конца, громко объявил:

— С таким тупоумным союзником вступать в войну — это чистое самоубийство!

¹ Царя Грузии Ираклия III не существовало в природе, это плод фантазии автора.

² Это не выдумка автора. См. книгу Льва Успенского «Имя дома твоего». Очерки по топонимике. М., 1967. С. 210. Или текст книги в интернете: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Uspen_ImDom/index.php

В зале воцарилась тишина. Штабс-ротмистр прокашлялся и весьма сухо заметил:

— Юноша, глупость одного топографа не должно распространять на всю нацию.

— Именно должно распространять и обобщать, господа! — воскликнул Гедеванишвили: — Я уверен, что это произошло не с одним, а со всеми топографами, которые были посланы! Потому что они шовинисты и империалисты!

— Любое большое государство само собой империалистично, — вставил штабс-капитан Джандиери. Тем временем Авалишвили и Вачнадзе затеяли игру в карты.

— Но не у всех одинаково отморозены мозги! — не унимался Гедеванишвили.

— Что вы подразумеваете? — помрачнел Шервашидзе.

— То, что с немцами подобный курьез никогда бы не случился!

— Не случился бы потому, что они страшные педанты, — проговорил Джандиери, отпив глоток шампагского, — немцы десять раз перепроверили бы название деревни, прежде чем записать.

— А что лучше, десять раз перепроверить или ни разу НЕ перепроверить?! — Гедеванишвили почему-то не в меру разволновался, расстегнул верхнюю пуговицу мундира, — русские тупые держиморды! Никого не уважают на этом свете, и в то же время им кажется, будто они должны спасти весь мир! Надо иметь действительно отморозенные мозги, чтобы думать, будто в забытой богом китайской деревне любой житель владеет русским! Читает Пушкина в подлиннике!

— Так предвзято судить о России я считаю недопустимым, господин приват-доцент! — сухо произнес штабс-ротмистр Шервашидзе, — вы, видимо, забываете, что Россия спасла нас от полного физического уничтожения, честно выполняет условия Георгиевского трактата!

— Мм... это действительно так, — неохотно согласился Гедеванишвили, — Георгиевский трактат они выполняют. Но почему, вы не задумывались, господа?

— Почему? — простодушно спросил унтер-офицер Хоситашвили.

— Потому, что так выгоднее России! Если бы они упразднили независимое царство Грузию, то есть официально нас поработили, мы стали бы их кровными врагами, не покорились бы, боролись до конца, а так у них нет более верного и благодарного союзника! Ираклий III почти половину нашей регулярной армии — 19 тысяч офицеров и солдат послал в Маньчжурию! Если на Грузию вдруг нападут, кто ее защитит?!.. Грузин уже не посылает своего сына в грузинскую школу, говорит, что все равно должен отправиться в Россию!

— Неблагодарность — самая большая низость и подлость, — объявил Шервашидзе и закурил папиросу.

— Россия нас погубит, — покачал головой Гедеванишвили.

— Почему погубит? — спросил Хоситашвили. — Каким образом?

— Россия застряла в девятнадцатом веке, у нее нет будущего. В империи революционная ситуация. Войну с Японией Россия начала потому, что думает, одержит легкую победу и этим перекроет недовольство внутри страны, заткнет рот критикам. Но ничего не выйдет! Россия не сможет победить Японию! Япония и Германия — государства будущего, модернизированные, индустриальные, дисциплинированные, военизированные! Первая будет главенствовать а

Азии, вторая — в Европе, а вместе — во всем мире! Россия эту войну проиграет, случится революция, Николая скинут...

— Это... капитулянтство! — жестко, по слогам произнес Шервашидзе и с силой загасил папиросу в пепелнице.

— Когданибудь ведь должны мы, грузины, опомниться? — не унимался Гедеванишвили, — если мы не расстанемся с Россией, то погибнем! Если там и вправду победят революционеры, враз завоюют нас и потом будет, что будет, прольются реки крови! Неужели вы не понимаете, в политике не бывает постоянных друзей, в политике главное — расчет! Наше спасение в Германии! Немецкий гений, боевой дух, любовь к порядку и труду совершат мировое чудо! Вот, кто нас спасет, Германия!

— А разве невозможно, чтобы мы сами себе принадлежали? — простодушно спросил Хоситашвили.

— Маленькому государству все равно нужен покровит..., — начал Гедеванишвили, но Шервашидзе резко его оборвал.

— Наконец-то я понял, зачем прибыл из Германии почтенный приват-доцент и зачем об...корнетился! Платный агент кайзера! Агитат...

Штабс-ротмистр не смог закончить фразу. Корнет взял со стола кожаную перчатку и слегка хлестнул его по щеке.

Шервашидзе вскочил с места, но сразу же взял себя в руки, процедил сквозь зубы:

— К барьеру! Требую сатисфакции!

Джандиери, Авалишвили и Вачнадзе встали между ними. Посовещались и решили — дуэль состоится в шесть часов утра за городом, на лужайке, рядом с мельницей, на берегу реки. Секундантом Шервашидзе будет Джандиери, секундантом Гедеванишвили — Авалишвили. Хоситашвили подаст сигнал. Вачнадзе будет исполнять свои профессиональные обязанности.

В Манчжурии светает рано. Красное солнце, алее человеческой крови, появляется там и вправду из страны восходящего солнца — свежее и нежное, как младенец, но к тому же напряженное, как спелый гранат, который вот-вот разорвется.

Больше тянуть было невозможно. Чуда не случилось. Не было видно ни царя Ираклия III со свитой, ни патруля военной жандармерии, ни японского авангарда.

Хоситашвили взмахнул белым платком. Пистолеты прогремели одновременно. С дерева взлетела стая ворон, недовольно закаркав.

Оба дуэлянта лежали на земле. Гедеванишвили навзничь, Шервашидзе — лицом в землю. Доктор сперва подбежал к корнету, потом к штабс-ротмистру, а потом повернулся к секундантам, произнес односложно:

— Обоих прямо в сердце.

Долго стояли молча.

В конце концов Джандиери проговорил:

— Может, было бы лучше, если б Россия в свое время нарушила трактат и поработила нас. Мы бы точно знали, Россия — наш враг, и здесь нас не было бы... здесь, на чужой войне.

— Не было бы? — Как эхо, отозвался унтер-офицер Хоситашвили и взглянул прямо на алое солнце, встававшее со стороны страны восходящего солнца.

Мелистая рапсодия

«Мтели» — волк.
Грузино-русский словарь

В редакции нашего журнала ОН объявился в конце марта. Осторожно приоткрыл дверь кабинета, переступил через порог, кашлянул и... замер. Гляжу — очкарик, но только какой-то бугристо-мускулистый... Был у русских такой штангист-интеллектуал Власов — вот его-то он мне и напомнил...

Смотрит на меня как бы сконфуженно... «Противоречивый тип», — промелькнуло у в голове.... Уж как-то очень простодушно, по-детски озабоченное выражение его лица никак не гармонировало с туго надутыми бицепсами-трицепсами — на дворе было тепло, почти как летом, и одет был он в майку с короткими рукавами, неестественно белоснежную, безо всяких надписей или рисунков...

— Слушаю? — спрашиваю немножко резче обычного. Дело в том, что у нас в редакции был форменный аврал, когда ум за разум зашкаливает. Вообще-то, в конце каждого месяца у нас горячка, но в тот раз творилось что-то несусветное, половина материала еще не была сверстана, а другая половина вообще ждала первой читки...

— Извините... прошу... прощения... это... вы... главный... редактор... журнала... «Престиж»? — заговорил он с ужасными, какими-то неестественными паузами, от которых нервы через полминуты начинают рваться, как струны на гитаре Джимми Хендрикса.

— Я! Слушаю вас!

— Вот... если... можно... посмотрите... может... напечатаете?

И протягивает мне тщательно сложенные листочки. Я уже собрался было ответить, как всегда: «Посмотрим. Позвоните через две недели», — но вместо этого почему-то разложил листки перед собой и начал читать. Всего-то три листочка...

Пробежал глазами и уже собираюсь сказать: «К сожалению, не подойдет», — как вдруг, не знаю почему, открываю ящик письменного стола, кладу туда листки и говорю:

— Посмотрим, если останется место, может, и пустим в номер...

— Только... если можно... сейчас же... в апреле... напечатайте!

— Понятно, батона, — говорю весьма учтиво, но таким тоном, что ему сразу же стало ясно, разговор окончен. Кивнув мне головой, он попятился, оступился, чуть не упал и не то что вышел, а как-то вывалился из комнаты. Что-то подобное я видел в старой кинохронике: дредноут сходит со стапелей...

«Да-с... — подумал я, — ну и ну...»

Вид у нашего доморощенного «Власова» был, мягко говоря, своеобразный — массивный, как финский холодильник, и в то же время неустойчивый, как плетеное бамбуковое кресло... И к тому же с выражением лица ребенка, запертого в темной кладовке не за что — с целью профилактики, то есть благовоспитания...

Короче говоря, напечатал я его... опус. Хотя, конечно, печатать не стоило. Но материала в номер было — кот наплакал... только фотографиями выворачиваться тоже не хотелось... И ко всему — могло сойти за первоапрельскую шутку... Хотя в то же время я чувствовал — для читателей нашего журнала эта

шутка может оказаться слишком сложной для восприятия. И многие, наверное, поверят. То есть купятся, попадут впросак. Ну, а редактор, который допускает, хотя бы теоретически, что его читатели (к тому же «престижные»!) из-за его дурацкой хохмы сядут в лужу, далеко не пойдет. А точнее, и шагу не сделает. Одним словом, если б не форс-мажор... Хотя, какой смысл после драки... посыпать голову пеплом?!

Вот, что было напечатано на трех тщательно сложенных листочках.

«ЖУЖУНА ЦВИМА МОВИДА»¹ ... В ГОЛЛИВУДЕ!

1 апреля 2004 года в нескольких городах Америки — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго — одновременно прошел премьерный показ нового художественного фильма под названием «Жужуна цвима мовида». Как ни трудно в это поверить, эти три грузинских слова являются названием фильма, но они не переведены на английский язык, а так прямо и написаны латинскими буквами!

Пройдет порядочно времени, пока копия фильма (конечно же, контрабандная) дойдет до нас, а читателей, вне всякого сомнения, снедает любопытство — почему новый голливудский блокбастер назван словами грузинской песенки? Кто режиссер? Кто автор сценария? Кто играет главные роли? И, в конце концов, о чем он, собственно?

Мы оперативно связались с нашим внештатным корреспондентом в Соединенных Штатах Марвином Георгадзе и попросили его рассказать о фильме:

«Киносенсация года!», «Незабываемое впечатление!», «Самый реальный претендент на премию Оскар!», «Удивительно голливудский и поразительно неголивудский фильм!» — эти и подобные заголовки украшают первые страницы популярных американских таблоидов, которые освещают выход этого и впрямь неординарного фильма...

Восторженная реакция массового зрителя, а также большинства журналистов, и немножко более сдержанная оценка кинокритиков все-таки в основном совпадают, хотя парадоксом выглядят высказывания некоторых маститых экспертов, например, ведущего специалиста Киноакадемии Джорджа О'Гвэхэра, что, мол, массовому зрителю этот фильм не должен нравиться вообще, так как он слишком интеллектуален и эстетизированно рафинирован, но, мол, из-за того, что «фильм целиком и полностью вписывается в каноны Голливуда, зритель уже не догадывается, что это скорее тонкая пародия на голливудские штампы и клише, чем подлинный «Голливуд»...

Не буду продолжать цитировать экспертов, так как читателя, конечно же, интересует сам фильм, а не «высокомудрые» высказывания о нем...

Автор сценария — Арчибальд Вачнадзе, наш соотечественник, живущий в Соединенных Штатах, режиссер — Майкл Зен Майоровиц, в главных ролях — Джеймс Харрис, Джеффри Сноудон, Стив Милорадович, Виктория Дягилева... Фильм снят студией «Метро-Гудвин-Мейлер».

В начальных кадрах фильма мускулистый, как культурист-профи, но весьма интеллектуального вида очкастый молодой человек лет тридцати в маленькой комнатухе, забитой бумагами, книгами и кустарного вида научными приборами, молча, пристально глядит в глаза собаке, огромной кавказской овчарке, как будто что-то хочет мысленно ей передать, внушить. Потом на

¹ «Жужуна цвима мовида» (груз.) — «Полил весенний дождичек». Название грузинской народной песенки.

голове пса укрепляет тонкие проводочки, электроды. Из прибора-самописца, жужжа, начинает выползать бумажная лента, на ней появляется зигзагообразная кривая...

Выясняется, что действие происходит в Кавказской Джорджии, то есть в Грузии. Главный герой фильма Иосиф Джугадзе (кстати, у исполнителя этой роли Джеймса Харриса мать, оказывается, — этническая грузинка, княжна Андроникашвили), молодой биофизик, который экспериментально изучает феномен телепатии (у него у самого сильные экстрасенсорные способности). К тому же он, оказывается, изобрел прибор, который измеряет интенсивность психического излучения, но это не просто электромагнитная активность мозга, а совершенно неизвестные «пси»-волны. Ученый мир не спешит признавать это эпохальное открытие, так как оно переворачивает традиционные взгляды с ног на голову...

Кавказская овчарка Иосифа по имени Бомбора устанавливает с ним телепатический контакт и сообщает: человечество стоит перед страшной угрозой: где-то в Сибири, за Уральскими горами, в тайге, волки претерпели мутацию, приобрели способность излучать смертоносные психические волны и вскоре собираются перейти в атаку... Их могут остановить только настоящие кавказские овчарки и люди с сильными паранормальными способностями.

Волки-мутанты (которые к тому же размножаются с необыкновенной быстротой) излучают волну, которая вызывает у людей паралич. Один-единственный способ защиты — надо постоянно повторять в уме фразу или мелодию такой частоты, которая отражает смертельное излучение, обеспечивает психическую блокаду... Иосиф и Бомбора проводят эксперименты и выясняют: для этой цели идеально подходит песенка «Жужуна цвима мовида»...

Не буду продолжать детальное изложение сюжета, так как это заняло бы слишком много места (продолжительность фильма — 3,5 часа), скажу самое важное: Иосиф Джугадзе и Бомбора отправляются в Сибирь спасать человечество. По дороге их ждет множество приключений. На берегу Баренцева моря они встречают капитана американской атомной подводной лодки (Джеффри Сноудон), который от своей овчарки также узнал об опасности, грозящей человечеству. Капитан сначала, конечно, не поверил, но овчарка смогла его убедить, и он, так сказать, «угнал» свою субмарину (правда, с помощью собственного экипажа, который безоговорочно доверяет ему) и спешит к Уралу. К грузинскому ученому и американскому капитану вскоре присоединяются двое русских: полковник Федеральной Службы Безопасности (Стив Молорадович), который узнал об угрозе человечеству от собственной овчарки, и полусумасшедшая девушка (эту роль исполняет восходящая русская кинозвезда, прелестная Виктория Дягилева), у которой всю семью загрызли волки и у которой окажется сильнейший телепатический дар (во время нападения волков на ее деревню она была в беспамятстве из-за сильного жара, и волки-телепаты ее просто не «учуяли»).

Пока четыре человека и три овчарки достигнут логова матерого предводителя волков-мутантов (который готовит и направляет нашествие) и пока произойдет последний, решающий бой, зритель становится свидетелем множества увлекательных — увлекательных, опасных и даже просто ужасающих — приключений... В том числе и любовных...

Тут же хочется отметить прекрасную игру актеров и, что более удивительно, необыкновенные исполнительские способности собак и их поразительную смысленность — лично у меня осталось впечатление, что они действительно читают мысли...

Особенно впечатляют масштабные кадры последнего, сюрреалистически-психодельческого боя с волками (художник фильма — Лаура Дали, внучка всемирно известного Сальвадора Дали).

А для грузинского зрителя особенно трогательным будет, наверное, услышать мелодию «Жужуна цвима», которая в фильме играет роль фона, или же, скорее, рефрена (Иосиф Джугадзе научил этой песенке своих новых друзей, и людей, и псов, и они напевают ее про себя без устали...)

Одним словом, в Голливуде неожиданно прошел прекрасный «весенний дождичек»...

Не надо и говорить — абсолютно дурацкая мистификация. Но почему-то я напечатал этот текст... себе на горе.

Как только номер вышел в продажу — седьмого апреля — начались звонки... Телефон словно взбесился, звонок не умолкал ни на секунду, звонили рядовые читатели и депутаты, кинокритики(!) и журналисты, знакомые и незнакомые... Срочно требовали дополнительную информацию, спрашивали, когда мы опубликуем снимки актеров, кадры из кинофильма (материал мы проиллюстрировали снимками одной кавказской овчарки и одного матерого волка), спрашивали телефоны и имейлы Арчибальда Вачнадзе и Иосифа Джугадзе (странно, даже нарочитая искусственность фамилии последнего не вызывала у читателей никакого подозрения). Короче, когда мне сказали, что звонят из министерства культуры, я собственноручно отключил все телефоны редакции и личный мобильник...

Отключил и вздохнул свободно, но оказалось, что это было всего лишь началом...

Но что же могло начаться такого особенного? — спросите вы, — через два-три дня никто бы и не вспомнил про этот ваш несуществующий фильм и глупую публикацию... Честно говоря, я думал точно так же, но...

«Власов» объявился у нас в редакции на третий день после выхода журнала. «Не терпится получить гонорар» — подумал я чисто механически. Так всегда бывает с новыми, неопытными авторами. Они думают, что гонорар выдается на другой же день, и когда скажешь: «Позвоните через месяц в бухгалтерию, может, и будет уже ваш гонорар», принимают такой вид, словно ты им нанес личное оскорбление...

Он осторожно приоткрыл дверь, протиснулся боком, как будто боясь, что с его габаритами может нечаянно свалить полки, стоящие у стен (а кабинет у меня и вправду крошечный), и говорит:

— Прошу... прощения... извините... но я... получил... имейл.

— Имейл? Какой еще имейл? — честно говоря, я очень удивился, когда он не спросил про гонорар. И вдруг я осознал: не помню ни его имени, ни фамилии. В конце тщательно сложенных листочков, кажется, что-то было приписано, но я, честно говоря, не обратил особого внимания...

А он стоит и смотрит на меня. Молчит как-то уж слишком концентрированно, как штангист перед рывком, только не совсем понятно, кто должен взять этот самый рывок — он или, может быть, я? И к тому же качается еле заметно, как бы колышется...

— Какой имейл, от кого?! — повторяю резко, может, как-нибудь ускорю ответ.

— От... Арчибальда... Вачнадзе.

Я рассмеялся.

— Может и от Иосифа Джугадзе тоже? — спрашиваю с дружеской улыбкой.

— Нет... Иосиф... это... я... — ответив, он вдруг повесил голову, как нашкодивший мальчуган, мне его даже почти стало жалко, — Я Иосиф... но Бугадзе... а не Ждугадзе,.. Сосо Бугадзе...

— Ну и что пишет ваш дорогой Арчибальд? — спрашиваю с плохо скрытой иронией.

«Власов» ничего не ответил. Но по выражению его лица я понял, что моя ирония кольнула его прямо в сердце и даже не булавкой, а настоящим портняжным шилом отца Иосифа Виссарионовича.... Я уже было подумал, сейчас он повернется и выйдет из комнаты, но он вдруг как бухнет:

— Я это... видел во сне!

— Во сне? Что?!

— Это кино!.. Только я сам в нем участвовал. Я был главным героем!

Впервые произнес фразу почти без пауз. Потом замолк секунды на три и вдруг спрашивает:

— Кто написал «Мглистую рапсодию», не знаете?

— Не слыхал про такую... — отвечаю, а сам думаю, — ну ты того, братец! Раньше мне почему-то и в голову не приходило, что, может, просто винтиков не хватает у нашего «Власова»... Наверное, потому и не приходило в голову, что на тронутого он не очень-то смахивал — глаза за очками в тонкой металлической оправе (как у Леннона) были смирные-смирные... деликатные... почти по венецианскому-французскому-американскому-русскому-... деликатные...

Смотрел я на него, смотрел и вдруг предложил сесть, сделал жест рукой, указав на стул, — до этого самого момента он безропотно стоял и... колыхался... «Власов» тяжело опустился (стул аж крикнул) и молвил вполголоса, как бы извиняясь:

— Вестибулярный аппарат... у меня... разладился... после... травмы... после... операции, — и левой рукой медленно погладил собственный затылок.

Опять начал говорить паузами. «Ты, генацвале, оказывается, башкой тронутый, ну и сказал бы это с самого начала», — подумал я про себя.

— А потом... я... во сне... увидел еще.. ваш... журнал... где уже... была... напечатана... эта... информация.

— Вы во сне видели ту заметку, что принесли мне?!

— Да, — совершенно серьезно отвечает, — во сне... я... запомнил... а когда... проснулся,.. записал... и... принес вам.

— Очень, очень хорошо поступили... — говорю таким наисладчайшим голосом, каким разговаривают с буйнопомешанными, лишь бы случайно не вывести из равновесия.

Но видимо я переборщил — он все понял.

— Ах, так... значит... вы мне... не верите... нет, нет и нет?! — произнес почему-то почти патетически и встал резко, рывком.

Я малость растерялся, думаю: «Он что... роль играет? Или же просто издевается надо мной?! Или?!..»

Он сам как будто верил в то, что говорил... Или же он должен быть очень и очень искусным актером... Хотя на актера он вообще не походил, ни на талантливого, ни на бездарного, ни на какого...

— Вы слышали... о... параллельных мирах? — вдруг спрашивает меня серьезным тоном, вполголоса, деловито. Опять присел на стул, видимо, чуть-чуть успокоился.

«Нет, кажется, он не буйный, слава богу», — вздохнул я с облегчением и говорю:

— Слышал. Ну и что?

— А может... существует... параллельный мир... где действительно... сняли... фильм «Жужуна цвима»?!

Спросил — и осматривается вокруг, как будто проверяет, не подслушивает ли кто. В кабинете никого не было, кроме нас двоих. Да и вряд ли поместился бы.

— Если даже и сняли, мы все равно об этом никогда не узнаем, а то какой же тогда это параллельный мир?! — говорю ему несколько резковато. Первая растерянность у меня прошла, и я почувствовал сильное раздражение. Надоело, в конце концов.

— Но... ведь... возможно... параллельные... пересеклись... где-нибудь... в пространстве... в бесконечности?! — спрашивает и смотрит умоляюще мне в глаза, как маленький мальчик, который просит не запирать его в темную кладовку.

«Ну-у, братец, ты даешь...» — думаю.

— Нет, не пересеклись они! Это невозможно! — отрубил я таким тоном, словно захлопнул дверь кладовки, — и... всего хорошего!

— Всего хорошего, батоно, — проговорил он неожиданно быстро, кротко и печально, бросил какую-то бумажку мне на стол, повернулся и вышел. Я хотел спросить, что это, глянул на бумажку, но когда поднял голову, в кабинете его уже не было... Ну не стал бы я гнаться за ним?

Смотрю, оказывается, это имейл:

«СОСО! ТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ПУБЛИКОВАТЬ СВОЙ СОН. ЭТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВАШ ТЕМПОРАЛЬНЫЙ КОНТИНУУМ. И ВСЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В РЕАЛЕ. ТОЛЬКО ПО ИНОМУ, ЧЕМ В КИНО. НО КАК КОНКРЕТНО? БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ЖУЖУНА ЦВИМА ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ПОМОЖЕТ. ТОЛЬКО МГЛИСТАЯ РАПСОДИЯ. АРЧИБАЛЬД ВАЧНАДЗЕ»

Я скомкал бумажку и бросил в пластмассовое ведро, что стояло в углу, промахнулся. Подумал: «Как будто мало мне забот, еще и этот бред читать!»

Но, оказывается, заботы только начинались...

Прошло три дня, и звонит мне наш патрон (то есть владелец журнала) и говорит ужасным официально-ледяным тоном:

— Ты допустил ошибку. Этот материал не следовало печатать.

— Какой? — уточняю на всякий случай, хотя и точно знаю, что он подразумевает.

— Жужуну. Сейчас я в аэропорту, лечу в Женеву. Остановите журнал...

— Но почему?!

— Он очень разозлился...

— Кто?!

— Он! Сам!.. Он почему-то поверил в то, что ты напечатал, и приказал нашему послу в Соединенных Штатах разыскать этого типа...

— Арчибальда Вачнадзе?

— Да. И очень-очень разозлился, когда его не нашли...

«Если хотите, я могу дать ему имейл Арчибальда», — чуть было не ляпнул я, но вовремя прикусил язык.

— А потом ему умник-референт объяснил, что это вообще-то шутка... Первоапрельская, для дураков... И он разозлился еще больше. Короче, можешь искать новую работу...

И отключил мобильник.

«Вот тебе, бабушка, Иосифов день», — подумал я, вынул из сейфа початую бутылку «Перцовки» и оставшиеся на дне граммов сто пятьдесят вылил себе прямо в глотку. Я еще держал бутылку, когда «Власов» вошел в кабинет без стука. Нет, не вошел, а — ворвался.

В руке у него была «Независимая газета», которой он размахивал, как матрос-сигнальщик флажками.

— Вот, смотрите! — кричит.

— Что?!

— В Сибири волки загрызли всю деревню!

Смотрю в газету. Действительно, маленькая заметка со множеством вопросительных знаков.

— Ну и что? — спрашиваю с улыбкой. Перцовка уже начала действовать.

— Как это — что?! — моя беспечность его явно поразила. — Если мы их не остановим... они и сюда придут!

— Ну конечно, конечно, прибегут... трусцой! — говорю и начинаю укладывать в сумку свои мелочи.

— Как вы не понимаете?! Человечество гибнет!

— Насчет человечества не знаю, а я вот и вправду погиб!

— Как так?!

— Из-за вас! Из-за вашей идиотской мистификации! Меня освободили! Выгнали с работы!

Он растерялся, на секунду замер, а потом говорит:

— Я очень сожалею, но что такое... эта ваша служба...этот ваш журнал по сравнению... с судьбой человечества.. с его будущим?!

— Что?!.. Мглистая рапсодия, вот что! — ляпнул я первое, что подвернулось на язык.

— Кто ее написал?! Умоляю, помогите найти!.. Мглистую рапсодию! Может... вы знаете кого-нибудь в консерватории?

— Знаю в театре музыкальной комедии лично второго заместителя третьего помощника бутафора.

«Власов» глянул на меня, заморгал, дважды потер затылок левой рукой и вышел из комнаты.

Больше я его не видел.

* * *

Вчера ночью меня разбудил протяжный вой... Я лежал в темноте, раскрыв глаза, и пытался определить, во сне это или наяву... Лежал долго, почему-то мне вспомнился Маугли, я лежал и думал: «Из-за чего это волки его полюбили? Потому, что он был маленький? Беспомощный?» Потом я рассмеялся над собой — мне пятьдесят лет, и все равно беспомощный, как малое дитя, только вот волки этого, наверное, не понимают...

Рассвело. Вой больше не повторялся, но вдруг я услышал странный звук — шхрр... шхррр...

Встал, раскрыл окно и выглянул. Оказывается, дворник метет улицу ни свет ни заря...

Неожиданно боковым зрением я заметил какое-то приземистое, серое существо, которое кралось, прижимаясь к стене, — как разведчик. Оно было довольно далеко от меня.

«Наверное, бездомная собака», — подумал я. Серое существо медленно приближалось к дворнику, но усатый старик-курд ничего не замечал, мел и мел себе... Вдруг мне захотелось его предупредить, позвать, крикнуть, но что я мог ему сказать? И промолчал...

Довольно много времени прошло, пока серое животное приблизилось к дворнику, который, наконец, что-то почувствовал, обернулся, замахнулся своей длиннющей метлой и... застыл. Как изваяние. С высоко поднятой метлой. Так он стоял секунд десять, а потом упал. Рухнул он как-то странно, так грохнулся бы манекен, а не человек. Рухнул, не меняя позы...

Пока я дозвонился в скорую, пока оделся и вооружился самым большим кухонным ножом, прошло, наверное, минут пятнадцать-двадцать...

Рядом с упавшим стариком-дворником стояли две женщины, тоже курды, дворничихи. Они лили воду из пластиковой бутылки на голову старика, видимо пытаясь привести его в чувство, но безуспешно. Серой собаки не было видно. Мне стало стыдно из-за моего кухонного ножа... Поспешно спрятав его за спиной, спрашиваю:

— Что с ним?

— Инфаркт миокарда, — отвечает та, что помоложе, тоном опытного профессора.

Я молча повернулся и побрел домой.

* * *

Сейчас, когда я пишу эти строки, три часа ночи. Темень.

Слышен протяжный вой... но ведь бездомные собаки тоже воют иногда?

Анна Каландадзе

(1924—2008)

Перевод Аллы Ахундовой



Шла горами Нино

Синь вершин молоком облаков обволакивал ветер,
И когда уже розы в долине алели,
Снег лежал на горах Джавахети,
А в лесах ураганы ревели.
Ветер гнал облака, проклинал — и они на ветру обгорали.
Обыскал Параванское озеро в поисках гостыи незваной.
Шла горами Нино, шла горами,
Крест лозы, крест тяжелый несла, крест желанный.
Чужестранкой дивилась она на снега... И закралась тревога:
Снег в горах не лежит, если роза в садах заалела...
Пастуха вопрошала: Которая в Картли дорога?
И пастух отвечал ей: Любая — ведь ты в Сакартвело!
Вдруг устала... И только уснула в саду придорожном
Только пшат своей тенью укрыть ее низко нагнулся,
Как предстал перед путницей нашей,
Но кто же предстал ей, но кто же?
— Не страшись! — ей сказал... И это был глас Иисуса.
Пробудилась... Кольнула тоска по родным, по единым на свете
Но великую веру имела, и листья лозы зеленели.
Снег лежал на горах Джавахети,
А в лесах ураганы ревели...

1945

«ДН», 2009, № 11

Борис Мессерер

Дружбу нельзя предать

Вспоминая время начала нашего общего жизненного пути с Беллой, могу сказать, что первым впечатлением для меня было то, как самоотверженно она «уходила в ночное», просиживая многие часы при лампе под абажуром и вставая из-за стола уже при свете утреннего солнца. Я видел, с каким упорством и с какой затратой сил она занималась переводами с грузинского языка.

Еще не до конца поняв характер Беллы, не осознавая меры ее приверженности Грузии и не будучи в знакомстве с грузинскими поэтами, я спрашивал:

— Белла, объясни, пожалуйста, почему ты так много сил отдаешь переводам с грузинского? Вот, например, Иосиф Бродский и Андрей Сергеев переводят англоязычных поэтов. Всем известны имена великих поэтов Франции — Бодлера, Рембо, Аполлинера. Их переводили многие замечательные поэты, например Вильгельм Левик. Женя Солонович переводит итальянцев. Откуда такой интерес именно к Грузии? Не сужаешь ли ты свой кругозор, замыкая его на грузинских авторах?

И лишь по ходу жизни я получил ответ на собственные вопросы. С течением времени я понял, что Беллой руководит подлинная любовь к грузинскому народу, к его культуре, к грузинским обычаям и нравам, к способу времяпрепровождения.

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградная сладость,
осенившая уста.

Ни о чём я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой...

И так было на самом деле. Я испытал это на самом себе. Дело в том, что я бывал в Грузии до встречи с Беллой, и у меня было много своих впечатлений, и они во многом совпадали с впечатлениями Беллы, но, конечно, я не мог себе представить меры поклонения грузин Белле. Они буквально обожествляли ее образ. Я понял это, только когда впервые попал в Тбилиси вместе с Беллой. Тогда же я узнал лучших грузинских писателей — ближайших друзей Беллы, которые тоже стали моими друзьями. Это было вхождение в самую сокровенную среду грузинской элиты.

Лучшие люди Грузии преклонялись перед Беллой и лучшие семьи в Тбилиси звали нас к себе, стараясь приветить и угостить самым широким способом. Все двери открывались для нас. И мы бесконечно отзывались на эти приглашения. Конечно, мне по началу было трудно привыкнуть к такой мере любви, выражавшейся в высокопарных тостах, но вскоре я стал тонко разбираться в той степени искренности, с которой они говорились. И я быстро подружился со многими замечательными поэтами, проводившими время вместе с нами. Я понял, что такую дружбу нельзя предать, а необходимо ей соответствовать, необходимо ей отслужить.

Уже после первого совместного пребывания в Тбилиси я больше не задавал Белле вопросов о ее преданности переводам с грузинского. Я уже сам попал под влияние возникших дружб и всеми силами старался принимать приезжавших из Грузии гостей максимально широко. Моя мастерская стала оплотом грузинской диаспоры Москвы и «перевальным» пунктом гостей из Тбилиси. Все дороги грузинских литераторов и художников, приезжавших из Грузии, проходили через пространство мастерской, и всем гостям я старался оказывать гостеприимство, подобное оказанному нам.

Белла рассказывала:

Я же проводила там довольно много времени, когда меня здесь отовсюду как-то изгнали, то грузины защищали каким-то образом. Каким? Ну, вот они печатали в то время в Грузии. Например, откуда «Сказка о дожде» была известна все время? А напечатана была в «Литературной Грузии» впервые, как и поэма о Пастернаке. Гия Маргвелашвили старался и приучил Златкина Марка Израилевича, директора издательства «Мерани». Гия столько труда положил на это, Боже мой!

Я очень много вчитывалась в грузинский текст. И знала некоторые фрагменты той же «Мери» дословно. Но я знала, что дело не в дословности, а в том, чтобы по-русски это звучало. Если вы хотите, чтобы это по-русски поняли, поняли, что он гений.

Ну поэты поняли это довольно быстро, и братья Чиладзе, и Симон Чиковани — все они поняли: «Она правильно идет, правильно делает! Она хочет, чтобы это звучало по-русски!»

Белла действительно очень хотела донести до российского читателя грузинскую поэзию и сдалать ее нашим всеобщим достоянием.

В русской литературе существуют замечательные переводы с грузинского, сделанные Борисом Леонидовичем Пастернаком. Константин Бальмонт переводил «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. (Белла всегда мечтала перевести письмо Нестан-Дареджан из этой поэмы, но так и не смогла это осуществить!) Над переводами с грузинского трудились Николай Заболоцкий и Арсений Тарковский....

Грузинская речь настолько занимала мысли и чувства Беллы, что становилась для нее родной и не прекращала восхищать ее красотой звучания, очаровывала и не отпускала.

Ни с одной чуждой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в приволье долгого «И». Как мучилась я из-за этой не данной мне музыки — мне не было спасенья в замкнутости, потому что вода, лившаяся из-под крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.

Андрей Битов сказал о ее труде переводчика: «Она переводила с любви, а не с подстрочника».

Список имен переводимых Беллой поэтов впечатляет:

Николаз Бараташвили, Галактион Табидзе, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани, Карло Каладзе, Ираклий Абашидзе, Григол Абашидзе, Иосиф Нонешвили, Анна Каландадзе, Арчил Сулакаури, Михаил Квливидзе, Тамаз Чиладзе, Отар Чиладзе, Морис Поцхишвили, Иза Орджоникидзе, Отар Челидзе.

Передо мной на столе лежит прекрасная книга «Поэзия народов Кавказа в переводах Беллы Ахмадулиной» как памятник ее выдающемуся художественному подвигу.

Наталья Соколовская

Зеркалка

Посвящается Анаиде Николаевне Беставашвили,
переводчику, моему педагогу в Литинституте, человеку,
без которого не было бы *моей* Грузии.

Март 2015 года
(Из переписки в FB)

С.: Наташ, обложка мне нравится...

Я: Вот только никак не могу понять, с какой точки снято¹ ... Что-то меня в этом снимке беспокоит. Белый на горе — это Пантеон? Ракурс странный... тебе не кажется?

С.: Сейчас гляну еще раз. ...Ната, хорошо, что спросила! Сейчас я внимательно посмотрел, одно могу сказать, они дают фрагмент, но он идет в зеркальном отражении, если еще не поздно, надо перевернуть, попроси выслать тебе оригинал снимка. Пантеона там нет вообще.

Я: А то я смотрю и не узнаю!!! А что это? Что там за церковь белая? Это точно зеркалка? Это из интернета фотография!!!

С.: Я отыскал снимок, сейчас прикреплю.

Я: Да, это тот же снимок... Почему ты решил, что зеркалка?

С.: Слева крайняя церковь — Сиони, здания на переднем плане были снесены, поэтому одно из них, удивительно похожее на Караван-сарай, меня и напрягло. Справа от Сиони — Норашен, выше, на склоне Сололакского хребта, церкви в нагорной части города.

Я: А там вроде сверху Нарикала? А где Кура, черт возьми?)))

С.: Не паникуй. Кура есть, там водовозы стоят на берегу... Я еще раз проанализировал, и вот что меня напрягает... Нет на своем месте Нарикалы...

Я: Еще не легче...

С.: ...и грузинская церквушка у Норашена стоит зеркально. Позвони дизайнеру, попроси сделать зеркальное отображение этой картинки и перебрось.

Я: Она спит уже! А у меня нет этой программы! ...Господи, что ж это такое... О! Саша, а ты приставь зеркало к монитору и посмотри!

С.: Умничка! ...Посмотрел, я прав, это зеркалка, теперь ты приложи зеркало и сразу все узнаешь. В интернете фото выложено в зеркальном отражении.

Я: Приложила... Это Пески? А напротив Сиони? А где Кура и что там за белая церковь???

¹ Речь идет о старинной фотографии на обложке книги Г.М.Цуриковой «Тициан Табидзе: жизнь и поэзия». Вышла в марте 2015 года в петербургском издательстве «Росток».

«С.» — Александр Сватиков, главный редактор журнала «Русский клуб», хранитель Дома-музея Смирновых, мой друг и безотказный консультант.

С.: Крыши на переднем плане — это дома на Песках. Куры там маленький кусочек, на берегу водовозы. Приложи зеркало, и все встанет на свои места.

Я: А белая церковь на возвышении — это что? А!!! Справа теперь Сиони, так? Куру теперь вижу! Мелкая, и без набережной. Но подтверди: я правильно поняла: Сиони справа. Тогда все сложилось.

С.: Направо переходит Сиони, за ним — армянская церковь Норашен, рядом купол небольшой грузинской церкви, что на Леселидзе, горный кряж заканчивается Нарикалой, которая не попала в кадр, на берегу рядом с Сиони здание Караван-сарая с колоннами. Выше на горе большая белая церковь — это Верхняя Вифлеемская церковь.

Я: Музыка какая)) Говори, Саша, говори))...

С.: ...Наташ, я в альбоме нашел панораму с этим видом, сейчас сфотографирую для тебя, и все встанет на место... Переснял, сейчас перешлю. ...Вот, шлю. Удалось найти практически тот же ракурс, и сразу глаз успокоился.

Я: Слава богу... Хорошо, что в последний момент заподозрила неладное... Спасибо!

С.: Служу культурным связям)))

...Никогда не забуду это паническое чувство: на фотографии знакомая, казалось бы, местность при внимательном рассмотрении вдруг перестала узнаваться, наводя ужас почти экзистенциальный именно похожестью отдельных деталей, не складывающихся в целое...

Однако — история с зеркальной фотографией и сама по себе оказалась зеркалкой. Паника в ночь накануне сдачи книги в типографию была ровно тем чувством, которое накрывало меня в середине девяностых. «Синдром Соляриса» — вот как я это для себя тогда назвала: тоска по Тбилиси материализовалась в моих «снах о Грузии». Почему-то я оказывалась чаще всего именно посередине улицы Леселидзе, выше грузинской церкви, но не доходя до стоматологической поликлиники (конструктивистское здание которой сейчас разобрано)... Это было то самое место, которое угадывалось внутри зеркальной фотографии с книжной обложки, и во сне оно само было — зеркалкой, сконструированной сном, и я, стоя посреди улицы, мучительно соображала: «А где Кура, черт возьми?» и почему «нет на своем месте Нарикалы»... А второй мыслью было: «Я без копейки денег!» Потому что, когда я уезжала — были еще рубли, а теперь лари, и вот стою дура душой и соображаю, как лучше пешком пройти на ту сторону Куры к (всякий раз адресат другой) Гине и Наре, или к Кире... а город вокруг меня тот и одновременно другой, и, кажется, я сама создаю его силой воображения (спустя десять лет увижу такие компьютерные игры: постепенно застраиваемое пустое пространство)... Однако мои сны конструировали и будущее: оказываясь на улице Галактиона¹, возле дома Эллы и Пети, я видела, что это другая улица — она стала шире, наряднее той, которую я знала когда-то в реальности, — с магазинами, кафе и гуляющей публикой... Каково же было мое удивление, когда в середине двухтысячных я шла именно по такой улице Галактиона, уже виденной мною во сне...

Оказавшись в системе зеркал, двигаясь вглубь, все дальше в поисках *настоящего* изображения, как далеко мы зайдем? И найдем ли те — единственно настоящие — *место* или *время*? Меняются ли их изображения с годами? Меняют ли они образ настоящего и будущего? И что можно разглядеть сейчас, «приставив зеркало к монитору» или наоборот монитор к зеркалу, если зеркалом полагать, например, отражающий реальные (?) события дневник...

¹ Галактион Табидзе — культовый грузинский поэт. Улица его имени отходит от площади Свободы.

Дневник
Декабрь 1991 — январь 1992 года. Тбилиси¹

23 декабря

Уже третий день в городе стреляют. Ружейная пальба, автоматные очереди, пушечные залпы. Над центром — дым. Ощущение от города двойственное: с одной стороны — трагедия, разворачивающаяся прямо на глазах, с другой — какая-то настороженная отрешенность горожан. Люди заняты собой: поиски пропитания, очереди за хлебом. Две жизни идут параллельно, практически не соприкасаясь². На улице Шардена пусто. Работают два кафе. Там сидят за чашечкой кофе. А в километре — стрельба. Сиони³ открыт, но народу мало. Звуки выстрелов усиливаются куполом, и в церкви они звучат еще громче, чем снаружи. Дом Розочки⁴ рядом с Сиони. При взрывах он сотрясается вместе с содержимым⁵. Возвращаюсь почти бегом, так как стрельба усилилась.

¹ Этот дневник, единственный в жизни, я вела во время гражданской войны в Грузии (был частично опубликован в «Новой газете» 25 августа 2008 года). Спустя время, занимаясь блокадными дневниками ленинградцев, я пойму, что тогда меня заставило записывать: сознание небывалости, невозможности, невероятности событий, которые происходят лично с тобой...

² ...и поймаю себя на мысли, что догадываюсь (именно — догадываюсь, а не «знаю», потому что «знать» то, что происходило во время той библейской катастрофы в Ленинграде, может только тот, кто там находился), что блокадники имели в виду, говоря о двойственности происходящего.

³ Кафедральный собор в Старом городе.

⁴ Роза и Морис Тетрадзе, родители моего друга Алика Тетрадзе, который сейчас живет в Америке.

⁵ Не понимаю, почему тогда не записала главного: когда мы сидели и разговаривали, в сторону центра, очень низко, с утробным воем пролетел самолет. Через несколько секунд раздался взрыв. Вот тут-то дом и подпрыгнул. Эта история *зеркалит* с августом 2008 года: во время «пятидневной войны» я обзванивала своих тбилисцев, и вот во время разговора с Иринэ Модебадзе (филолог-компаративист, переводчик, вместе работали над комментированным изданием «Вепхисткаосани») повисла пауза, и потом Иринэ, живущая в Сабуртало, на 11-м этаже, говорит: «Приближается самолет... Он летит к центру... не знаю, что это за самолет...» И тут я в трубке услышала нарастающий утробный звук моторов...

25 декабря

Гуляла с Никой¹. Неподалеку гремят выстрелы. А может быть, это горный ландшафт дает ощущение такой близости. День чудный: зимний, мягкий, дымчатый. Закат. Везде на асфальте клочья горелой бумаги: их сюда из центра, где горят несколько зданий, заносит ветер. Пять часов. Звонят к вечерне. И звон колоколов странным образом соседствует со звуком стрельбы. Эти два звука не пересекаются, не смешиваются, но существуют отдельно, как бы в разном небе². Ника говорит: «Война кончится, и мы купим жвачку».

¹ Сын. В те дни научился различать, как стреляют ружье, пулемет и автомат («фастамат»).

² Какого черта я пошла гулять с ребенком, если в городе стреляли? Пример «измененного сознания» в экстремальной ситуации. Защитная реакция организма: пытаешься жить, как будто ничего *такого* не происходит.

27 декабря

Сегодня вечером пошли с Наирой¹ к Асе-Маше². Во Дворце бракосочетания, что напротив нашего дома (через Куру, на возвышенности)³, обосновалась какая-то военная группировка. Там бронетранспортеры, туда подвозят оружие. Вчера ночью оттуда обстреляли машину соседа (он ехал в аэропорт встречать жену). Очевидно, машина вызвала подозрение. Теперь развороченные «Жигули» стоят во дворе, а сам Тамази с простреленным позвоночником в больнице и едва ли выживет. Это тот случай, о котором знаю достоверно. А еще каждый день узнаются все новые случаи о жертвах войны, которая расплзается по городу. Люди гибнут от шальных пуль.

В центре, по слухам, разрушено несколько зданий (прекрасных!). Дом художника, школа, гостиница «Тбилиси»...

Пока доехали с Наирой до Майдана, совсем стемнело. По дороге решили зайти в Сиони. Когда спускались по полукруглым ступеням к храму, возникло ощущение какого-то мрачного восторга, необычайной значительности всего со мной в эти дни происходящего. В Сиони поставили свечи. Возвращались в восемь вечера уже под сопровождение совсем близких выстрелов. «Это в центре», — успокаивающе, но не слишком уверенно сказала Наира. На кольце чудом оказался троллейбус, сломанный, дымящийся, но до дому довез, слава богу.

Сейчас Ника спит. Пальба жуткая. Боюсь, что он испугается, и боюсь случайных пуль в окно.

¹ Наира Джорбенадзе, подруга и соседка, мама двух чудесных девочек, сестра Наны Джорбенадзе, мамы внезапно выросшего Сандрика.

² Ася и Маша Браиловские, сестры-близнецы, сейчас живут в Париже. Сестры моего друга Саши Браиловского, прекрасного переводчика французской литературы и лучшего гида по Франции. Двоюродные сестры Алика Тетрадзе. Но эта запись сейчас является для меня загадкой: как можно было попасть из Ортачал в Ваке, минуя центр?

³ Наш дом № 39 по ул. Горгасали. Дворец бракосочетания за особенности архитектуры в народе называли «каджетис-цixe» — «крепость каджей» (злых духов). Потом там была резиденция Патаркацишвили. Сейчас, кажется, частные владения.

29 декабря

Вчера были переговоры. Стрельба поутихла, а ночью опять палили. Сегодня не выдержала и пошла с Никой на авлабарский рынок пешком, через Метехский мост (теперь это называется «дорога жизни», фактически только через нее осуществляется связь жителей Сололак¹ с внешним миром. Прокляла все на свете: потащила ребенка, а шальные пули — везде... Но дома задыхаюсь. С подъема виден город. Центр дымит. Горит крыша театра Руставели (а в фойе удивительные росписи — Какабадзе, Судейкин...), горит Дом художника, гостиница «Тбилиси». Сердце разрывается.

Мы живем в основном за счет слухов², кое-что узнается из сообщений «Маяка» или «Свободы», но и эта информация не вполне точная. Из центра люди эвакуируются к родственникам, живущим в других районах³. Думаю о бедной тете Люси⁴. Как-то она там, на проспекте Руставели, напротив Оперы, одна...

Я ругаю себя за то, что так затянула свои дела, которые теперь и вовсе застопорились. И все же, будь у меня все в порядке и деньги в кармане, и если

бы, к тому же, самолеты летали⁵, уехала ли бы я сейчас? Вряд ли. Ведь здесь вся моя жизнь. Хочется сказать — больше, чем жизнь⁶.

¹ Исторический район Тбилиси, граничит со Старым городом и площадью Ленина (теперь площадь Свободы).

² Телевизионной трансляции в городе не было. Кстати, не было ее и 9 апреля 1989 года, когда в город были введены войска и произошла та история с «саперными лопатками».

³ Август 2008-го снова «отзеркалил». Я звонила близким, понимая уже по опыту *той* войны, что в Тбилиси сейчас еще меньше, чем у нас, знают, что происходит: российский интернет отключили, по телевизору шла информация, что российские танки идут на Тбилиси, а уже было известно, что танки остановились в районе Гори, но люди в Тбилиси об этом не знали. Гиви Андриадзе, сын Ниты Табидзе, кричал в телефон: «Танки идут на Тбилиси! Мы уезжаем из центра! Эвакуируемся! Ты нас случайно застала!» И помню, как я кричала ему в ответ: «Не уезжайте! Они остановились! Дорогие мои, простите, не уезжайте!» Я представляла себе квартиру на Грибоедовской, ту самую, из которой в 1937 году навсегда вышел Тициан и из которой сейчас должны уйти его дочь, его внуки и правнуки, — и плакала от ужаса и бессилия. «Что же с нами будет?» — спросила я у Гиви несколько дней спустя, когда стала очевидной необратимость центробежного движения, разводящего две страны. Он ответил: «Единственное, что мы можем — конкретно ты, я, все наши близкие, — в этой жуткой ситуации оставаться людьми, больше от нас ничего не зависит. Но и это немало».

⁴ Люси Авакова, знакомая Ниты Табидзе, тбилисская подруга Генриха Густавовича Нейгауза.

⁵ Аэропорт был закрыт.

⁶ Высокопарно звучит, чего уж греха таить. Но дневники править не положено. И вообще: когда за окном стреляют и не знаешь, как все обернется через пять минут, — высокопарный стиль простителен.

31 декабря

Через 15 минут — Новый год. Сижу одна на кухне. За ужином с Тамарой и Мананой¹ выпили вина, была баночка шпрот — подарок Маквалы².

Вчера ездила на проспект Плеханова по делам. Стрельба жуткая. Некоторые витрины, те, что «лицом» к центру, прострелены. Пули долетают сюда через Куру. Но вчера и на этом берегу сильно палили. Сберкасса закрыта на неопределенный срок. Пенсию для ребенка получить не могу. Потом пошла к Кире³. У нее звук стрельбы отдается от горы позади дома, и кажется, что стреляют с двух сторон. Возвращалась по набережной пешком. В центре стрельба шла полным ходом, и я пряталась за редкие деревья, боясь шальной пули на открытом пространстве. Грохочет пушка. Чувствовала себя очень плохо. Еле-еле через Метехский мост пешком добралась до дома. Ощущение чего-то нереального.

...Ну вот и новый, 1992 год, пришел на грузинскую землю в сопровождении выстрелов. Ровно в полночь поднялась невообразимая стрельба. Праздничная. Автоматная, пулеметная, ружейная. А также разноцветные сигнальные огни. Трассирующие пули очень красивы на фоне ночного неба. Но страшно, так как палят в разные стороны — того и гляди в дом зашарашат...

Мучаюсь тем, что нет связи с домом⁴. Говорят, завтра опять начнется бой в центре.

¹ Тамара и Манана Патараия, свекровь и золовка.

² Маквала Гонашвили, поэт. Дружим с конца 1970-х годов.

³ Кира Цыбулевская, вдова поэта Шуры (Александра) Цыбулевского. Жила на ул. Хетагурова. Ее окна выходили и во двор, и на набережную. Справа был виден голубой купол церкви Цминда Николози (Св.Николая).

⁴ С родными в Ленинграде (к тому времени уже Петербурге).

1 января 1992 г.

Второй Новый год без Тенгиза¹... Хотя, как в моих давних стихах, ему посвященных, «и ты все время рядом, рядом, и ближе, может быть, еще...»

Сегодня ситуация несколько прояснилась: в молчавший до сих пор эфир вышла оппозиция. Немного отлегло от души. Все время хочется есть. Все время что-то жуем (в основном — чай с сухарями из старого хлеба). От нехватки полноценной пищи усиливаются раздражительность и усталость. Масла нет. Яйца себе позволить фактически не можем (только ребенку), о сыре и говорить нечего. По «Маяку» передавали, что где-то в городе взорвали трамвай. Есть жертвы. Вчера на набережной группой вооруженных людей неизвестного происхождения была обстреляна машина, не остановившаяся по приказу (многие не останавливают машины, так как их попросту отнимают). Отец ехал куда-то с шестилетним сыном. Ребенку прострелили голову, которая была, естественно, на уровне поднятых автоматов убийц.

Уже второй раз зачитывали обращение Илии Второго. Он — как христианин — молится за тех и за других...

Сегодня узнала, что Звиада² защищает группа наемников (называют цифру от 15 до 400 человек), которых якобы прислал Дудаев.

Часть этих молодцев видела тетя Алла³ у себя в гостинице, где они обедали. Самое интересное, она говорит, что это были русские (во всяком случае, российские) громилы, видимо, из тех, у кого отродясь не было ни дома, ни семьи, которые за деньги идут на все.

В окружении Звиада произошел раскол. Часть несогласных он держит под арестом. А у большинства моих знакомых (и грузин, и негрузин) преобладает одно желание: чтоб все это скорее кончилось, любой ценой.

Славное здание построили пленные немцы коммунистам⁴. Тут и бункеры, и подземные ходы. Всю жизнь можно прожить...

¹ Тенгиз Патарая, переводчик немецкой литературы. Умер в мае 1990 года.

² Звиад Гамсахурдия, президент Грузии, литератор, историк литературы, переводчик. В течение полугода перед войной я ходила на работу мимо шумного митинга у Дома правительства, где Звиад голосом и жестами гипнотизировал толпу, состоявшую в основном из приехавших из районов женщин. Женщины истерично скандировали его имя. Гамсахурдия — предмет моих серьезных разногласий с некоторыми подругами, знавшими его еще в его бытность диссидентом. Правда, *тогда* я ни одну из своих подруг не потеряла. А Дали Цаава (Медея из моей повести «Любовный канон»), поэт, мама Гоши и Гураши, рано умершая, — навсегда осталась одним из самых дорогих мне людей.

³ Соседка по подъезду.

⁴ Дом Правительства на проспекте Руставели.

2 января

...Обстановка в городе как будто проясняется. Власть взяло на себя временное правительство. Дай бог, чтоб немного установился порядок. По телевизору выступают Сигуа, Китовани¹, просто горожане, сейчас говорит художник Литанишвили² (плачет) и Буба Кикабидзе³. Власть президента аннулирована. Но когда он сдастся — неясно. И сколько еще будет из-за него жертв...

Завтра хочу как-то добраться до рынка и сберкассы. Страшновато, но дома сидеть уже не могу. И не только потому, что в городе есть у меня дела, потому

еще, что от этого своеобразного домашнего ареста развивается вид психоза — потребность какой-то деятельности, желание двигаться.

Для чего я затеяла вести этот вроде бы дневник? Ну, во-первых, изоляция и ограниченность общения к этому вынуждают. А еще и для того, чтоб Ника когда-нибудь прочел. Ведь каждому нормальному человеку должно быть интересно, как он рос, при каких обстоятельствах складывался его характер. А Никушке в этом смысле «повезло»: еще в моем животе он пережил 9 апреля¹, все наши с Тенгизом невзгоды и радости, а в одиннадцать месяцев — и смерть Тенгиза. Так что у него к двум с половиной годам богатый опыт переживаний, пусть и не вполне им осознанных.

¹ Тенгиз Сигуа, тогда глава правительства Грузии. Тенгиз Китовани, тогда руководитель Нацгвардии Грузии. Об их роли в истории страны пусть судят профессиональные историки. Я писала так, как понимала события тогда, и то, что чувствовала по поводу происходящего.

² Отар Литанишвили, известный архитектор, почетный гражданин Тбилиси.

³ Легендарный Вахтанг Кикабидзе (в комментариях не нуждается).

⁴ События апреля 1989 года, как, впрочем, и 1991—1992 годов, отчасти описаны в моей книге «Литературная рабыня: будни и праздники».

3 января

Сегодня поехала через Авлабар на Дезертирку за яблоками и мацони для Ники. В метро спокойно. Рынок почти пуст: крестьяне боятся приезжать. Возвращалась по пр. Агмашенебели (бывш. Плеханова). Зашла к Натке¹. Пили чай с сыром и хлебом. Было очень вкусно. Но наши взгляды на события, к моему удивлению, разошлись. Поэтому я, малодушно помалкивая, пила индийский чай и только на вопрос, видела ли я вчера по телевизору «этих бандитов» Сигуа и Китовани, — уклончиво заметила, что пусть они будут кем угодно, лишь бы Грузии пошло на пользу.

Потом зашла к Кире. У нее работает телефон, и я звонила, куда можно было дозвониться. Узнала, что Нита² у Нинико³, Яя⁴ на Камо у матери и никто не знает о судьбе своих домов в центре. Зятю Нины Маргиани⁵ шальная пуля в его собственном доме порвала щеку. Вообще, дома, стоящие вдоль набережной, сильно пострадали от шальных пуль.

Сейчас по телевизору выступает Джансуг⁶. Страшно рада его видеть: похудевшего, обросшего, но живого. А он в звиядовских списках на арест (читай, уничтожение) был в числе первых.

От Киры возвращалась трудно. Транспорт фактически отсутствует. Пришлось идти пешком. В центре началась пальба, а я шла по совершенно пустой набережной вдоль Куры, куда, надо полагать, могли долетать пули. Шла, трясясь и прячась за редкими деревьями.

¹ Ната Чахава, подруга. А чему, собственно, было удивляться? Гражданская война — вот и взгляды разные.

² Нита Табидзе, легендарная тбилисская личность, дочь Тициана Табидзе, моя крестная.

³ Нина Андриадзе, дочь Ниты.

⁴ Ирина (Яя) Натадзе, моя подруга, дочь Нитиных друзей Теймураза и Тамары Натадзе, сестра Нины Натадзе. Прекрасная большая тбилисская семья.

⁵ Нина Маргиани, подруга Ниты Табидзе, вдова поэта Резо Маргиани.

⁶ Джансуг Чарквиани, поэт.

4 января

Господи, я думала, что у меня отняли Грузию. Грузию, где родился мой Ника, где похоронен мой Тенгиз. Грузию, которую я люблю безотчетно, так, как любят родину. Грузию, с которой связаны, несомненно, самые лучшие дни моей жизни. Грузию, где я была крещена в белой церкви под фуникулером, и в ночь моего крещения был сильный ветер, а мы с Марикой¹ спали на открытой террасе дома возле церкви, и весь ночной город, все, предназначенное мне, — мерцало и простиралось внизу. Я думала, что у меня уже не будет всего этого. А теперь я знаю, что это не так².

Сегодня я смотрела телевизор и говорила Нике, сидящему у меня на коленях: «Смотри, Никочка, это твоя родина, ты здесь родился. Са-кар-тве-ло!» Вряд ли он понимал, о чем идет речь, но, подпадая под мое настроение, радовался.

Показывали документальный фильм о том, как весь последний год интеллигенция противостояла Звиаду и его режиму. И среди тех, кто взял на себя львиную долю ответственности во всей этой истории, много моих знакомых. Рада их видеть и знать, что они живы.

¹ Марика Цуладзе, театровед, дочь Нитиной подруги Цисаны Цуладзе.

² В 2006-м, когда грузин начали депортировать из России, мы вышли на площадь Сахарова с табличками «Я — грузин» (зادолго до «Я — Шарли Эбдо»). 2008 год расставил-таки точки над i. Во всяком случае, одна точка — точка невозврата — была пройдена окончательно. Рассуждать о том, «кто прав, кто виноват» и «почему все так вышло», начнем после того, как будут рассекречены и опубликованы все документы по этой «пятидневной войне». Поскольку у нас не опубликованы все документы и по пятилетней войне, ждать придется целую вечность.

9 января

Седьмого, в Рождество, отправилась к Кире в надежде дозвониться до Питера. От Майдана шла пешком мимо Сиони. Заканчивался Крестный ход, колокола прямо заходились. Я пожалела, что не взяла с собой Нику. У входа в собор Католикос <Патриарх> благословлял собравшихся и кропил их святой водой, и на меня упало несколько брызг. Потом через Старый город дошла до Анчисхати¹. Там кончилась служба. Народ расходился. Я решила зайти, чтобы поставить свечи. Зашла и увидела много молодых красивых лиц. Красивыми лицами Грузию не удивишь. Достаточно пройти по проспекту Руставели, чтобы убедиться в этом. Но сегодня и здесь они обращали на себя внимание особой одухотворенностью, утонченностью. Это на меня подействовало как-то успокаивающе — значит, не все потеряно. Потом через мост Бараташвили дошла до Киры. В городе еще стреляли, как, впрочем, постреливают и теперь. Кира, округляя глаза, уже который раз повторяет: «Ты представляешь, я два раза видела Кашвети² на фоне пламени!» И надо родиться здесь или так сродниться с этим городом, как довелось мне, чтобы понять, что значит для тбилисца эта фраза.

Сегодня пошла в город по делам. Зашла на работу³. Проспект Руставели открыт только второй день. Наше здание было в зоне боевых действий, а пятый этаж крепко обстрелян (на крыше сидел снайпер).

У входа в издательство встретила Додо⁴. У нее полностью сгорел дом на площади Свободы. Она как будто похоронила часть жизни, что и соответствует действительности. Кроме всех вещей, книг, посуды, сгорели семейные реликвии — гимназические дневники ее бабушки, старинные платья... Возвра-

щалась около пяти. На проспекте все закрыто, работает один книжный магазин. Мало того — там полно народу и, кстати, хороших книг, которые покупают. Я взяла толстый том И.Анненского и что-то для Ники. Вид проспекта в районе от почтамта до универмага ужасен. Еще стоят пушки и какой-то обшарпанный бронетранспортер. Их окружают мужчины всех возрастов и изучают. Народу много. Все идут с запрокинутыми лицами, медленно и бесшумно⁵. Самое горькое впечатление произвели на меня руины зданий, вид обстрелянного Кашвети. Он ведь стоял совершенно незащищенный, открытый всем пулям и снарядам⁶. Это было все равно что стрелять по ребенку. Так он и стоит теперь, весь в оспинах-выбоинах от пуль. Светлый на фоне светлого неба. Потом зашла к Кире. Звонила в Питер к друзьям.

¹ Базилика шестого века в Старом городе, рядом находится театр Резо Габриадзе.

² Собор на проспекте Руставели, почти напротив Дома правительства.

³ В издательство «Мерани», которое располагалось на проспекте Руставели, 42. Мое второе и последнее место работы в Тбилиси после Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при СП Грузии, удивительного, почти нереального учреждения, возглавляемого прекрасным Отаром Филимоновичем Нодия. Любопытно, что фильм Эльдара Шенгелая по рассказу Резо Чейшвили «Голубые горы» снимался в здании Коллегии (угол улиц Дадияни и Леселидзе), и сотрудники Коллегии были в роли статистов. Я помню, как во внутреннем дворе перешагивала через провода: съемки шли несколько недель.

⁴ Додо Квавилашвили, вдова писателя Нугзара Шатаидзе. Вместе работали в Коллегии.

⁵ Опять же почему-то тогда не записала: в тишине отчетливо слышался один звук — нежное позвякивание. Это звенели под ногами идущих стреляные гильзы. Несколько штук я подобрала с асфальта. Они хранились долго уже в моей питерской квартире. Потом затерялись...

⁶ Следы от обстрелов сохранились на Кашвети и стоящих рядом зданиях до сих пор.

10 января

Сегодня опять тревожные вести: передвижение вооруженных групп в Мингрелии. Это что же будет, если вся провинция (превратно информированная) ринется на Тбилиси? Осада? А может быть, мои страхи смешны и это просто нервы сдают...

Но смогу ли я вывезти ребенка, если еще немного промешкаю? Можно справедливо возразить, что, кроме моего, в Тбилиси полно детей в том же положении. Но меня мучает чувство, что в этой ситуации я для Ники плохая опора.

Позавчера Гина¹ рассказала, что от дома Додо остался только фасад с кружевным легким балкончиком на третьем этаже. А от дома Вахушти Котетишвили² остался небольшой ровный кусок стены: мемориальная доска, прибитая прямо к тбилисскому небу. Дом Вахушти сожгли вместе с архивом его отца, вместе с уникальными фольклорными записями самого Вахушти. И на глазах у жителей соседних домов гонялись за ним с автоматами. И, наверное, не так уж и сложно было подстрелить его, большого, красивого, любимца всего города... Но Бог спас. Все-таки ненависть к интеллигенции неизбывна при любом режиме.

¹ Гина Челидзе, замечательный переводчик, до самых последних дней невероятно красивая женщина. Ее не стало в этом году.

² Писатель, переводчик, фольклорист. Легендарная тбилисская личность.

16 января

Билет у меня на двадцать третье, а я боюсь, что не улечу: опять ситуация ухудшается. Гамсахурдия в Зугдиди призвал своих приверженцев к вооруженному походу на Тбилиси. Если не найдутся силы, которые удержат его от этого шага, то будет гражданская война. Впрочем, она и так уже идет. Сегодня была на Вокзальной площади. Там опять митинг, опять женские визги. Судя по лицам и одежде, большинство митингующих — приезжие из районов.

...Макет моей книги¹ пролежал на пустом столе в нашей редакции все события с большой вероятностью быть уничтоженным, так как здание издательства находилось в «горячей точке». И я физически почувствовала, как страшно было этой книге лежать вот так одиноко в холодном здании, сотрясающемся от взрывов.

Стрелки часов на здании горсовета² с девяти утра до трех дня парят в пустоте — часть циферблата выбита. Что касается символов, то город в последнее время изобилует ими.

¹ Не помню, о чем идет речь и что стало с книгой.

² Здание бывшей городской Думы на площади Свободы.

19 января

Сегодня скончался Тамази, подстреленный в самом начале событий.

Совершенно очевидно, что Ника как-то по-своему оценивает и переживает происходящее. На днях он долго не мог заснуть, ворочался и наконец спросил: «А бабайки¹ тоже спят?» «Спят», — говорю ему. В ответ слышу: «А утром они проснутся и будут кричать — Звиади! Звиади!»

Вчера опять была у Маки². Они с братом производят впечатление людей слегка тронутых. Впрочем, это сейчас можно сказать о всем населении Тбилиси. Но то, что пришлось пережить жителям центра, попавшим в гущу боевых действий, — просто ужасно. Каждому из пришедших Мака показывает следы от пуль, которые пробивали ставни, стекло, нехитрые заслоны из подушек и отскакивали от противоположной стены. Одну пулю они нашли в постели парализованной матери. Фактически все время боев они провели в узеньком внутреннем коридорчике, куда втащили на матрасе свою больную мать. И когда прямо под ними, в подвале, начался было пожар, они собирались эвакуироваться по винтовой отвесной лестнице через крышу. Глядя своими красивыми прозрачными глазами куда-то мимо меня, Мака говорит: «Ты понимаешь, мы сидели и ждали смерти».

Как бесконечно, до самых горячих слез, жалко людей. В который уж раз жалко...

¹ Бабайка — то же, что и русская Баба-Яга.

² Мария Филина, историк литературы, полонист.

Апрель 1989-го

На строке «В который уж раз жалко...» дневник обрывается. Из всех ближайших «в который уж раз», когда было «жалко», тогда я имела в виду, конечно, 9 апреля 1989 года.

На площадь я не пошла, все же седьмой месяц беременности. Жили мы тогда на окраине: снимали квартиру в Варкетили, из окна был виден кусочек Тбилисского моря, а на пустоши через дорогу разгуливали овечьи стада. Тенгиз

вернулся вечером. Про то, что случилось ночью, мы узнали потом. А утром 10 апреля мимо наших окон очень низко, один за другим стали заходить на посадку самолеты: военный аэродром находился неподалеку. Они летели вперевалку, грязно-зеленые, короткокрылые, тяжелые, тучные, вообще непонятно было, как их держит воздух. И в тот же день город наполнился бронетехникой и солдатами. А люди встали в очереди за хлебом, спичками и солью. Нас никто не учил, что надо делать. Но ведь это так *нормально*: когда война, надо запастись спичками и солью. И если повезет, постным маслом.

Город полнился слухами и хоронил своих мертвых. Действовал комендантский час. Спустя несколько дней, сидя дома, мы заметили, что в нашу сторону со стороны моря движется странное пылевое облако. Я и сейчас помню, как оно приближалось: медленно, как бы осмысленно, неуклонно. Мы уже знали, что 9 апреля кроме саперных лопаток были и отравляющие газы. Мы не закрыли окон, мы не побежали, мы просто сидели и ждали, что будет. Мы *допускали* мысль, что с нами могут сделать все, что угодно. И то, что все обошлось, ничего уже не меняло: те несколько минут ожидания и *готовности* умереть навсегда сделали нас другими.

...Несколько лет назад, после долгого перерыва, я подлетала к Тбилиси. Но не так, как я помнила раньше. Аэропорт перестроили, а вместе с ним и посадочные полосы. Мы летели низко над городом. По левую руку я видела его весь, ночной, залитый огнями, «незамутненный ничем, кроме слезы моего обожания»(с). И новый храм Самеба (Троицы), и мост Бараташвили, и фуникулер, и Пантеон... Все было — как на ладони, такое близкое, доверчивое... И я поняла, что в левом иллюминаторе сейчас видно Тбилисское море, Варкетили и дом, в котором я стою у окна в тот день, 10 апреля, и смотрю на пролетающий самолет... А 11 апреля я поехала в город и узнала, что одной из погибших женщин (погибли в основном женщины) была двоюродная сестра Ниты — Заира Киквидзе... Она пошла в ту ночь на проспект, чтобы найти и увести оттуда Нукри, Нану, Ниночку (сына, невестку, племянницу). Она не нашла их. Они уцелели. Она — нет.

...Как же я любила ее, кудрявую, невысокую, худенькую, легкую, с легкими прохладными руками. Однажды мы (Нита, Заира, Ниночка и я) поехали в Телави, где у Заиры был дом, или полдома, уже не помню. Помню, что мы приехали, когда смеркалось, что умывались на открытой веранде. Помню, как что-то во мгле протяжно мерцало. А утром, выйдя из дома, я обнаружила себя летящей: внизу простиралась Алазанская долина...

Заира уже успела сходить на рынок. Был *ртвели*⁵⁰. Мы шли над Алазанской долиной и ели только что срезанный с лозы виноград и молодые молочные орехи. А потом читали стихи Отара Чиладзе: она — на грузинском, я — на русском. А вот это мы читали в унисон: «Мдинарис пирас, патара ткеш...» — «Около речки, в маленькой роще...» Она любила стихи Отара.

¹ Время сбора винограда.

Отар

...И не так-то часто мы виделись. Даже когда я жила в Тбилиси. Пожалуй, хватало состояния, точно зафиксированного Пастернаком: «Ты здесь. Мы в воздухе одном. Твое присутствие, как город...» Это никоим образом не лирическое замечание.

Без особого усилия Отар сумел сделать свои стихи, свою прозу и, наконец, свою судьбу неотъемлемой частью и своего города, и своей страны, и мирового художественного пространства. Но что, собственно, мы знаем об «усилии»? Может ли быть что-то тяжелее бесплотной мысли, когда вытягиваешь ее из небытия на свет, разминаешь, распрямляешь, точно колючую проволоку? Даже «тени разбуженных мыслей» могут грохотать по мостовой, «как бочки, набитые порохом». «Как ребенок — со зверем, он с мыслью остался один на один» — это не только о Галактионе¹, разумеется. О себе тоже.

Отар стал тем человеком, к слову которого прислушивалась его страна. «В надежде, что станет добрей и свободней, народ окончательных истин просил у Данта, пришедшего из преисподней. Но истина не предвещала добра. Народ оробел и расспрашивал снова. И снова не понял. И мысли из слова с трудом выносил, точно гроб со двора»². Это из поэмы шестьдесят третьего года. Потом была проза, ткань которой Отар создавал из живого, вечно текущего времени, в котором реальность и миф, прошлое и будущее существуют одновременно. А спустя сорок лет Отар вернулся из преисподней своего последнего романа «Годори»³, романа о судьбе родины.

Подобной русской книги я не знаю. Не очень понимаю, как грузины простили Отару этот текст. Может, за всеми жизненными нескладницами прочитать забыли...

Но не только слова — и молчание Отара было значительно. Важно было, о чем и когда он молчит.

В 2004 году в квартире его брата, прозаика и драматурга Тамаза Чиладзе, мы вспоминали апрель 1989-го, страшное начало девяностых. «Знаешь, мы сидели зимой в нетопленной комнате, при свече, и слушали, как внизу, в зоопарке, ревет голодный лев»⁴.

Потом Отар вспоминал о единственном и едва ли не однодневном приезде в Тбилиси Иосифа Бродского, о том, как провели они весь день втроем: Отар, Иосиф и Тамаз. Как, не выходя из лоджии, пили вино и говорили.

В сумке у меня лежал фотоаппарат. Но искушению сделать снимок я не поддавалась. Уже тогда Отар болел, а мне не хотелось быть уличенной в суетном желании сделать «фотографию на память».

«Что с того, если здесь мы не свидимся больше? Прощай! Все на свете случайно. Но это — не выход в беспечность, коль разлука навечно случайнее встреч невзначай. Лишь она мне дает ощутить натуральную вечность...» Это строки гениального перевода Бродского из Отара. Действительно, «что с того», если впереди «натуральная вечность».

Однако нам довелось свидеться еще один раз — на этом свете теперь уже точно — последний, третьего июля 2009 года. Я не думала, что он найдет силы для встречи. Он говорил стоя, опираясь на спинку стула («Так легче дышать»), непонятно было, откуда в изможденном недуге теле столько энергии.

Никакие сантименты между нами заведены не были. Но в тот раз, прощаясь, мы обнялись. И несколько секунд мне казалось, что я обнимаю птицу, которая сейчас улетит: вздымающиеся ребра и под ними воздух, уже готовый стать частью общего неба...

¹ Речь идет о поэме Отара Чиладзе «Железное ложе», посвященной Галактиону Табидзе.

² В иные тяжелые моменты жизни мысль о том, что Отар не отверг ни одного из моих переводов, служила, пожалуй, утешением.

³ Вышел на русском в превосходном переводе А.Л.Эбаноидзе.

⁴ «Внизу, в зоопарке...» Как в зеркальном отражении вижу ливень и наводнение 13 июня этого года... Нет, львы так долго не живут, и нынешние звери были другие. Но тот лев, ревущий от голода, мелькнул сейчас в глубине зеркала.

Улица над городом¹

Небо... Его было больше всего в комнате. Собственно, маленькая комната, где я жила, не успевая начаться, — переходила в небо. Ясными солнечными днями из окна этой комнаты, выходящей во двор, можно было увидеть вершину Казбека. В соседней гостиной неба почти не было: его закрывали деревья. Зато был стол, за которым сидели все, когда-либо приезжавшие в Грузию русские поэты (не говоря уже о собственно грузинских), и две картины Пиросмани над широкой тахтой, где любила, опираясь на локоть, полулежать хозяйка дома.

В этой квартире я на двадцать (всего!) лет разминулась с Борисом Пастернаком. Комната, в которой он жил в последний свой приезд, выходила на улицу, большую часть года залитую солнцем. Нита водила меня гулять, рассказывая, как она по этой же улице водила «дядю Борю».

Однажды я пошла гулять вместе с Нитой и ее лучшей подругой, красавицей, актрисой Медеей Джапаридзе. Был августовский вечер. На стульях у подъездов сидели люди и здоровались с нами. Сверху, с гор, спускалась прохлада. Нита и Медея, обе безголосые, тоненько напевали Вертинского: «И слишком устали, и слишком мы стары и для этого вальса, и для этой гитары...»

Пока я жила у Ниты, все были живы: и дядя Али², и Заира, и Тенгиз, и Леван³, и Гина, и Манана⁴...

¹ Улица Гогебашвили, где в писательском доме жила Нита с семьей, расположена в высокой части города, над районом Вере. С южной стороны окна квартиры были на первом этаже. С северной, на втором, из-за перепада высоты. Окно комнаты, в которой я прожила почти три года, выходило на северную сторону.

² Алексей Николаевич Андриадзе, врач-кардиолог. Из любой точки города, от любой подруги Нита спешила к шести вечера домой, чтобы накрыть ему обед в гостиной, за круглым столом. Он был чудесный: веселый и добрый.

³ Сын Гурама Асатиани и Мананы Кикодзе. Филолог. Муж Ниночки Андриадзе.

⁴ Манана Долидзе, жена Гиви Андриадзе. Музыкант, проректор Тбилисской консерватории, мама Лексо и Марьяши. Красивая и умная. Надежный и отзывчивый друг. Очень помогла, когда мы начинали работу над первым русским комментированным изданием «Вепхисткаосани» (прозаический перевод). Благодаря ей в проекте оказались блестящий руствелолог Нестан Сулава и заслуженный художник Грузии Лоретта Абашидзе-Шенгелия. Манана долго болела, очень мужественно переносила страдания. Гиви всегда был с ней рядом.

Сад Мананы

Два года назад я привезла в Тбилиси друзей. Ну сколько ж слышать вопль: «Отвези нас в Грузию!» Пришла я к такому специальному питерскому грузину, который никогда ни в чем мне не отказывает¹. «Вот, — говорю, так и так. — Коллеги мечтают попасть в Грузию. И не просто туристами, а чтобы "осмысленно"». И мы поехали².

Самым, может быть, важным в той поездке стало знакомство Ирины³ и Наташи⁴ с дочерью и сыном Ниты — Ниночкой и Гиви⁵.

Правда, с тех пор жизнь моя окрасилась новым чувством — ревностью. Ведь теперь *моя* Грузия перешла в пользование и моих друзей. Однако я борюсь с собой и стараюсь изо всех сил не подавать виду, что ревную.

...А год назад мы с Ириной совпали в Тбилиси. Гиви повез нас и Ниночку в Кварели, на родину их бабушки, Нины Александровны.

Но сначала мы поднялись к крепости Греми и оттуда, из ее бойниц, смотрели на Алазанскую долину, окруженную горами Кавкасион. Долина имела вид ожившей географической карты, и мы смотрели вниз, «с точки зрения Бога», и от этого хотелось плакать.

Потом мы спустились в Кварели и оказались уже внутри карты, но ощущение, что мы по-прежнему смотрим на себя сверху, — осталось.

Мы ехали вдоль садовых участков, цветочные кусты выкипали через изгороди на дорогу. Наконец мы остановились и вышли из машины.

Гиви подергал закрытые ворота и крикнул в глубину сада: «Симон!»

Сквозь легкую ограду мы смотрели на виноградные грядки, на цветущие деревья, на орешник... «Симон!» — снова позвал Гиви. «Кто этот Симон?» — спросили мы. «Сосед. Он присматривает за моим участком и берет себе часть урожая».

Наконец показался немолодой высокий мужчина с красным от солнца лицом, в рубахе навывпуск и кахетинской шапочке. В руке у него покачивалась связка ключей.

Симон-Пётр открыл ворота, и мы вошли.

...Цвели миндаль и персик, вишня и алыча, инжир и слива.

Наш провожатый неспешно вел нас за собой. Проходя через виноградник, он наклонялся то к одной лозе, то к другой, брал в руки завязи и что-то им шептал.

Вдруг мы увидели, что внутри большого сада разбит еще один, меньший. Посреди этого сада стоял столбик с табличкой, на которой было написано: «Сад Мананы».

...Симон-Пётр рассказывал о деревьях и цветах, пели птицы, звенели шмели, сияло солнце, а я стояла посередине Алазанской долины и думала, что *смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет...* Я думала, что *прежнее* — было зеркалкой, и вот теперь оно прошло, и все наконец-то навсегда встало на свои места.

¹ Бадри Какабадзе, президент грузинской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. Первый наш совместный проект был книжный: в 1995 году к столетию Тициана Табидзе вышла книга стихотворений. Потом были вечера грузинской поэзии, потом иллюстрированный двухтомник «Вепхисткаосани» с комментарием. Теперь он налаживает обмен школьниками. Только вот стыдно: наши дети (как, впрочем, и взрослые) в Грузию едут запросто, без виз, а грузинским детям мы визу сделали не без труда.

² В Тбилиси нас опекал Международный просветительский союз «Русский клуб», спасибо его президенту Николаю Свентицкому. Саша Сватиков, с фейсбучного диалога с которым этот текст начался, был нашим бессменным и бесценным гидом.

³ Ирина Ерисанова, директор Дома-музея Бориса Пастернака в Переделкино.

⁴ Наталья Громова, писатель, историк литературы.

⁵ Хотя бы уже потому, что потом случились две выставки: в Литературном музее Грузии и в Доме-музее Бориса Пастернака в Переделкино, и главное, — прошла международная конференция, посвященная двойному юбилею: 120-летию Тициана и 125-летию Пастернака.

Михаил Синельников

Нежность

Ездили нередко в Кахетию. Преимущественно осенью, в октябре, во время ртвели, когда воздух двух великих долин по большей части состоял из молодого вина. Из осмысляющего свое положение маджари — оно на протяжении нескольких месяцев, стоя во врытом в землю кувшине, меняло вкус ежедневно, а весной, в миг, когда зацветала родная лоза, начинало пениться и бурлить, добиваясь свидания с матерью. Это бывало обязательно, если только в кувшин ненароком не плеснули ковш воды...

На Гомборском перевале бушевали осенние леса, чьи дубы любивший живопись и всецело вышедший из неё Заболоцкий сравнил с Рембрандтом, а клены с парящим Мурильо. От перевала вслед мчащимся машинам долго летели неотступно преследующие красные листья. Сидевший в головном автомобиле поэт Иосиф Нонешвили тут снимал свою серую сванскую шапочку, чтобы встречные пешеходы и жители возникающих по обе стороны дороги селений его узнавали и понимали всю важность экспедиции. И его узнавали и любили всенародно. Помню, как в легендарном Цинандали, куда он прихватил меня и Мишу Гиголашвили, ныне знаменитого прозаика, и куда мы чуть опоздали, Прекрасный Иосиф, хватая за рукава понемногу начавших расходиться людей, возвал: «Халхно!» То есть величественно назвал собравшуюся публику народом, человечеством. «Народ! — закричал он, — я собираюсь в дальнюю дорогу, я улетаю в Кремль, но я выделил два часа для моего народа!»

После многих, всякий раз неизбежных приключений, для описания коих и романа не хватит, переполненные и нагруженные вином, ехали назад тою же дорогою. И постовые отдавали честь на протяжении всего пути. Возвращались в город, где представление о единении народа и деятелей искусства были столь же возвышенными, сколь и в сельской местности. Да, авторитет и самое имя поэта были необыкновенно высоки. И тоже парили, как Мурильо... Сколько же раз я, спотыкаясь, в самые поздние часы ковылял по старым булыжным мостовым от Александровского сада к Воронцова и далее, на Хетагурова, к Александру Цыбулевскому, с которым, на месте быстро трезвея, любил разговаривать ночами. А если совсем пьяного меня останавливала милиция, достаточно было произнести два слова: «русули поэти». И с тем же почтительным отданием чести мне освобождали и указывали дорогу. Иногда, впрочем, на несколько минут задерживали и предлагали прочитать стихотворение. Обычно выбирал кратчайшее. С другом же моим, привезенным мною в Тбилиси замечательным поэтом и переводчиком Александром Радковским вышла такая история. Его,

новичка, гулявшего ночью трезвым, милиционеры задержали и, осведомившись о роде занятий, отвели в свое отделение, где до утра чествовали, поднимая тосты и наизусть читая ему стихи Галактиона Табидзе.

Конечно, в этом городе я оказался на самом закате, в его поздний вечер. Но хотя бы вечер все-таки застал. Сидел за одним столом с Ражденем Гветадзе, пожимал руку Серго Клдиашвили, нередко бывал в гостях у Колау Надирадзе. Колау, Николай Галактионович, в семнадцатилетнем возрасте несший на своих плечах гроб Льва Толстого, говоривший по-русски лучше, чем русские пореволюционных поколений и прекрасно помнивший приезды в Грузию Мандельштама и Андрея Белого, все же был очень стар и иногда, теряясь в потоке нахлынувших воспоминаний, называл меня «Коля», путая с Заболоцким (а ведь разница в возрасте, скажем, немалая, но... время все спрессовывает). В сущности я знал всех принадлежащих к разным поколениям заметных грузинских писателей моего времени. И всех, ныне превратившихся в мемориальные доски на стенах своих домов, любил. Некоторых сильно. Я дорого был дал, если бы мог поговорить с ними...

Я часто думаю о судьбе Ираклия Абашидзе, на шестом десятке перечеркнувшего почти все свои стихи. Все комсомольские. И начавшего всё с чистого листа. Однажды я пришел в его дом вестником большой радости. Случайно узнав нечто мало кому ведомое: что незадолго до своей кончины Михаил Михайлович Бахтин выдвинул на Нобелевскую премию поэму Ираклия «Палестина, Палестина», которую знал в переводе Межирова. В телеграмме, отправленной в Нобелевский комитет, было сказано: «...это то самое, иррационально идеалистическое и покаянное произведение, для награждения которого существует ваша премия». Ираклий Виссарионович не знал тогда трудов великого мыслителя и исследователя литературы, но мы с Межировым убедили Абашидзе, что рекомендация Бахтина стоит Нобелевской премии.

В отрочестве полюбивший грузинскую поэзию по переложениям любимых русских поэтов и в юности сам занявшийся грузинскими переводами, я не мог не ощущать себя одним из наследников двойного наследства. Межиров и Тарковский, особенно много сделавшие для того, чтобы я укоренился в Грузии, водили и возили меня по Тбилиси, рассказывали о Галактионе и Пастернаке, о Георгии Леонидзе и Тихонове, о Чиковани и Заболоцком. Показывали дома, где жили и гостили поэты, где жили и пленяли красотой возлюбленные былых времен. То, что я решился собрать антологию лучших русских переводов из грузинской поэзии «Зов Алазани» (от Бальмонта до новых дней), не было случайностью. Может быть, самоуверенно, ощущая себя последним в этом ряду (во всяком случае, на моем поколении дело, кажется, кончилось), я ощущал задачу как харизматическую. Эта книга-памятник — огромный слиток поэзии. И разве составителю принадлежит заслуга! Я лишь собрал то, что с десятилетиями уже вошло в состав поэзии русской.

На остающемся отрезке я хотел бы досказать собственные слова и почти совершенно отстранился от переводов. По совести я плохо верю в самую будущность переводческого ремесла. Но верю в единение поэтов, в мистическую связь Лермонтова с Бараташвили, в братство Тициана и Бориса. Несмотря на тягостные события, я не в силах согласиться с разрывом нашего духовного единения. Благородными примерами которого дорожу... Был в Тбилиси старый профессор, филолог Акакий Гацерелия. Раз в месяц на протяжении долгих лет

он отправлялся на городской почтамт и посылал продуктовую посылку с дарами земли грузинской старой дочери В.В.Розанова, жившей на пенсию в 37 рублей 26 копеек в городе Загорске (ныне вновь Сергиев Посад). Русские давно и позорно о ней забыли, но грузинская интеллигенция еще помнила, кто такой Розанов (между прочим, ничего о Грузии не писавший).

Ираклий... Меня восхищала не только его поэзия. Я удивлялся его редкостному уму, силе характера, невероятному чутью. Со мной он был откровенен и некоторые доверительные речи Председателя Верховного Совета Грузинской ССР и о давнем прошлом и о текущем положении были настолько ужасны, что казалось: мордовских лагерей мало. Но он видел меня насквозь и говаривал: «Ты меня запомнишь!» Я был не только его постоянным переводчиком, но и приближенным, конфидентом, другом, иногда и советчиком. Однажды он воскликнул, скорей горестно, чем самовлюбленно: «Совсем провинциальным стал Тбилиси. А меня не будет, еще провинциальней станет».

Утечка кислорода из воздуха, падение уровня культуры, забвение великих традиций — вот главная беда и России и Грузии нынешних... Я был в Грузии почти всюду, легче назвать населенные пункты, в которых не был, чем те, в которых довелось побывать. Грузины — мой любимый народ, и, мне кажется, я знаю их настолько, насколько можно знать, не будучи грузином. Как и отдельные люди, все народы имеют свои недостатки и они ведомы. Но прекрасны и все перекрывают великие достоинства грузинского народа: и соединенное с артистизмом мечтательное стремление к высокому, и отзывчивость, и заведомая доброжелательность, и ощущение жизни, порою скудной, как праздника, и непринужденная широта гостеприимства, и сочувственная веротерпимость, и даже великий встречавшийся обычай «мести добром». Но выше всего — то всеобщее у грузин свойство, которого, видимо, всё же лишены (в многолюдном большинстве своем) некоторые иные народы: умение вести себя с достоинством в любых обстоятельствах. Всему этому Грузия учила не только грузин... И неужели всё это уйдет бесследно для поколений, вступивших в небывало черствую эпоху?

И вот несколько вечно памятных строк Пастернака: *«Мы были в Грузии. Помножим /Нужду на нежность, ад на рай, /Теплицу льдам возьмем подножьем, /И мы получим этот край»*. Нужда пока не прошла (здесь можно сказать: «Увы»!) Сохранится ли нежность?

Олеся Николаева

Грузинская рапсодия

Я сажусь в машину и ставлю грузинские песни. Почти два часа, пока я пробираться сквозь московские пробки, я погружена в эти сладкие для сердца звуки. Сакартвело ламазо! Прекрасная Грузия! Нет земли прекраснее тебя!

С семнадцати лет я ездила в Тбилиси, где переводила стихи лучших грузинских поэтов — Галактиона Табидзе, Отара Чиладзе, Анны Каландадзе, Бесика Харанаули. Где дружила с лучшими грузинскими людьми — главным редактором «Литературной Грузии» Гурамом Асатиани, Даманой Меликишвили, Анной Харанаули, Нодаром и Жужуной Какабадзе, Вахушти Котетишвили, Михаилом Юрьевичем Лохвицким со всеми его домочадцами... Боже мой, всех и не перечесть, но о каждом можно рассказывать долго и нежно.

И вот я слушаю эти песни, которые знаю с ранней юности, и весь мир вокруг переполняется красотой, любовью и печалью...

...Я вспоминаю, как уже после всего, после разрыва России и Грузии, после закрытия Главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям, которая привлекала русских поэтов для переложения грузинской поэзии, после упразднения русского отдела в издательстве «Мерани», в свой последний год существования выпустившего мою книгу стихов «Смоковница», я приехала в Тбилиси с мужем, который читал лекцию в Тбилисском университете, и, к нашему изумлению, ему дали переводчика, потому что грузинские студенты не понимали по-русски... После долгого перерыва мы вновь оказались здесь.

В маленьком ресторанчике возле замка Метехи отмечали день памяти Тато Котетишвили, сына знаменитого по всей Грузии собирателя народной поэзии, переводчика с персидского, профессора, голубоглазого великолепного Вахушти... Он сидел посреди этого пиршественного стола, уже надломленный и постаревший, после операции на горле потерявший голос...

Собрались близкие друзья — актеры, музыканты, певцы, писатели, и мы среди них. Вспоминали Тато — талантливого режиссера, трагически погибшего в Голландии, куда он переехал к жене. И тут за столом — запели...

И в этом многоголосом пении было так много красоты и печали, что казалось, все твоё существо перерастает себя и откликается на эти звуки, участвуя в их длительностях и амплитудах, в их тремоло и драматических контрапунктах.

И вот я думала — как же давно я впервые услышала эти распевы, в те самые свои семнадцать лет, когда приехала сюда впервые. Я слышала их здесь на горах

под звездами и у темной воды озер, я слышала их под смоковницей, увешанной плодами, и под жасмином с едва-едва распустившимися цветочками. И я всегда знала, что именно это и есть полнота счастья! Именно это и есть — сама жизнь! Но мне тогда казалось, что где-то еще существует такое: в Испании, в Италии, в Греции, на юге Франции...

А теперь, объехав эти страны и даже пожив в них какое-то время, я поняла, что нет ничего прекраснее моей Грузии, — увы! — уходящей, меняющей свои уникальные чарующие черты, но всегда пребывающей в своем прежнем обличье здесь, у меня в самой нежной части души...

О, Грузия!

Итак, с семнадцати лет я почти ежегодно, а иногда и дважды в год, ездила в Грузию, где мне давали переводить грузинских поэтов. С одним из них — на мой взгляд, самым лучшим! — Бесиком Харанаули — меня познакомил в своем кабинете директор Коллегии по переводам Отар Филимонович Нодиа. Я несколько робела, поскольку они оба были «взрослые»: Отар Филимонович еще и солидный, а про Бесика мне говорили, что он — звезда на поэтическом небосклоне. Мне же только-только исполнилось двадцать три года, и никаких литературных достижений в этом деловом разговоре я предъявить не могла. Тем не менее мне дали пухлую папку с подстрочниками, и мы с Бесиком вышли на улицу.

— Я отвезу вас на машине, — сказал он. — Где вы остановились?

Я сказала, что живу у друзей в Сабуртало. И мы поехали.

Проезжая по Руставели мимо здания филармонии, где тогда размещался и музей детского рисунка, я заметила моему спутнику, что знакома с его директором — Автандилом Кухианидзе.

Бесик резко затормозил.

— Надо зайти к нему! А то обидится. Скажет — проезжали мимо и не зашли! Это мой друг!

И мы пошли к Автандилу. Он сидел в гордом одиночестве за столом и, по-видимому, скучал, глядя в окно и постукивая карандашом по столу. Судя по той радости, с какой он сорвался с места, когда мы вошли, и той готовности, с какой он вдруг стал выкладывать на стол корольки, чурчхелы и напитки, он словно предчувствовал наше появление, словно только нас и поджидал. Но часа через три оживленной беседы он вдруг спохватился:

— Простите, мне надо проводить даму на поезд! Из Москвы приезжала моя коллега смотреть музей, перенимать опыт, и я обещал прийти на вокзал попрощаться. — Он неторопливо достал из вазы цветы, положил в полиэтиленовый пакет корольки и чурчхелы.

— Я тебя отвезу, — пообещал Бесик. — Не торопись! Сейчас вместе отправимся на вокзал.

— Я тороплюсь? — удивился Автандил, — У нас в запасе целых пятнадцать минут.

Но пока мы завершали начатый разговор, пока выходили и садились в машину, время утекало и утекало. Неудивительно, что когда мы припарковались у вокзала и Автандил, элегантный, в белой шляпе, слегка сдвинутой на бок, похожий одновременно на Марчелло Маттеотти и Лино Вентура, без суеты прошествовал на перрон, поезд уже тронулся и показал ему свой хвост.

— Вах, неудобно вышло! Гостя, коллега, перенимала опыт, а я не проводил! — досадливо поморщился Автандил. — Подумает про меня: вот трепач!

— Не беда, — сказал Бесик. — У этого поезда следующая остановка во Мцхета. Нагоним!

И мы погна́ли. Время от времени мы видели поезд изда́лека, подчас входили с ним в параллель, а то он вдруг отрывался, летя на всех парах по прямой, в то время как наше шоссе делало досадный крюк, объезжая то городские постройки, то холм, загораживающий нам мчащегося соперника... Так что к вокзалу во Мцхета мы подъехали как раз в тот момент, когда наш поезд начинал трогаться, чтобы продолжить свой дальний путь.

— Следующая остановка — Гори, — заметил Бесик. — Если и в Гори не нагоним, придется в Имеретию мчать.

Я, честно говоря, была совсем не против! Вокруг открывалась такая красота, при виде которой вспоминалась притча Ивана Карамазова про «квадрильон квадрильонов», которые душа готова пройти ради того, чтобы только узреть подобное великолепие!

И мы продолжили путь. Цветы начали клонить головки в руках у Автандила, корольки подпрыгивали на буграх и колдобинах. И какая-то музыка, музыка неслась вместе с нами... А мы то вглядывались в открывающуюся даль, то весело болтали и смеялись.

— Поднажми! Еще поднажми! — время от времени подзуживал Бесика Автандил. — В Гори я знаю такой ресторанчик! Вот бы нам туда...

И Бесик поддал газку. С разгону мы чуть не влетели в здание горийского вокзала, и Автандил, невозмутимо поправляя белую шляпу, церемонно прошествовал на перрон.

— Прибавь шагу! — крикнул ему вслед Бесик, но тот только улыбнулся в ответ. Через несколько минут он вернулся, уже с пустыми руками.

— Что — проводил?

— Как видишь.

— И что? Верно была удивлена, увидев тебя входящим в Гори?

— Ничуть. Она была абсолютно спокойна. Ни один мускул не дрогнул на ее важном лице. Вежливо поблагодарила и решила, что здесь так принято: если не успел проводить даму в Тбилиси, ты непременно догонишь поезд ее в Гори!

— Она права, так и есть! — заключил Бесик.

И мы поехали в тот чудесный ресторанчик, о котором упоминал Автандил. Потому что закуски в музее детского рисунка были хотя и изысканные, но не способные утолить голод трем путешественникам, проделавшим в кратчайший срок этот полный тревоги путь.

Красавица Ирэн

Одно время моей самой близкой и заветной подругой была красавица Ирэн, прекрасная грузинка. Я была в то время студенткой Литинститута, а она — аспиранткой и писала диссертацию по творчеству Достоевского, которым прониклась до такой степени, что сама стала напоминать любимую свою героиню, а именно — Настасью Филипповну. И всякие экстравагантные истории происходили как с ней, так и со всяким, кто оказывался рядом.

Никогда не забуду, как она взялась переводить за большие деньги грузинский роман, и все жаловалась, какой он нудный и невыразительный, а она в своем переводе постоянно его подправляет и оживляет, придумывая за автора увлекательные диалоги и даже новые сюжетные ходы... Наконец она закончила

работу, и мы с ней полетели в Тбилиси, она — чтобы всучить перевод автору и получить обещанные деньги, а я — чтобы набрать новых подстрочников.

И вот проходят дня три, за которые автор, как видно, познакомился с новой — русской — версией своего романа, и он вызывает ее на разговор, где начинает пенять на то, что-де его замысел был искажен, идея изменена, да и вообще произносит всякие скучные вещи, вроде того, что сам не узнал свой роман и что переводчику платят именно за то, чтобы он ничего не придумывал, но строго следовал за грузинским текстом, и платят притом очень хорошо, очень щедро! И тогда Ирэн в сердцах, прямо как вышеупомянутая Настасья Филипповна, хватает свою рукопись и рвет, рвет, рвет ее на мелкие кусочки к изумлению своего собеседника. И удаляется с высоко поднятой головой.

Такой характер был у Ирэн! Ничто суетное и земное ее не волновало. А еще она была чудо как хороша собой, за что к ее имени мы неизменно прибавляли «красавица»: красавица Ирэн.

Чем-то она походила на знаменитую поэтессу Беллу Ахмадулину, разве что моложе лет на десять. Но — та же рыжеватая челка, разрез темных глаз, стиль одежды... Ирэн даже умела говорить, как она, рождая звуки специфическим напряжением губ и гортани, меж которых, перекатываясь во рту, вылепливалось слово.

И вот как-то раз зашли мы с Ирэн после какого-то литературного вечера в ресторан ЦДЛ, взяли тарталетки с кофе и сидим, обсуждая что-то. И вдруг к нашей скудной трапезе официант приносит бутылку шампанского и вазу фруктов. Мы стали недоуменно оглядываться: кто из знакомых мог это сделать? Но тут и возле нашего стола выросли три мужские фигуры с бокалами в руках, и все трое с заметным грузинским акцентом взмолились:

— О, Бэлла! Как вы прекрасны, Бэлла! Прочитайте нам что-нибудь!..

Ирэн не надо было долго упрашивать. Она и прочитала им с подобающим выражением лица, со всей мимикой и голосовыми модуляциями перевод Ахмадулиной из Галактиона Табидзе:

Венчалась Мери в ночь дождей,
И в ночь дождей я проклял Мери.
Не мог я отворить дверей,
Восставших между мной и ей,
И я поцеловал те двери!

Они были в восторге! Но как же они были изумлены, когда Ирэн на чистом грузинском языке продекламировала им оригинал!

— А что? — говорила она мне потом. — Изабелле Ахатовне я ничем не повредила, ничем ее не скомпрометировала, наоборот: знание грузинского только придало ей веса. Ну, разве что шампанское мы вместо нее выпили, — так ведь за ее же здоровье!..

...Прошло лет десять. В тбилисской коллегии по переводам решили организовать курсы изучения грузинского языка для переводчиков. Предложили и мне туда поступить.

— Пора и тебе выучить грузинский! Вон мне рассказывали — Ахмадулина Галактиона Табидзе в оригинале читает! Наизусть!

Я вспомнила давнюю мистификацию Ирэн, засмеялась и... согласилась.

Портрет

Когда мы подружились с Бесиком Харанаули, он представил меня своей семье.

— У нас все — гениальные, — предупредил он. — Один я — мальчик Бесик.

Действительно, жена Бесика — Дамана Меликишвили — профессор университета, знаток древнегрузинского языка, чрезвычайно умная, образованная и утонченная женщина. «Для нее не существует китайского», — шутя говорил о ней Бесик: это означало, что она знает все на свете. Дочь — Анна — в те времена студентка, изучала языки, и Бесик просил привозить для нее из Москвы книги на немецком и греческом.

И еще у Бесика был Леван — талантливый сын-художник. Все стены в их доме были увешаны его картинами. Это были портреты, написанные маслом, письмо которых немного напоминало руку самого Эль Греко. На них были изображены члены семьи, какие-то старики, дети и сам автор, и у всех было такое странное выражение глаз, словно они смотрели внутрь и застыли, удивляясь увиденному и о чем-то грезя...

В один из моих приездов я остановилась в семье Харанаули. И Леван предложил написать мой портрет. Каждое утро я усаживалась перед ним, почти скрытым от меня подрамником, и мы разговаривали. Вернее, говорила я, а он, поглядывая на меня зорким и каким-то отчужденно-хозяйским взглядом, словно присваивал мои черты, переносил их на картину.

— Покажи, — просила я каждый раз, когда сеанс заканчивался.

Но он закрывал написанное, не позволяя увидеть до тех пор, пока работа не будет закончена.

И вот настал последний день. Леван уверял, что еще немного и портрет будет готов, еще несколько мазков, черточек, бликов. Каково же было мое разочарование, когда вдруг, прервав работу, он унес портрет в свою комнату и, вернувшись, сказал:

— Не получилось...

Потом уже, через несколько лет, попав на его выставку в Тбилиси, я вдруг поняла, что именно ему тогда не удалось в моем лице: этот взгляд, устремленный внутрь и замороженный приоткрывшейся там тайной. Нет, в те мои двадцать три года, когда он трудился над моим портретом, я, напротив, вся выглядывала из себя наружу, как из окна, словно желая из него выскочить и объять весь мир.

Сейчас, я думаю, у Левана бы получилось!

Портрет

Меня три дня художник рисовал,
мое лицо выхватывал из мрака,
уста вылепливал, глаза мне раскрывал
и пряди жесткие раскладывал двояко.

Уже горел лиловый луч во лбу,
и рот лукаво заперт был во льду
иронии и недомолвок, властно
лежала пясть узлом моих скорбей,
и лишь зрачок, как древний скарабей,
из радужки распахивался властно.

Да, это я смотрела из глубин,
двадцатилетними занесена песками,
из форм неправильных, из непослушных глин,
изрыта бликами, испещрена мазками.

За правым, чуть приподнятым плечом
стоял мой ангел с поднятым мечом,
за левым — было демона соседство,
передо мной — художника прищур,
за мною — фон: он бежев, ал и бур,
но я оттуда, если приглядеться.

Портрет готов, окончен разговор.
сокрытое пора предать огласке.
А ты, художник, все глядишь в упор,
все шуришься, все прибавляешь краски.

То ты сутулишься, то вскакиваешь вдруг,
то с раздражением роняешь кисть из рук,
то замираешь рядом пригвожденно,
а то в плечо вжимаешься щекой
и наконец бестрепетной рукой
стираешь всё и смотришь отчужденно.

...Не извиняйся! Так же в День восьмой,
сточив все грифели и иссушив фломастер,
с лица земли сотрет весь образ мой
взыскательный и терпеливый мастер.

И это я твержу: «Прости, прости,
что я не удалась тебе! В горсти
Ты все мои черты держал умело.
И всё мне шло: любая тень и штрих,
а я, кривясь, выламывала их
и дерзновенно в зеркало глядела».

Свободный стих

Бесик писал верлибром. Как ни странно, именно это для меня представляло определенную сложность: ведь отсутствие каких-либо формальных признаков делало подстрочник как бы готовым переводом! И Бесик старался мне объяснить тот подтекст, который был подстрочником «выпарен». Ауру стихотворения.

Сам он родился в деревне Тианеты в семье учительницы, и он решил мне показать те горы и то небо, среди которых вырос. Мы сели в его машину, и он меня повез по Грузии. Мы съездили в его родное село, а потом объехали всю Кахетию, поднялись в баснословно красивый город Сигнахи, зарулили в городок Тетрицкаро, где на маленькой площади стоял маленький Ленин с поднятой ручкой: «Богатство района определяется по размеру Ленина, — заметил Бесик, — Видишь, район этот бедный, поэтому и Ленин у них — малютка». А где-то, кажется, в Гурджиани мы видели такого грома-а-адного Ленина — значит, и жилось побогаче...

То солнце нестерпимо слепило глаза, то мы попадали в туман. И тогда так много стало понятно в стихотворении Бесика:

В тумане потонула Мамкода.
плакала от всего сердца:
там убили брата моей матери
за его красивое тело.

Это стихотворение щемило, в его глубине виделись фигуры, мелькали тусклые зловещие огни, слышались крики. Любовь, ревность, трагедия, месть, кровь, слезы, боль, которая остается навеки, но меняет свое обличье... Преображается в слове, в грузинском танце: сама трагедия претворяется в художественную картину, в миф, в котором жизнь горестна, хрупка, страшна и прекрасна.

Ночью затосковал и приходил к тебе...
Но тебя не было дома,
И дома твоего не было в городе.
И города такого больше не было на земле...

Грузинская патриотка

С Отаром Челадзе, которого я тоже взялась переводить, шли совсем другие разговоры:

— Ты не задумывалась, почему у нас хинкальные переименовывают в пельменные? — спрашивал он.

Тогда все только-только начиналось — полуподпольные разговоры о засилье русского языка; сетования на то, что в Абхазии становится беспокойно, что Осетия пошатывается; уверения, что Грузия могла бы сама себя прокормить, продавая один лишь боржоми...

Я дружила с грузинами и была целиком на их стороне. «Ты — грузинская националистка!» — усмехался Отар.

— Нет, я — грузинская патриотка, — отвечала я, памятуя о том, что среди моих тбилисских друзей есть не только грузины, но и армяне, черкесы и даже один курд.

Как-то, выйдя из гостиницы, и собираясь ехать к друзьям в Сабуртало, я остановила такси, в котором сидел Отар: увидев меня, он решительно сказал:

— Поедем к художнику Коке Игнатову. А то он вот-вот покинет Грузию и уедет к жене за границу.

Что ж, мы отправились к Коке.

Он жил один в огромной полупустой квартире, что, впрочем, могло объясняться его скорым отъездом. Мы сели в кресла вокруг журнального столика, заваленного всякой мелочевкой — бумажками, фигурками, сигаретными пачками. У Коки даже есть такая картина, которая называется «Моя жизнь».

Итак, мы сидели, разговаривали, попивали прекрасное вино. Но что-то было томительно-зловещее в атмосфере этого дома. Что-то невыносимо тяготило душу... Какие-то сумерки, тени метались по углам, и все вокруг становилось мрачным и безысходным. В конце концов, я сказала об этом...

— Ничего удивительно, — грустно усмехнулся Кока. — Здесь месяц назад застрелился мой друг. Все сидели большой компанией, ели, пили, шутили, а он незаметно удалился в дальнюю комнату и застрелился. Вот его неуспокоенный дух, наверное, и навеивает тоску.

...Через много лет я вновь приехала в Тбилиси, где уже не было почти никого из тех, с кем я дружила раньше: ни Отара, ни Михаила Юрьевича Лохвицкого (дяди Миши), ни Вахушти Котетишвили, дом которого сгорел при обстреле правительственного комплекса, ни Гурама Асатиани. Да и Кока умер незадолго до этого в Париже, и я, проходя там мимо Культурного центра,

случайно увидела объявление: там-то, тогда-то, на сороковой день после смерти, состоится вечер памяти художника Николая Игнатова, скончавшегося в Париже. И — его портрет в траурной рамке.

Так вот, когда я приехала в Тбилиси года три назад, у меня тоже вдруг возникло ощущение, сходное с тем, какое я испытала в доме у Коки Игнатова. Словно кто-то среди всеобщего возбужденного разговора на минутку вышел в соседнюю комнату и застрелился.

Тифлис

Это был настоящий город-праздник, город-подарок, волшебник и чародей!

Там можно было назначить встречу знакомому человеку, и, если Тбилиси не пожелает, встреча не состоится — он тебя куда-то заманит, заморочит, околдует, оплетет, так что и не выберешься. А можно было на пустынной ночной улице встретить приятеля из Москвы, который покажется тебе бесценным и желанным другом. Но я старалась держаться стойко и не сворачивать с намеченного пути, который пролегал через проспект Руставели.

Итак: филармония, где до поры размещался музей детского рисунка, потом дом, в котором жили мать и сестра поэта Сергея Алиханова; далее — издательство «Мерани», где выходили книги моих переводов, а потом и моя собственная; где работала Наталья Соколовская, поэтесса из Питера, вышедшая замуж за грузина. Далее, на той же стороне Руставели — шли воды Лагидзе, пройти мимо было невозможно, и надо было обязательно выпить двойной сливочный с шоколадным, а то и малинным, а то и — вдогонку — с вишневым.

Потом — редакция «Мнатоби», где работал Бесик Харанаули, к которому обязательно надо было заглянуть, а в том же здании — центральный телеграф, откуда можно было позвонить домой. После этого можно было либо завернуть направо в переулок и постучаться к Вахушти, в его изысканно убранный родовой особнячок и выпить кофе с ним и его женой Мананой; либо, перейдя на другую сторону улицы, зайти в Кашветскую церковь, у порога которой сидели уже знакомые мне нищие.

Здесь, в этой церкви служил отец Димитрий, женатый на русской женщине Ольге. И как-то раз, когда я ставила там свечи, он, обратив внимание, что я появляюсь там не впервые, подошел ко мне, мы разговорились, и с тех пор, проходя мимо, я всегда заходила поздороваться.

И дальше, после храма, уже ничто не отвлекало меня от цели. Я приходила в Коллегию по переводу, где у меня было так много друзей. Мы делились новостями, гадали на кофейной гуще, рассказывали анекдоты, искали рукописи, которые вечно исчезали под спудом, читали стихи...

Кстати, стихи тогда читали везде, во всех грузинских домах. Вот сидит компания известных грузинских художников, и один из них предлагает почитать по кругу. Кого читают в присутствии московской гостии? Русских поэтов! Пастернака, Лермонтова, Блока... Грузинские художники! Наизусть!

Спросите меня ещё и еще раз: «Чувствовала ли я когда-нибудь полноту жизни?», отвечу по десятому разу: «Да! Да! Да! В Грузии!»

Ольгинский монастырь

Жил на маленькой кривой улочке в старом Тбилиси, неподалеку от Коллегии по переводам, архимандрит Антоний, с которым я познакомилась в Псково-Печерском монастыре. Он посоветовал мне добраться до монастыря святой равноапостольной княгини Ольги, который располагался в горах, недалеко от Мцхета. В те времена это был единственный монастырь в честь моей святой.

Я откликнулась на предложение отца Антония. Он дал мне в спутницы свою келейницу — престарелую монахиню Аскитрию, такую худую, что поначалу я была уверена: ее имя происходит от слова «аскет» — Аскетрия. Нагрузил нас восковыми свечами, коробками с великолепным ладаном, распространяющим вокруг неземной запах, бутылками с лампадным маслом и поручил купить во Мцхета, у подножья горы, на которую нам предстояло взбираться, несколько лавашей — сколько унесем.

Мы тронулись в путь, таща огромные сумки, которые и пополнили свежим лавашем. Тропа между тем была узка и крута — надо было смотреть себе под ноги, чтобы не оступиться. Несколько раз мы останавливались, переводя дыхание, и замирали от богоданной красоты вокруг — небо, горы, поросшие зеленью, птицы, колышущие, как тонкую занавеску, и веселящие голосами прозрачную тишину...

Наконец на одной из вершин показался купол храма, а за ним возник и монастырь: фруктовые деревья, кусты смородины, домик, где живет немолодая, но очень красивая игуменья с несколькими насельницами, совсем старыми и немощными.

— Одна у меня печаль, — сказала она. — Нет у нас молодых послушниц, которым можно было бы передать монастырь. А то — умрем, и никого здесь не останется. Может, ты к нам пойдешь? — обратилась она ко мне просительно.

Это было не в первый раз, когда меня звали в монастырь: когда-то, в отрочестве, родители повезли меня в Польшу, где, путешествуя по Мазурам, мы попали в русскую православную женскую обитель (по всей видимости, не Московского Патриархата, а Константинопольского). Там тоже была красивая старушка-игуменья, и она, сетуя на преклонный возраст своих монахинь, и видя, с каким восхищением я стою в храме, вдруг стала уговаривать моих родителей, чтобы они не препятствовали мне уйти к ней в монастырь. Мама моя даже испугалась и стала сбивчиво объяснять, что у меня «другая судьба». Но игуменья только повторяла со вздохом: «Как знать, как знать...»

И теперь этой игуменье Ольгинского монастыря я ответила так же, как некогда моя мама:

— У меня другая судьба.

Подобная невольная переключка уже бывшего и случающегося, прошедшего и будущего как-то особенно отчетливо слышалась именно в Грузии. Она словно напоминала, что существуют такие тонкие незримые нити, которые насквозь пронизывают и словно прошивают саму ткань жизни, не давая ей расползаться и придавая форму.

Пир

Иногда, приезжая в Тбилиси, я невольно думала о том, что меня здесь ждут как повод явить собственный артистизм и остроумие, повеселиться, попить до утра: с полной законной беспечностью петь среди гор и ущелий, читать стихи возле гулко-го озера, мчаться в пространство под огромными звездами... Ибо ведь серьезнейшие люди, бывало, срывались с места и увлекали меня смотреть красоты и заглядывать в метафизические глубины.

Дорогой Гурам Асатиани, в ту пору главный редактор журнала «Литературная Грузия», был одним из таких людей. Ему нравились мои стихи, и он охотно их печатал. Вот почему мы и зашли к нему в редакцию просто так — по дороге — с моей подругой, красавицей Ирэн, у которой в этом журнале собирались печатать перевод романа.

Гурам, серьезный, вальяжный, седой, в очках, сидел в своем кабинете во главе стола, по обе стороны которого расположились сотрудники: наверное, у них шла «летучка». Он начальственно взглянул на нас сквозь очки, сказал что-то строгим голосом своим подчиненным и сделал им знак, что все свободны. Как только все покинули его кабинет, он расплылся в улыбке, протянул нам обе руки и сказал:

— Ну, поехали!

— Да мы не можем, в другой раз! — возражали мы. — Нас сегодня ждут в гости.

— Кто?

Мы называли сына художника Давида Какабадзе — Нодара, известного германиста, с которым, несмотря на большую разницу в возрасте, мы дружили.

— Я был когда-то влюблен в его жену Жужуну, — мечтательно произнес Гурам. — очень бы хотелось встретиться с ней сейчас! Ну, и с Нодаром тоже. Я тоже с вами пойду.

Я смутилась — я не знала, что в Грузии можно вот так: узнать, что кто-то ждет гостей и пойти туда заодно. Но Гурам-то знал, что ему в этом доме будут рады!

И действительно, при нашем появлении раздались радостные восклицания, распахнулись объятия, и мы расселись вокруг стола, который Жужуна устала грузинскими яствами, лучше которых нигде нет на земле.

Слово за слово, тост за тостом, зашел разговор о самом разговоре.

— Я люблю прямые высказывания, — объявила я. — да-да, нет-нет. Люблю говорить: «люблю», «ненавижу», «презираю» и «преклоняюсь»!

— Нет, — возразил мне Гурам, — нюансы все же очень хороши... Полутона, полутени, скольжение луча, мгновенная вспышка!

Вдруг он вскочил из-за стола и заторопился:

— Нам надо ехать дальше, — внезапно объявил он растерявшемуся Нодару.

И, схватив нас с Ирэн за руки, повлек к дверям.

— Да куда же вы? — огорчился Нодар. — Там еще горячее...

— Мы еще вернемся, — пообещал ему Гурам.

Мы с Ирэн так ничего и не поняли, а меж тем он уже усаживал нас в машину и мчал куда-то вверх, в гору, на вершину горы Мтацминда. Мы расположились там на веранде в полупустом ресторане, и он стал развивать свою мысль о легких штрихах, контурах, тончайших черточках жизни, о которых, как он признался, не мог говорить в академической среде.

Но на самом деле ему тяжело и грустно до слез было смотреть на милую постаревшую и располневшую Жужуну, в которую он был без памяти влюблен в юности.

Отиа Иоселиани

Бесик сказал: — Надо бы поехать поздравить нашего классика — Отиа Иоселиани. Ему исполняется 50.

И мы поехали. Был с нами и Гурам Асатиани.

Отиа оказался строгим, сдержанным стариком (!), в сванской шапке (друзья сказали мне, что он привнес эту моду в творческую среду), с лицом, словно высеченным из камня, без малейшего намека на мимику. По-русски, как выяснилось, он почти не говорил, и мое пышное поздравление не понял. Но пиршественный стол был роскошен, тосты многословны, мои друзья устали мне переводить. Мы просто сидели своим междусобойчиком, отвлекаясь лишь на певцов да танцоров...

Прошло тридцать лет, отгремели в Грузии войны, юные состарились, старики отошли в мир иной. И тут нас с мужем пригласили на фестиваль поэзии в Грузию! А там вместе с другими поэтами повезли из Тбилиси в Батуми.

— По дороге сделаем остановку в Кутаиси, — сказал Николай Свенцицкий, главный человек на этом празднике. — Там нас ожидает сюрприз!

Действительно, в Кутаиси остановились у ресторана. А там накрытые столы, тарелки с закусками налезают одни на другие... Запотевшие бутылки с вином.

— Сейчас придет наш замечательный юбиляр, который захотел видеть вас на своем празднике.

Погодя в зале появился тот самый Отиа Иоселиани, в неизменной сванской шапке, сдержанный, невозмутимый, ничуть не изменившийся за эти годы: всё с тем же лицом, высеченным из камня и по этой причине не знающим морщин.

— Мы поздравляем батано Отиа с восьмидесятилетием! — возгласил Николай.

Вот так! Значит, с тех пор, когда мы праздновали его пятидесятилетие, прошло тридцать лет, и он, тогда почтенный старик, был моложе, чем я, попавшая волей судьбы на его восьмидесятилетний юбилей!

Мне стало грустно. Почти так же, как затосковал Гурам Асатиани, увидев вдруг свою былую красавицу-любовь в облике немолодой, грузной Жужуны.

Эстонские булочки

Анна, дочь Бесика Харанаули, будучи школьницей, поехала со своим классом на экскурсию в Эстонию. Это было еще в советскую эпоху. Как-то вечером они с подружкой, отстав от группы, отправились гулять по Таллинну, проголодались и зашли в булочную купить хлебушка. Увидели на витрине булочки и, протянув продавщице деньги, попросили (по-русски, естественно) две штучки.

Продавщица куда-то ушла и вынесла им две булочки, такие черствые, что девочки, потрогав их, перебрались несколькими словами по-грузински: то ли гвозди, мол, можно забивать, то ли зубы бы не сломать.

Продавщица, стоявшая перед ними с непроницаемым лицом, прислушалась к незнакомой речи, спросила:

— Девочки, вы что — не русские?

— Нет, — ответили они, — мы грузинки.

— А, — кивнула она, — тогда подождите!

Взяла у них из рук черствые, несъедобные булки и через минуту появилась с теплыми, свежайшими, аппетитными. И с милой улыбкой на круглом лице.

Полицейские и воры

Однажды я приехала в командировку в Грузию с моей старшей дочерью, семилетней Александриной. Она была удивлена, что все мои друзья знают ее заочно, целуют в щеку, как свою знакомую:

Гуляли мы с ней по Тбилиси, гуляли, пока нас не обокрали прямо на моем любимом проспекте Руставели. У меня на плече висела сумочка, а в сумочке всё — паспорт, водительские права, авиабилеты туда и обратно, командировочное удостоверение, деньги. И вот в одной из витрин я вдруг увидела свое отражение, а там — сумочка-то расстегнута! Опускаю глаза — действительно, расстегнута и пуста! Что делать?!

Поскольку оказались в двух шагах от театра Резо Габриадзе, мы, как бедные родственники, постучались к нему. Не давая мне раскрыть рта, он сказал:

— Вы вовремя! Как раз спектакль начинается. Я вас в первый ряд посажу. — И повел в зал, где уже начал гаснуть свет.

Посмотрели мы его чудесный спектакль, я поведала ему нашу грустную повесть, а он и говорит:

— Не горюй! Вот вам деньги на такси, а завтра что-нибудь придумаем.

Но домой нам еще не хотелось, и мы зашли к отцу Антонию, жившему неподалеку. Он ни слова не говоря вынул сто рублей и сказал:

— Можете не возвращать, это вам мое благословение.

Взяли мы эти сто рублей со слезами благодарности и пошли вверх, на проспект Руставели. У Кашветской церкви встречаем отца Димитрия.

— Что грустные такие?

— Да вот, у нас украли документы и деньги... Но отец Антоний уже дал нам сто рублей.

— Подождите, — сказал отец Димитрий, ушел и вынес нам сто рублей.

— Зачем? — смутилась я. — У нас теперь есть на что билет купить...

— У отца Антония взяли, а у меня не хотите? — он сделал вид, что обиделся, и стал запихивать купюры в мою пустую сумочку.

Вечером я позвонила мужу и рассказала, как нас обчистили, и как два священника дали мне двести рублей на обратные билеты.

Ближе к ночи муж звонит мне и говорит, что в Институте искусствознания, где он тогда работал, оказалась аспирантка из Грузии, которая, узнав о произошедшем, вызвалась помочь: ее супруг Боря ни много ни мало начальник тбилисского ОБХСС, она уже поговорила с ним, и Боря обещал утром прислать за мной машину.

Действительно, на следующее утро меня просят к телефону и спрашивают, удобно ли мне через полчаса спуститься к машине. Черная «Волга» будет ждать у подъезда. Спускаюсь, сажусь в машину со шторками, и привозят меня к Боре. Он выходит, начальственный, вальяжный; милицейские чины вытягиваются при его появлении и щелкают каблуками, а он протягивает руку, ведет к себе как почетную гостью и выслушивает мою печальную историю.

— Где это произошло? И что в сумочке конкретно было?

Я помню, что у дома мамы Сергея Алиханова сумочка еще была полна — там мы покупали мороженое, у вод Лагидзе — тоже, а перед площадью Ленина оказалась пуста.

— Да, — задумчиво произносит он. — Ну, паспорт вернут. Деньги — нет. А остальное — не уверен...

Вызывает к себе двух подчиненных и дает задание: узнать, кто «держит» район, и этого субчика хорошенько тряхануть.

— Не беспокойтесь, — говорит нам Боря. — Возвращайтесь к себе, когда захотите, на наших служебных местах. Есть у нас такие в самолете...

После возвращения в Москву я с ужасом думаю о хлопотах по восстановлению паспорта, как вдруг обнаруживаю в почтовом ящике пухленький пакетик без обратного адреса и почтового штемпеля. Разрываю его, а там — паспорт, водительские права, командировочное удостоверение...

Вот так Боря! Удалец!

Мамао Торнике

Грузинский архимандрит Торнике сидел дважды.

Первый раз за царицу Тамару. Он тогда подвизался в монастыре Зедзени, на вершине горы. И туда поднялись советские туристы. Мамао (отец) Торнике принялся их просвещать, стал рассказывать про крещение Грузии. Упомянул и царицу Тамару. А один из туристов, полковник, себе на беду, скабрёзно хмыкнул и обозвал ее нецензурным словом¹. Ну, и получил от архимандрита по заслугам, прямо в зубы: тот, как рыцарь за честь Прекрасной Дамы, вступился за святую царицу. Полковник на него и донес куда следует.

Второй раз мамао Торнике сидел за то, что крестил в Черном море пионерский лагерь. Я представляю это так: пионеры пошли купаться, а он над каждым произнес: «Крещается раб Божий (имярек) во имя Отца (аминь), и Сына (аминь), и Святого Духа (аминь)». Трижды окунул, и пионеры вышли из воды юными христианами.

После этого он уединился на высокой горе, но уже в другой части Грузии — неподалеку от Кутаиси, и восстановил там разрушенный монастырь Моцамета — святых Давида и Константина.

И вот этот чудесный архимандрит собирался приехать в Москву. Наш друг, как и мы, патриот Грузии, сказал нам:

— Наконец-то я познакомлю вас с настоящим подвижником. Он будет проездом в Москве. А уж оказавшись здесь, непременно пойдет в «Детский мир» покупать подарки для своих малолетних внучек.

Мы удивились:

— Что это за подвижник, у которого внучки и нужда в подарках?

— До монашества он был женат и звали его отец Георгий, вот у него и внучки. А потом он принял монашеский постриг с именем Торнике.

Наконец он приехал. Двери распахнулись и... Нет, кажется, таких людей земля уже давно перестала производить на свет, разве что в виде великого исключения вспомнила вдруг о славных временах праотцов, патриархов и пророков, на которых природа не скупилась, являя свое искусство.

На пороге стоял величественный человек, не старик, но старец двухметрового роста, с роскошными седыми кудрями и такой же белоснежной густой бородой. Прекрасное лицо его было тончайшей лепки и резьбы: римский нос, высокий лоб, острые скулы и добрые мудрые глаза, знающие тайны, сокрытые

¹ Как и большинство русских туристов, полковник спутал великую царицу Тамару, канонизированную святую грузинской церкви, с героиней знаменитой Лермонтовской баллады, у которой совсем другой исторический прототип.

от простых смертных. Одет он был в темно-вишневый подрясник, на котором золотился большой наперсный крест. Сам облик его уже был проповедью. За этим человеком хотелось пойти, куда бы он ни пошел, около него хотелось пребывать, где бы он ни оказался.

Когда мы, сопровождая его, отправились наконец в «Детский мир», все — и прохожие, и продавцы, и покупатели, — застывали потрясенно, приоткрыв рот, словно увидели диво, а затем завороченно, словно не желая расставаться с чудесным видением, двигались за ним следом. Некоторые даже просили у него благословения. А он шел с просветленным лицом сквозь толпу, словно посланник иного мира, вестник Небесного Царства, оказавшийся в центре суетливой атеистической Москвы и свидетельствовавший о том, что есть другая жизнь.

Уезжая, он пригласил моего мужа к себе в монастырь:

— Женщинам туда вход воспрещен, — пояснил он мне. — А муж твой пусть придет помолиться. Моцамета значит «исполнение желаний»!

Спустя какое-то время, мой муж отправился туда, да не один, а с другом — иеромонахом из Лавры. Заехали сначала в места ссылки Святителя Иоанна Златоуста, побывали на месте мученической смерти святого мученика Василиска, которая произошла над источником, куда стекла его честная кровь. Нырjali в этот источник с ледяной водой, чтобы достать со дна один из камней, на которых, по преданию, запечатлелись следы его праведной крови, а уж потом проехав Кутаиси, поднялись в Моцамети.

Вокруг была несказанная красота! Монастырь располагался на утесе, формой напоминавшем перевернутый утюг. И на самом его острие, над пропастью, высился чудный храм, возле которого теснилось монастырское хозяйство. Отсюда, сверху, пасшиеся внизу коровы казались божьими коровками, а добротные крестьянские дома — спичечными домиками.

Но зрелище, которое им открылось возле храма, и вовсе их поразило. Был воскресный день, и все пространство здесь было заполнено народом. Люди несли в руках кур, петухов, уток, вели на веревках коз и барашков. Куры кудахтали, петухи кукарекали, барашки блеяли.

Литургия завершилась, и на пороге появился священник. Он взял одного из барашков на руки и пошел с ним вокруг храма. Толпа двинулась следом.

Лаврский иеромонах и мой муж замерли в недоумении.

— А, — махнул на это рукой мамао Торнике, когда, увидев их, подошел с благословением. — Есть такой здешний обычай — жертвовать на монастырь курами и барашками. Однако жертва считается принятой, если священник обнесет ее с молитвой вокруг храма.

— А куда вы деваете потом этих кур с барашками? — спросил иеромонах.

— Они у меня живут в специальных загончиках, пока не приезжают люди из ближайшего колхоза, которые их покупают. Мне-то эти куры ни к чему — я мяса не ем. Но вас угощу цыпленком табака. Прощу! — И жестом пригласил их в дом.

Гости оказались в большой комнате, можно даже сказать — зале. В ее углу была печка, у окна — швейная машинка, а посередине стоял длинный стол со стульями и белый рояль... На все это благолепие из красного угла взирали святые лики.

— Мы здесь живем вместе с леди. Только я и леди, — загадочно сказал мамао. Мой муж и иеромонах смущенно переглянулись.

Меж тем в залу вошел огромный белый дог.

— Знакомьтесь. Это и есть моя Леди, — улыбнулся мамао Торнике, потрепав ее по холке. — Располагайтесь! Сейчас я буду печь хлеб.

Он достал с полки муку.

— Давайте я вам помогу, — с готовностью вызвался мой муж.

— Нет, — решительно отказался мамао, — я все делаю сам. Сам готовлю, убираю, шью. Мои подрясники, рясы, все, что на мне, — это мое рукоделие. Женщин вообще не допускаю в монастырь. Только в храм, помолиться. Человек должен постоянно трудиться, ибо лень губительна. Вот сейчас в округе стало много горных монастырей, так монахи там нередко голодают! Не могут себя прокормить! Часто они, молодые, приходят ко мне кланяться. Я никому не отказываю, однако, стыжу: «Вы — сильные, крепкие, а попрошайничаете! Где ваше монашеское рукоделие, которым пустынники древности добывали себе пропитание?»

Мамао Торнике, закатав рукава подрясника, всю месил тесто для хлеба и прикрыл тяжелой крышкой шипевшего на сковороде цыпленка, возле которого томила в горшочке зеленая фасоль.

— А там, в подвале, у меня целебные настойки, которые я готовлю на травах, — продолжал архимандрит, ловко переворачивая хлеб. — Меня в лагере так и называли «лекарь», кличка такая у меня там была. Пойдемте, покажу.

Они спустились в подвал, пол которого был уставлен бутылочками, банками и склянками с настойками. С потолка и стен свисали растрепанные пучки трав. Это была целая фитолaborатория...

— Это — от давления, это — от одышки, а вот это — от кашля, — пояснял лекарь-священник, обводя рукой комнату и притрагиваясь то к корзинке, то к склянке. — Господь врачует нас Своими дарами — земными и небесными.

Меж тем пора было уже и к столу. Мамао расставил тарелки и миски, стаканчики, достал кувшины с питьем, положил моему мужу обещанного цыпленка, а себе и иеромонаху — плодов земли: фасоли, шпината, помидоров и зелени.

— Поначалу я был здесь совсем один. И чаял жития отшельнического — только душа и Бог, и более никого. Но потом сюда потянулись местные жители — помолиться, ребенка покрестить, совета священнического попросить. Стали приезжать и издалека — из Тбилиси, из Москвы, даже из заграницы: как откажешь, если у человека скорбь, или болезнь, или вопрос неразрешимый, или нужда в покаянии? Как откажешь, если просят пособоровать больного или отпеть умершего?

И он тяжело вздохнул. Потом поднялся из-за стола, сел за белый рояль и заиграл Шопена.

Все это было так необычно, так чудесно! Высокогорный монастырь. Отшельник, старый лагерник, вступивший в свое время за честь царицы Тамары. Белый дог, белый рояль, целебные травы, Шопен...

Мой муж вышел на воздух. Было уже темно. По безднам, над которыми нависал монастырский утес, лепился туман. Прямо над головой сияли огромные звезды. А возвышающийся надо всем храм, казалось, стягивал к себе всю округу, не давал пространству расплзтись бесформенной массой, придавал ему и форму, и смысл.

...Я сажусь в машину и сразу включаю грузинские песни. И сразу оживает передо мной моя жизнь, быть может, лучшая и блаженнейшая часть которой была связана со страной, которую я называю «второй родиной» и от которой получила столько света и столько поэзии, что душа изнемогает от этого избытка.

Подкрепите меня вином,
освежите меня яблоками,
ибо я изнемогаю от любви!

Олег Хлебников

След шаровой молнии

Грузия началась для меня с Сухуми. Это был самый конец 70-х и самое начало ноября. В Сухуми проходил симпозиум по кибернетике, и я как аспирант замечательного ученого Дмитрия Александровича Поспелова на него попал.

Погода стояла совершенно непредсказуемая. Вернее она как раз не стояла, а все время двигалась: то бушевала гроза с ливнем, то падал мокрый снег, то появлялось солнце и уже спустя полчаса можно было купаться. Что некоторые из нас и делали с удовольствием.

Все семинары и доклады проходили в помпезно-триумфальном здании сухумского театра, у самого моря. Наконец очередь дошла и до моего стендового доклада. Но только я взял в руки указку — раздался взрыв. В просторное фойе, где все происходило, полетели стекла высоких окон. А время было такое, что все — даже серьезные ученые — решили: «Началось!» Что именно — не требовало объяснений: конечно, война, и возможно — атомная.

Тут уж было не до докладов. Все высыпали на улицу. И увидели кипарис, расщепленный вдоль, как спичка. Две его половины лежали у фасада театра. Зеваки сказали, что это шаровая молния расщепила дерево и ушла в землю, произведя взрыв.

На следующий день я снова шел в театр, чтобы все-таки сделать свой доклад. И увидел грузинских стариков в сванских шапочках, копавших землю вокруг бывшего кипариса. «Что они делают?» — спросил я у одного из многочисленных зевак. «Как что? Молнию ищут! Сюда вчера шаровая молния вошла. Вот они ее и ищут», — ответ прозвучал с чуть высокомерным превосходством посвященного.

Я вспомнил замечательные грузинские короткометражки и вообще великое грузинское кино и подумал, что никаких гипербол там нет — все чистый реализм. В лучших лентах — магический.

А нашли сухумские старики шаровую молнию или нет — кто его знает? Вот меня она спустя дня два чуть не нашла.

Но обо всем по порядку. Это были такие годы и такой возраст большинства обитателей «московских кухонь» (которые располагались и в Питере, и в Тбилиси, и в Сухуми, и в Одессе), что друг твоих друзей легко становился твоим другом. Именно на такой, в данном случае точно московской и точно кухне я познакомился незадолго до этой поездки с Нугзаром Мгалоблишвили, сухумским художником и грузинским диссидентом. Ну и, конечно, я не мог не встретиться с ним в Сухуми.

Нугзар повел меня в свою мастерскую (а художник он настоящий, со своей узнаваемой манерой, техникой и настроением). Осмотрев добрую половину его работ, мы вышли на балкон мансарды (надо было переварить впечатления). Но и тут глазам было не до отдыха — предгрозовое небо демонстрировало все возможные оттенки синего, голубого, ультрамаринового, лазоревого, бирюзового... Мы стояли буквально в метре друг от друга и любовались этим великолепием. И тут... Это, конечно, шар, но как бы пульсирующий и переливающийся — то один цвет доминирует, то два других, то три третьих. И летел этот шар прямо на нас. Мы замороженно смотрели. Шаровая

молния, а это была она, родимая, пролетела ровно между нашими головами, которые мы медленно повернули, чтобы проследить за ее дальнейшим маршрутом (впрочем, может быть, мы просто загнипотизировались). Потом она сделала следующее: облетела всю мастерскую Нугзара по периметру, как бы рассматривая его картины с очень близкого расстояния, и — вылетела обратно, опять между нашими, даже не посевшими за эти секунды головами. В общем, шароавая молния оказалась к нам и картинам Н. Мгалоблишвили крайне милосердной. Надо ли говорить, что после этого мы с Нугзаром стали братьями — как никак второй раз родились в одно и то же мгновение.

А вот грузино-абхазская война никакого милосердия к работам Мгалоблишвили не проявила. Бомба попала точно в его мастерскую (напомню, это была мансарда) и уничтожила все работы, находившиеся там. Слава богу, самого художника в то время в мастерской не было.

Но это все потом, потом... А тогда, после второго рождения Нугзар познакомил меня со своими друзьями, сухумскими грузинскими поэтами. Среди них был Гурам Одишария — интеллигентный, обаятельный и даже застенчивый, хотя единственный из всех разъезжал на черной «Волге» (предел шика по тем временам). А еще — братья Каландиа: Рене и Гено. Субтильный Рене, с лихвой оправдывая свое французистое имя, походил сразу на всех «проклятых поэтов» (и вел похожий образ жизни). Он озадачил меня максимой, сформулированной при первой же нашей встрече: «Лучший поэт-шестидесятник — Никита Сергеевич Хрущев». Гено был куда солиднее, коренастее и занимал какой-то важный писательский пост.

Сейчас все они, люди, привязанные не только к своей земле, но и к своему морю, вынужденно живут в Тбилиси. Больше знаю про Гурама, написавшего пронзительную прозаическую книгу о грузино-абхазской войне и даже поработавшего министром культуры Грузии, что, замечу, совсем не повлияло на его интеллигентность и застенчивость.

В оставшееся до конца симпозиума время я общался не только с новообретенными грузинскими друзьями, но и с коллегами. Однажды с одним из них мы забрели в замечательное заведение — этакий грузинский дворик, где готовили вкуснейшие хачапури, взяли к ним бутылку «Твиши» и, потягивая вино, завели неторопливый математический разговор. В какой-то момент я заметил на себе пристальный взгляд. Огляделся. На нас не столько озадаченно, сколько недобро смотрел брутальный, со сталинскими усами грузин с соседнего столика. Заметив, что я заметил, тот поднялся во весь свой гигантский рост. Я стал соображать, куда сунуть очки (это перед дракой для очкариков самое важное). Усатый гигант подошел к нашему столику:

— Мужчины, да? — то ли с осуждением, то ли с недоумением спросил он. — Двое, да?

Я, по возможности, беспечно подтвердил наш пол и количественный состав

— И только одна бутылка? — задал он странный вопрос.

Повисла пауза. Тут он резко взметнул руку. Но нет, это был не кулак. Это была распахнутая огромная пятерня, и в ответ на этот жест официант немедленно принес за наш столик еще пять бутылок «Твиши», точно таких же, как та, которую мы так не по-мужски долго не могли уговорить.

Первый тост, произнесенный нашим новым знакомым, был лучшим из слышанных мной в Грузии:

— Выпьем за наших бабушек, потому что мы последние, кто может за них выпить! — проникновенно сказал усатый гигант.

Скорее всего, остальные тосты были не хуже, но утонувшая в «Твиши» память не удержала их.

Наутро мы старательно, даже самозабвенно обменялись координатами и обещали друг другу писать, при первом удобном случае приезжать. Обнялись и расстались. Как теперь понятно — навсегда.

Бахытжан Канапьянов

Зов дня ушедшего и дня грядущего

Это правда, мальчик?

Рефрен из рассказа Нодара Думбадзе «Кровь»

В виртуальную эпоху, вооружившись технологией и системой «Гугл — Планета», блуждаю по мирам реальным и нереальным. По прошлому и будущему, то есть по настоящему, что постоянно перетекает в эти понятия нашего литературного ремесла.

Память — вечная плазма, вбирающая в себя четвертое измерение нашего мира и нашего сознания, — заполняет и зачастую переполняет безбрежное пространство нашей души.

«Душа человека во сто крат тяжелее его тела... Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее. И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить душу друг другу: вы — мою, я — другого, другой — третьего и так далее до бесконечности. Дабы смерть человека не обрекала нас на одиночество в жизни».

Эти святые слова Нодара Думбадзе были на слуху в 70—80-е годы прошлого столетия.

Давайте помнить об этом и в наше время, в начале нового века и нового тысячелетия, в транзитный период нашего бытия.

Блуждаю по просторам компьютерной души, иногда окунаясь в небесную синеву монитора.

Детская память — цепкая вещь.

Это правда, мальчик.

Помнишь фильм из середины прошлого века? «Мамлюк».

Я помню.

Не помню режиссера, в детстве помнят саму картину, но не того, кто эту картину создал.

Это потом, с годами познаешь, что фильм «Я, бабушка, Илико и Илларион» сотворен по роману Нодара Думбадзе Тенгизом Абуладзе, а затем была создана

¹ *Бахытжан Мусаханович Канапьянов* (родился 4 октября 1951 в городе Кокчетав Казахской ССР) — казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссер. Автор многих книг поэзии и прозы, вышедших в издательствах Казахстана, России, Украины, США, Великобритании, Канады, Кореи и Малайзии на более чем 20 языках. Основатель и президент первого в Казахстане независимого издательства «Жибек жолы». В первые дни после трагедии на Чернобыльской АЭС Б.Канапьянов добровольно отправился ликвидатором на место аварии. Итогом поездки стала книга «Аист над Припятью».

и великая кинотрилогия «Мольба», «Древо желания», «Покаяние». Все это не раз повелевало сердцу читать и перечитывать романы и рассказы писателя — «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Зов вечности», «Не бойся, мама!», «Белые флаги», «Кукарача», «Дидро», «Кровь», «Мать», «Неблагодарный», «Коррида», «Солнце».

Но это было потом. А вначале был «Мамлюк». О судьбах двух друзей, а может быть, братьев — ибо друзья из одного горного селения всегда становятся братьями, — разлученных в раннем детстве вихрем истории.

И ставших врагами.

И принявших смерть друг от друга.

Я это помню.

И вечный зов родины мамлюка.

Из летописи и литературы знаю, что кипчакский хан Артык являлся отцом Гурандохты — жены Давида IV.

И неистребимый зов крови, побеждающий сквозь века манкурта нашего времени.

И горячий запах емшана-полыни, манящий туда, на восточное побережье Каспия, откуда был родом предводитель мамлюков кипчак Бейбарс, объединивший осиротелых сынов Земли и на берегах Нила, в Мысыре-Египте, и в лазурном Крыму, и в небесных горах Кавказа.

Но и он, и его воины-побратимы были бессильны перед памятью их манящей родины-матери.

Это правда, мальчик.

Вспоминаю «Плаху» Чингиза Айтматова, ровесника Нодара Думбадзе и его собрата по «закону вечности». Вспоминаю страницы, посвященные грузинскому многоголосию, когда песни пелись одна за другой и лилось вино, которое, чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется и тем сильнее горит душа, жаждущая снова и снова вина и песен.

Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи друг другу, иногда уронив их плетьюми, а когда хотели, чтобы их услышала божественная сила, неведомая и неотвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали руки к небу.

Как же так, если Бог все видит и знает, куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено, что люди воюют и борются между собой, что льется кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а другого — неправым, и где же истина, и кто вправе ее изречь?

Где тот пророк, который рассудил бы их по справедливости?.. Не об этом ли, не об этих ли вылившихся в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмысленных отцами как изначальный опыт добра и зла, прочувствованных в их красоте и вечности, пелось в старинных песнях, хранимых в памяти народа?

И потому в устах тех семерых от одной песни рождалась другая, и они не размыкали круга...

Это правда, мальчик.

И не было в ту ночь людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро грузин, поющих горестно и вдохновенно в час разлуки. Стихия песен сближала их еще тесней. Как много все же сумели предки пережить и придумать впрок для потомков задушевных слов, полных бессмертной гармонии. Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин отличит грузина за десять верст и

скажет, кто он, откуда он, что с ним, что на душе у него — на свадьбе ли развеселой он был или горе его томит...

Это правда, мальчик.

Старики везде разные — в горном селении, на берегу моря, в долине и в городе, и в дальнем ауле. Однако их всех объединяет нечто большее, чем просто приобретенный опыт бытия.

Это нечто большее — мудрость, суровая и лукавая, степенная и внешне безразличная ко всему окружающему, погруженная в невидимые уголки памяти, изредка извлекающая оттуда, из колодца времен, ночные страницы воспоминаний.

Они терпеливо существуют в городских квартирах взрослых своих детей — дочери или сына, которые по долгу родства, но не по зову сердца выделяют им метраж отдаленной комнаты. И только тогда оживает в их глазах блеск былой жизни, когда забегает в канун долгой ночи внук.

И молча слушает деда.

И затем оба молчат.

И детский безмятежный сон сливается с чутким сном-дыханием деда.

И время неумолимо. И приходит тот самый час, когда, словно бы встрепенувшись, словно бы по зову далеких ушедших предков, старик покидает квартиру сына или дочери, поцеловав спящего внука, садится на ночной поезд, а затем на попутную машину или даже арбу, идет и идет туда, в горы, в свое родное селение по зову дня ушедшего, оставаясь «неблагодарным» в памяти взрослых детей.

Это правда, мальчик.

Вглядываюсь в иллюминатор монитора, приближая к глазам ту или иную местность.

От востока к западу.

От севера к югу.

А если уйти на юго-восток, туда, где возвышается Джомолунгма, то у подножья великой вершины можно найти горное селение — Тенгри.

Где-то в этих местах зародилась древнейшая религия — тенгрианство, предтеча основных религий мира; тенгрианцы поклонялись земной богине Умай, божественному светилу — Солнцу и небесному богу Тенгри. Есть одна древнейшая молитва, когда-то сотворенная, может, на санскрите, а возможно, на другом древнем языке, ибо я не раз слышал ее за время прошлых странствий на разных языках, но единую по сути:

«Боже, даруй мне просветленность, чтобы принять то, что я не могу изменить, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы увидеть разницу; дай мне жить сегодняшним днем, радуясь каждой минуте, принимая трудности лишь как тропинку к миру; дай мне принимать этот мир таким, какой он есть, а не таким, каким я хотел бы его видеть; дай мне верить, что ты все устроишь так, как надо, если я буду повиноваться твоей воле, дабы я мог быть по-настоящему счастлив в этой жизни и блаженно счастлив в будущей. Аминь».

Телави, Марнеули, Ахалкалаки проступают сквозь рваные облака утреннего тумана на склонах гор и раскинувшихся долин где-то там, за ущельем.

Тбилиси, Батуми, Рустави, Кобулет, Поти, Багдади, Мартвили, Шуахеви...

А вот и тропа, ведущая в Гурию, где постоянно «делили» тебя, мальчик,

почтенный Кишварди Ломджария и не менее почтенная бабушка Юлия, ибо ты и для одной стороны — по линии матери, и для другой — по линии отца, един, и имя тебе — внук.

И все же...

Кишварди Ломджария глядел на огонь и думал. Думал и в то же время старался уйти, скрыться от своих невеселых дум. Но куда человеку деться от собственных дум? Ведь человек не бог... «Не нужно было отпускать мальчика... Но не смог устоять перед горем старушки... А теперь сам в ее положении. На той неделе схожу к ней, попрошу вернуть мальчика. Не отдаст — заберу силой... «Какое, — скажу, — имеешь ты право отнимать у меня мою плоть и кровь? Ведь ты не бог!» Но...ведь она может ответить мне теми же словами! Ведь я сам тоже не бог, а всего-навсего простой смертный... Ведь мальчик принадлежит ей так же, как и мне. Вот если бы я был богом! Ох, трудно быть человеком, гораздо труднее, чем богом.

Слава богу, в этом сам убедился наш спаситель Иисус Христос...

А когда мальчик сам вернулся к деду, тот спросил у мальчика:

— А знаешь, что привело тебя ко мне?

— Нет.

— Так я скажу тебе: кровь тебя привела ко мне, вот что. Кровь — великая сила, внучек!..»

Аесли вернуться к «Покаянию» Тенгиза Абуладзе, то, на мой взгляд, и этот фильм, и роман «Зов вечности» — произведения двух великих мастеров грузинской культуры, двух великих сынов человечества — это нетленные создания одного порядка.

Я не собираюсь пересказывать сюжет фильма, трактовать линию режиссера Тенгиза Абуладзе, так как в силу многосложности этого явления сделать это невозможно, да и ни к чему. Как можно пересказать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова? Как можно пересказать «Осень патриарха» Гарсии Маркеса? Как можно пересказать «Зеркало» или «Солярис» Андрея Тарковского? Как можно пересказать романы Чингиза Айтматова? И все-таки этот фильм в силу своей первородности отличается от перечисленных шедевров литературы и кино. У каждого из нас, кто посмотрит этот фильм, у каждого, кто вольется в это пространство исповеди, будут и свое суждение о нем, и своя трактовка образов, и свои выводы, и свое... покаяние.

Кинофильм являет собой не только синтез разных видов искусства, но и в силу своей специфики воплощает в едином творческом ключе реальность и вымысел, явь и сон, в нем помыслы и действия персонажей разрушают, казалось бы, установившиеся каноны восприятия. Авторы берут за основу такие общечеловеческие категории, как сознание и бытие и, усиливая их кино-метафорой, гротеском, сарказмом, символом и аллегорией, выстраивают в единый видеоряд, обнажая в образе Варлама и категорию зла.

От имени жертв Варлама Аравидзе героиня Кетеван обращается к нам, зрителям: «От своего имени и от имени всех несправедливо наказанных я требую, чтобы Варлама Аравидзе его же близкие собственными руками вырыли из могилы... Предать его земле — это значит простить его, закрыть глаза на все, что он совершил».

Волею неумирающей памяти Кетеван выносит приговор не только Варламу, но и себе, сознательно понуждая себя выкапывать тело Варлама из могилы.

Потому пронзают своей горькой правдой слова Кетеван, обращенные к Торнике, сыну Авеля, внуку Варлама: «Вот и я своими действиями сотворила из тебя убийцу». И эти ее горечь, ее протест, отчаяние и неоднозначная непримиримость каким-то кинематографическим «биополем» окружают нас, зрителей, заполняют все уголки души потоком сознания, просвечивают рентгеном совести. Пока мы терпим варламов, они паразитируют на нашем обществе, пока мы предаем забвению их кровавые дела, есть опасность, что возродятся их преступления. Покаяние необходимо, невзирая на посты и чины, покаяние без душка лицемерия, ибо иначе может исчезнуть сама суть этого понятия и к великому слову «правда» присосется нас угнетающая приставка «не», порождая в здоровом человеческом организме ржавчину лжи.

Вспомните кадры, когда некто, облаченный в костюм жениха, избирает себе в невесты саму бесстрастную Фемиду с завязанными глазами. Это уже зло. Кем оно порождено? На этот вопрос отвечает фильм «Покаяние». Вспомните кадры, когда средневековые стражники входят в дом очередной жертвы со словами «Мир вашему дому!» Кем порождена эта страшная суть лицемерия? И на этот вопрос отвечает фильм «Покаяние».

Не только отцы несут ответственность перед детьми, но и дети ответственны за своих родителей.

А если отец попал в петлю репрессий по вине Варлама и ему подобных, а если мать после долголетней ссылки не узнала сына и только по родимому пятну на его животе поняла, что это он, плоть ее и кровинушка?

Это правда, мальчик?

Правда.

И размыкается круг многоголосия.

И по возгласу «Вай, нана!» Хвича-Махмуд признает в умирающем французе друга-побратима по горному селению в фильме «Мамлюк».

Не только деды наши хотят найти свое достоинство во внуках, не додав его сыновьям, но и внуки через невидимую и бессмертную лозу принимают порой груз вины предков.

Вынуждены принимать.

Или отрекаются от них, и тем самым теряется связь поколений.

Обрывается ток крови, перерубается лоза нашей жизни.

А значит, не будет ни песен, ни вина.

А система «Google — Планета» уносит мой взор к берегу моря, куда вот-вот погрузится Светило. И я, быть может, увижу зеленый луч, который засияет на диске заходящего в море солнца. Как когда-то увидел этот луч твой друг Гулда Каладзе.

Это правда, мальчик.

А если двигать мудрой мышкой, то можно уйти в сторону древнего Иерусалима, где покоится прах автора «Витязя в тигровой шкуре».

«Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели — есть Грузия... Народ, если он великий, создаст песню и выносит в лоне своем мирового поэта. Таким венценосцем в веках, еще доселе не признанный русскими, был избранник Грузии Шота Руставели, давший в XII веке своей родине знамя и зов — «Вепхисткаосани» — «Носящий барсову шкуру»... Это лучшая поэма о любви, какая когда-либо была

создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю», — писал поэт и первый переводчик этой поэмы Константин Бальмонт в 1916 году.

Это евразийская поэма, ибо вбирает в ткань своего сюжета образы Востока и Запада, и географическое положение Грузии являет собой точку этого отсчета.

А если уйти виртуально на север, то где-то там, недалеко от Телави, есть горное селение Омало. Говорят, это означает «не забудь меня».

Помню и никогда не забуду.

И по мизансценам культового фильма «Мимино», и по одинокому туру, что разгоряченными ноздрями вдыхает хрустальный воздух гор.

И пьешь этот воздух, словно бы небесную воду из родника или кувшина, чтобы дальше и выше идти по тропе дня грядущего.

Это правда, мальчик.

В наше очень плотное время только эта система «Google — Планета» и спасает, ибо оттуда, с компьютерных небес, мы видим могилы наших предков.

И все же, как близко к глазам ты ни подводишь экран монитора, только сердцем и только им тебе дано свыше реально, хотя бы раз в год, хотя бы раз в этой земной жизни, хотя бы раз перед своим уходом прийти и поклониться своим предкам.

Это правда, мальчик.

Об этом и песня русского поэта и писателя, сына грузина и армянки, песня батоно Булата:

«А иначе зачем на земле этой вечной живу».

А иначе зачем нам день грядущий, во имя которого мы, поэты разных стран, собираемся вместе, несмотря на новые и свежие границы отчуждения, о которых и ведать не ведали наши деды и прадеды.

А может быть, плач поднебесья
И лунный сквозь сумрак аккорд.
Я вижу — из южного детства —
Свисающий с неба апорт.
А там, за ночным перевалом,
Встают восприятием сна
Рождественской свечки огарок
И ель, что живет у окна.
А там, где-то там, за грядою,
За горной грядою судьбы,
Свет горный встает над тропею
Под скрип одинокой арбы.
А там, где-то там, на закате
Начало второго пути.
Мой мир ошибается в дате,
Все день тот пытаюсь найти.

Вадим Муратханов

Все мы немного грузины

Первое впечатление от Грузии — ее несоветскость. В других бывших союзных республиках, где довелось побывать, бросается в глаза родство, общность травмы, в той или иной мере выраженная боль ветки, отсеченной от родного ствола. В советские годы я в Грузии не бывал, но есть ощущение, что этот не чуждый Западу в архитектуре и живописи Восток всегда держался немного особняком, сохраняя в своей крови защищенную грядями гор независимость.

Но самое несоветское в Грузии — это, конечно, растительность. Эвкалипты и мандариновые деревья — даже не советский юг, а явная экзотика и заграница.

Пальма — шершавая слоновья нога — растет посреди дороги в Кобулет, между центральной площадью и рынком. Машины аккуратно объезжают ее, словно священную корову на улице индийского города.

Батумский ботанический сад — парк Юрского периода для деревьев. После привычных, соразмерных человеку дубов, тополей, вязов — неправдоподобные, неохватные исполины. Не всякая птица долетит до вершины секвойи. Стоят, не замечая нас — насекомых-наблюдателей, шелестят что-то друг другу на недоступной взгляду высоте.

В деревянной клетке невзрачное деревце с бледными пятнами по стволу. Знаменитый анчар, — представляет его экскурсовод. Прикосновение оставляет ожог. Попадание капли сока в кровь — верная смерть. Дерево выглядит безобидным, как немолодой маньяк в зале суда.

История сада прекрасно иллюстрирует грузинский характер. Основатель, Андрей Краснов, долго выбирал место, способное принять и взрастить представителей мировой флоры. Выбрав, попытался выкупить землю у местного князя. Тот не соглашался продать ни за какие деньги. Узнав, что для ботанического сада, — подарил, не взяв ни копейки.

Знакомые писатели и случайные собеседники — таксисты, портье, продавцы на рынках — не жалуется на жизнь, власть и растущие цены. При достаточно скромном уровне жизни сохранить лицо — дело чести для каждого.

Вадим Муратханов родился в 1974 году в г. Фрунзе, в 1990 году переехал в Ташкент, окончил факультет зарубежной филологии ТашГУ. Стихи, переводы, проза, критика и эссеистика публиковались в нашем журнале, а также в «Новом мире», «Октябре», «Звезде», «Знамени», «Арионе», «Звезде Востока» (Узбекистан) и др. В. Муратханов — автор пяти поэтических сборников, один из основателей объединения «Ташкентская поэтическая школа». С 2006 года живет в Московской области.

* * *

Столь же независима и самодостаточна грузинская культура. Некоторым из пасынков советской семьи Россия подарила письменность, живопись и даже поставила хореографию. Грузии же от России нужны были больше защита и безопасность, чем культурная подпитка. Она и в советские годы оставалась по отношению к империи такой кавказской, не отделившейся вовремя Польшей. Помню, как поражали меня грузинские фильмы, где актеры разговаривали собственными гортанными голосами и женский бесстрастный голос дубляжа ложился поверх иноязычного диалога, не впитываемый его тканью.

У Грузии были Руставели, Бараташвили и Табидзе — достойные собеседники для Лермонтова, Мандельштама и Пастернака. И Грузия никогда об этом не забывала. Даже Пушкина она видела своим, незаемным взглядом. Убедиться в этом можно, пройдя до конца по проспекту Руставели: у тбилисского памятника классику знакомыми кажутся одни бакенбарды.

Непереведенное поколение грузинских авторов, выросших в глухие 90-е, поражает своим несходством ни с русской, ни с западной поэзией. Вот Шалва Бакурадзе поднимается на сцену и, закрыв глаза, выпевает а капелла свои долгие медитации. После аплодисментов голос из зала: «А перевод?» — «Я думаю, этому стихотворению он не нужен, все понятно и так».

* * *

У поющих фонтанов в Батуми звучат Doors, Pink Floyd. Попса здесь, видимо, не в чести. С бутылками грузинского пива в руках садимся с друзьями на скамейку, вдыхаем морской воздух. Подошедшая к нам женщина заговаривает без акцента. Представляется: Альфия, татарка, жила в Москве, училась на журналиста. Потом вышла замуж за батумского грузина.

— Когда-то у меня была мечта: иметь четырех детей и большой дом, чтобы можно было всех родственников принимать. Недавно стою на балконе, муж подходит ко мне, обнимает, спрашивает: «Ну что, Альфия, сбылась твоя мечта?» Вон там мои дети катаются, — указывает она в сторону фонтанов, и в подтверждение зовет сначала старшую дочь, потом среднюю, потом маленького сына... По очереди подкатывают на роликах, смущенно здороваются.

— Я никогда не жалела, что сюда переехала. Вот только по-русски в последнее время поговорить не с кем.

На обратном пути в гостиницу мой сосед по номеру, проникшись неторопливым батумским временем, рассуждает о том, что неправильно живем мы в Москве, зарываясь в бесконечные дела и проблемы. Не чувствуем жизни, а она утекает сквозь пальцы. То ли дело купить домик где-нибудь здесь, сдать московскую квартиру...

Приморского наркоза хватит еще дней на пять. Потом сосед начнет роптать: нет, нельзя же так расслабляться — дела стоят, все меня ищут, в ящике тридцать непрочитанных сообщений за один день.

* * *

Здесь, в Грузии, задумываешься о том, что человек потенциально шире своей географии. В нем заложено больше, чем вынуждает проявлять место его проживания. Новое солнце высвечивает новые грани характера и темперамента. Кто-то из моих друзей неожиданно для себя начинает блистать остроумием и обаять окружающих женщин. Другой высказывает тебе в глаза обиду, которая, случись в обжитом, привычном пространстве, наверняка осталась бы, не облеченная в слова, тлеть в глубине сердца. Через несколько дней, проведенных здесь, все мы уже немного грузины.

* * *

Проницаемость, прозрачность любых стен и дверей присуща Грузии. Здесь нет азиатских дувалов — напротив, открытые балконы вынесены до половины улицы. Пожилая женщина стоит на балконе и во весь голос обсуждает что-то по телефону. Трое мужчин пьют чай за столиком, выдвинутым на тротуар. Улица — продолжение дома; дом — продолжение улицы.

Утром открываю глаза в гостиничном номере — вижу склонившееся надо мной морщинистое лицо в обрамлении седых прядей. Несколько секунд молча изучаем друг друга, потом в номере появляется молодой мужчина. Обнимает старушку за плечи, что-то внушает ей, мягко выводит в коридор.

Открыт, распахнут и грузинский пейзаж. Многоярусный Тбилиси напоминает слоеный пирог, румяный, с надрезами в поджаристой корке. Оказавшись на краю надреза, видишь далеко вокруг. Множество складок, заселенных площадок и уступов словно увеличивают площадь маленькой уютной страны.

* * *

Одно из самых сильных тбилисских впечатлений — знаменитые турецкие бани. На входе табличка с цитатой из пушкинского «Путешествия в Арзрум», где поэт отзывается о них с восторгом. Сколько серной воды, казалось бы, утекло, но каждый турист норовит попасть в номер, где мылся классик.

Массажист Махмуд — не меньшая достопримечательность тбилисских бань, чем пушкинский номер. Он представитель династии: около трехсот лет назад его предки уже занимались здесь нелегким ремеслом. После работы с каждым клиентом в пропитанном серными испарениями воздухе человек-гора Махмуд делает несколько глубоких вдохов-выдохов, словно выталкивая из себя приставшие чужие хвори.

Вернувшись в воду, запрокидываешь голову и видишь ничем не забранную синеву неба на том конце трубы.

Анна Бердичевская

Ниточка, иголочка, петелька, узелок и янтарная капля

Солнечной осенью, в октябре 1985 года мы зашли к Ните Табидзе с Эдиком Элигулашвили и с Отаром Чиладзе. Разговор шел в основном по-грузински, все трое смеялись... Я, почти не понимая о чем речь, засмотрелась и заслушалась. Столько любви, столько глубокой нежности было и в лицах, и в теплом солнце, легко проникавшем сквозь чистые стекла окон, и в прохладном ветре, шуршащем листьями акаций за открытой на балкон дверью.

Как капля янтаря.

Именно так, вне слов, цельным чувством, как янтарный камушек со дна моря, что лежит в ладони, — живет во мне дом поэта Тициана Табидзе, а в нем приветливая хозяйка, дочь поэта.

От времени здесь уже ничего не зависит.

В этот дом так легко и так важно было зайти, в любое время года и практически в любой час — ранним утром, поздним вечером, в полдень. Зайти с Сережей Гандлевским, с Ильей Дадашидзе, с Наташей Соколовской. Или случайно встретиться с Яном Гольцманом.

Какие светлые лица, какие родные голоса. Как в тот, возможно, первый раз, золотым октябрем 85-го.

Эдик Элигулашвили, многолетний тбилисский собкор «Литературки», был легкомыслен и смешлив, посматривал на окружающих сквозь толстые стекла очков с пониманием и с озорством. Отар Чиладзе, напротив, улыбался не часто, тайна и благородство озаряли, как сказали бы в старинном романе, его мужественное лицо с глазами цвета стали. Действительно, озаряли. Хотя, может быть, только короткая стрижка Отара уже тогда была серебристого цвета стали, а глаза — светло-карими и беззащитными... Но страшновато было пристально вглядываться в эти глаза. И как Наташе Соколовской, лучшей переводчице его стихов на русский, это удавалось? (Или не удавалось все-таки? Надо будет у Наташи спросить. Еще можно. Мы изредка переглядываемся из Петербурга в Москву и обратно...)

Вижу, как сейчас: Нита Табидзе стоит, слушает Эдика и Отара, вот смеется, отвечает на шутку шуткой... Отар хохочет, как мальчик, она кладет руку ему на плечо и прислоняется на секунду лбом... Нита была чуть выше плеча Отара. Или не выше? Вся она передо мной, ужасно милая, спокойная, уютная. Знающая. С лицом умной, много чего пережившей крестьянки. Она была главой рода. И все всегда это понимали. Род особенный. В него входили не только прямые предки,

дети, внуки и правнуки Тициана Табидзе. Не только *Голуборововцы*. Входили все, кто был другом Тициана, и те, кто мог бы стать его другом, родись пораньше. Она все помнила, все хранила и в то же время все, что помнила и хранила, легко, без всяких амбиций — отдавала. Как бабушка внукам, как мать детям, как сестра. Она была частью той драгоценной, поколениями вырабатываемой ткани, имя которой лучше и не пытаться назвать. Может, на грузинском и есть подходящее слово, на русском — не нахожу. Не только культура и не просто язык... но историческая память — тоже. Еще и слух на поэзию, как и слух на правду вообще. Слова не нахожу. Но есть же такая ткань, на ней-то все в мире и держится, все по-настоящему дорогое людям...

Вспомнила! Есть. Эта *первоткань* у нас замечательно называется: ОСНОВА.

Ниточка — как славно ее все звали, и между собой, а многие и напрямую. Бывало, что не видимся долго, но вот общие знакомые в разговоре произнесли — Ниточка Табидзе, и тепло разливается по сердцу. Ниточки уже и на свете нет, а тепло — осталось.

И так у множества людей происходит, сосчитать нас всех невозможно.

Вот и думай теперь, кто же она была...

Прекрасная в Тбилиси традиция — домашние музеи. В холодной России она почти не прижилась. Даже когда у нас пытаются создать нечто подобное, то получается, что либо начинание гибнет без поддержки, либо, напротив, выхолащивается от чрезмерного внимания то государственных, то коммерческих структур.

Ниточка подарила мне и моим русским друзьям (о грузинских и не говорю) не музей Тициана Табидзе, а его дом с живым его дыханием. И как бы ни трагична была судьба поэта, а все же... Итог его жизни — жизнь.

Ниточка, иголочка, петелька, узелок. Янтарная бусина, вшитая в ткань...

Дай Бог, чтоб не оборвалась нить, связь всего, для чего стоит жить. Нет ничего прочнее нити ОСНОВЫ. Но если она все-таки оборвется — мир расползется и прекратится.

Шота Нишнианидзе

(1929—1999)

Перевод Владимира Леоновича



Тамерлан

Как терзают коня неотвязные овода,
жажда власти и славы меня обуяла. Тогда
Мне Великая степь показалась мала,
и судьбу я разгрыз как податливые удила.

Как ременную плетъ все дороги зажал я в горсти —
оторвал от степи, стеганул — ковылям не расти! —
как двухлетку объездил всю Азию — нежный крестец
ей сломал я, Тимур, я, Железный хромец.

Чтобы ужас преданья как пожар пробежал по векам.
Чтоб никто никогда никаким не молился богам,
кроме Ужаса! Ужас надёжней, чем совесть, любовь или честь.
И когда я смеюсь, меж зубами виднеется шерсть.

И потеха мне видеть сквозь узкий прищур,
как в дрожащее тело батыров вращает кольчуг чешуя
и как женское платье от взгляда спадает — но чур!
Женских чар не боюсь, но чуждаюсь их я... О змея!
Слаще грушу очистить от грубых кожур.

Много женщина знает... Тамерлану претит красота.
Оттого так прославлена в мире моя хромота.
У меня на глазах захромало полмира, дабы
мне приятное сделать — догадливые рабы...

Я менял имена и обличья — кровавый кумир —
и вовек не умру, и не надо ходить в Гур Эмир
и пытаться у скелета, насколько он хромоног,
и хромать на обратном пути по одной из дорог

и от страха дрожать! А пока ты от страха дрожал,
умаялся и ник — я великую славу стяжал.
Колченог? Сухорук? Чёрт ли в этом? Да ни черта!
Ха-ха-ха! Зверь глядит у меня изо рта!

Григол Робакидзе

Сталин как дух Аримана

Ленин дал Сталину необычное прозвище «чудесный грузин». Чудесного в Сталине хоть отбавляй, а вот грузинского — весьма и весьма немного. В Грузии необычность характера Сталина объясняют его происхождением: отец его, де, родом из Осетии. Не исключено, впрочем, что мы имеем здесь дело с другим феноменом. В недрах каждого народа рождается и чуждое ему, даже направленное против него начало. Это, по-видимому, чисто биологическая тайна. Может быть, эта способность нации порождать чуждое себе призвана преодолевать инонациональное? Сталин — грузин лишь в той мере, в какой он — его антипод.

«Окаменевшая голова доисторического ящера» — так назвал Сталина один из его бывших соратников, не подозревавший, возможно, что попал в точку. Узкий, слабо развитый лоб, выдающий человека решительных действий, особенно если он к тому же еще обладает неистощимым спинным мозгом. У Сталина и в мыслительном отношении сильный хребет: он обладает нюхом рептилии. В детстве перенес оспу, и едва заметные рубцы, оставшиеся после нее, подчеркивают доисторичность его головы — так же, впрочем, как и веснушки, придающие его лицу сходство с цесаркой. Под усами скрываются усмешка и ирония, как бы говорящие: «Я, конечно, догадываюсь о том, что ты хочешь скрыть от меня». Эта молчаливая констатация подчеркивается высоко поднятой левой бровью. (Примечательно, что у Ленина поднималась правая). Маленькие, колющие, непроницаемые глаза глядят неподвижно, как бы высматривая, подстерегая добычу. В нем чувствуется холодная кровь существа, несущего бедствия другим, способного перехитрить кого бы то ни было. Под его взглядом никнет любая воля.

Сталин ходит медленно, по-кошачьи мягко, как будто хочет укрыться или внезапно напасть на кого-то. Тайное колдовство, делающее человека незримым, — не досужий вымысел. В Тибете, например, оно — реальность. Тибетский йог, не желающий привлекать к себе внимание, становится невидимым: сверхчеловеческим усилием воли он уходит в свою оболочку. Становится недоступным для постороннего глаза.

Григол Робакидзе (1880—1962) — крупнейший грузинский писатель XX столетия, теоретик грузинского символизма, признанный лидер группы «Голубые роги», автор блестящих романов, эссе, стихотворений и пьес. В 1931 г. во время зарубежных гастролей театра им. Руставели остался в Германии, вследствие чего на родине его имя на долгие годы было вычеркнуто из литературного обихода. Последний — немецкоязычный — период его творчества принес писателю европейскую известность; авторами предисловий к его книгам были такие писатели, как Стефан Цвейг и Ромен Ролан.

Сталин обладал этим даром уже в те времена, когда царская охранка преследовала его за революционную деятельность. Словно лунатик, бродил он по улицам, выслеживая и таясь. Когда же его настигали, пугался не лунатик, а преследователь, которому казалось, что перед ним не реальный человек, а призрак с маской вместо лица. У Сталина было много имен не только в целях конспирации. Для него, как и для Стендаля, это были подлинные имена. В имени есть что-то от личности — так думали древние египтяне. Сталин постоянно менял свое имя, ибо знал, так его будет трудно обнаружить и арестовать. Когда же это все-таки случалось, он ловко ускользал из любых рук. Он побывал во многих тюрьмах — в Тбилиси, Баку, Батуми, в Центральной России и Сибири — и постоянно совершал оттуда побеги. Его ссылали неоднократно, но он каждый раз убегал, появляясь в новом месте под новым именем, под новой личиной. Заметных следов не оставлял. И неожиданно всплывал где-то — безымянный путник, подобный Голему, который, согласно древнееврейскому преданию, каждые тридцать лет посещает Вселенную. При встрече с ним содрogaешься, но стоит прийти в себя — его уж и след простыл.

Сталин, словно змея, сбрасывал с себя кожу, оставаясь внутренне недостижимым. Однако он был вооружен и другими средствами самозащиты: он обладал способностью презирать действительность. Однажды политических заключенных в бакинской тюрьме заставили пройти сквозь строй солдат, вооруженных шпидерутенами. И Сталин прошел сквозь строй, но как? В руках он держал брошюру — несомненно марксистскую. Он шел сквозь строй солдат, читая, как будто происходящее вокруг не имело к нему никакого отношения. Он поднял палачей на смех, защитив себя от морального ущерба. Уже тогда он обрел свое подлинное «я».

Как появился на свет и как рос этот аноним? Отец его, сапожник, был пьяницей, грубым и язвительным человеком. Мать являла собой во всех отношениях противоположность отцу. Отец во хмелю бил мать. Бил и своего единственного малолетнего сына. В хибарке, в которой обитала семья, царили нужда, свирепость и слезы. Уже при одной мысли о возвращении отца сына охватывала дрожь. В мире, в самом Творении он видел лишь безобразное, а родной отец представлялся ему чудовищем. Этот распад семейных уз роковым образом сказался на душе ребенка. На Востоке знают, какое место в семье занимает отец: он — семя оплодотворяющее, он — космическое начало. Если зародышевую клетку лягушки разделить на две половины, из них родятся две лягушки. Каждая из частей становится не половиной лягушки, а целой, но по величине равной половине обычной. Биология здесь удивительным образом подтверждает приоритет отца, существующий на Востоке. Что же произошло с первоначальной зародышевой клеткой? Она не обрела плоть, физически ее уже нет, но метафизически она продолжает жить в обеих маленьких лягушках. Каждая из них содержит в себе нерожденного отца. В каждой живет родовая память об отце. Там, где эта память умирает, жизнь подвергается опасности.

В доме Сталина эта память была убита. Сын проклял отца, проклял семя, породившее его, возненавидел самое Творение. Для него не существовало любви, ничто не радовало его. Жизнь его была отравлена неистребимой ненавистью к отцу. Ребенку, растущему практически без отца, всегда недостает самого существенного — радости жизни. Душа его не в состоянии раскрыться перед лицом мироздания. Она никогда не сможет стать воплощенной частицей

мистически раздробленного Бога. Она холодна, тверда, сурова. Такой человек никогда не испытывает состояния экстаза. Услышь он Девятую симфонию Бетховена, особенно ее финал, где в бушующий, словно море, оркестр врываются голоса опьяненных Дионисом людей, голоса, которым открылась новая жизнь — человеческая или сверхчеловеческая, — он не дрогнет, не вылезет из своей скорлупы, чтобы приобщиться к безбрежной действительности. Он останется холодным, твердым, суровым.

Не зная экстаза, он не выносит этого состояния у других. Оно не увлекает, более того, раздражает его.

Поясним сказанное следующим примером. Накануне революционных событий в Дрездене в 1849 году Рихард Вагнер дирижировал Девятой симфонией Бетховена. Как только отзвучали заключительные аккорды финала, тайный подстрекатель восстания анархист Михаил Бакунин подскочил к оркестру и крикнул Вагнеру в порыве восторга: «Если вся музыка сгорит в пламени мирового пожара, который непременно грядет, то мы, рискуя жизнью, спасем эту симфонию!» Бакунин был весь пламя. Другое дело Ленин. Известно его высказывание об «Аппассионате»: «Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!.. Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят — и надобно бить по головкам, бить безжалостно...»¹

Ленин здесь проявляет определенную экстатичность. Сталин же не способен даже на такой полуэкстаз. Характерная деталь: говорят, что Ленин после продолжительной болезни скончался от воспаления легких при температуре 42,3 градуса. В этом проявилось пламенное люциферовское начало Ленина в противоположность холодному аримановскому духу Сталина. Существо, подобное ему, с самого же начала мистически неполноценно, ущербно. Легенда о Каине и Авеле здесь весьма кстати: Бог принял дар Авеля и отверг дар Каина. Почему? Легенда не дает нам никакого объяснения. Может быть, дар Каина был принесен не от сердца? Возможно, он хотел, чтобы это было так, но дальше желания дело не пошло. Объяснением здесь может послужить, пожалуй, лишь предположение, что Каину изначально недоставало дара жизни. На это предположение наводят нас страницы Книги Бытия: совершил бы Каин братоубийство, если бы Яхве принял его дар? Кому отказано в даре жизни, у того сердце закрыто для душевных порывов. Сосо Джугашвили, быть может, с горечью чувствовал это уже в юности, когда навещал, скажем, больного товарища. Он мог говорить с ним самым сердечным образом, однако слова его не трогали больного. Но вот приходил другой одноклассник, с любовью прикладывал руку ко лбу больного, и боль утихала.

Этой божественной силой является дар жизни. Вспомним слова Гретхен о Мефистофеле:

Он мне непобедимо гадок.
В соседстве этого шута
Нейдет молитва на уста,
И даже кажется, мой милый,
Что и тебя я разлюбила,
Такая в сердце пустота.

¹ Горький М. В.И. Ленин. // Литературные портреты. — М., 1967. — С.38. (Прим. переводчика)

Наивная душа Гретхен интуитивно чувствовала — одним лишь своим присутствием Мефистофель убивает любовь, разлагает ее атмосферу. Лирическое начало ему чуждо. Он мог бы создать и более прекрасные стихотворения, чем Райнер Мария Рильке, но им недоставало бы одного: неосязаемого поэтического потока, столь благодатно струящегося в стихотворных произведениях Рильке. В этом кроется тайна проклятия. Подлинное поэтическое вдохновение никогда не посещало Сталина, хотя юношей он и пел в церковном хоре альтом. Но уже тогда это был, несомненно, голос падшего ангела, ибо и падший ангел чарует своим пением. Сталин даже пытался писать стихи. Это были, как ни странно, патриотические стихотворения. Однако параллельно он изучал эсперанто, так как уже в то время верил в существование всемирного языка — само собой, разумеется, сконструированного чисто механически. Его явно раздражало органическое многообразие мира. Более того, он не выносил саму жизнь. Как преступника, его тянуло к разрушению, и он стремился на деле испытать и применить свою всеокрушающую волю.

Нигилизм оказался для него весьма кстати. Владимир Соловьев сформулировал все потуги русских нигилистов в следующей иронической фразе: «Человек произошел от обезьяны, следовательно: да здравствует свобода!»¹ Здесь, правда, «следовательно» — сущая бессмыслица, ибо вряд ли происхождение человека от обезьяны могло бы гарантировать ему свободу. Но дело в том, что психология зачастую сбивает логику с толку, а в этом силлогизме определенно кроется какая-то психологическая загадка. Имей мы доказательство, что человек — из обезьяньего племени, тогда даже самые избранные утратили бы свои преимущества перед прочими людьми. Наполеон, к примеру, не представлял бы собой ничего выдающегося, а Клеопатра была бы такой же, как и любая другая женщина. Вместе с их преимуществами исчезло бы и благоговение перед ними. Так полагали нигилисты. Однако основополагающей здесь была другая мысль: коль скоро человек в своей сущности равен обезьяне, то идею о сотворении мира, в котором человек создан по образу и подобию Бога, можно считать заблуждением и следует вытравить из сознания человека мысль о его богоподобии. Этот постулат был недостаточно четко сформулирован нигилистами, но тем не менее они упорно придерживались его.

И Сталин не избежал влияния нигилистов, начав усердно заниматься естественными науками. Он был твердо уверен, что эти штудии приведут его к безбожию. Именно в этом заключался для него коренной вопрос: если Бога нет, значит, он свободен. Он не сознавал, однако, что человек без Бога утрачивает и связь со Вселенной. Возможно, Сталин подсознательно стремился именно к этому. Если разорвать сакральные нити, связующие вещи воедино, то разрушится сама жизнь. Верный расчет для человека, жизнь которого — одна лишь мука.

Он обладает феноменальной памятью — но не воспоминанием! — и железной, холодной логикой. Он удалился от Бога и взрастил себя для преступного самовластия. Во всем он видит лишь негативное; положительное вызывает в нем язвительную усмешку. Хладнокровный, он нередко становился жестоким и неумолимым. Рассказывают, однажды, проходя по узкой улочке, он случайно наступил на цыпленка и сломал ему ногу. Цыпленок с криком пытался убежать. Сталин догнал и раздавил его. «Все равно ты уже ни на что не годен», — сказал он в приступе ярости... В эти минуты чужая жуткая тень скользнула, наверное, по его лицу.

Ненавистнику жизни всюду мерещились враги. Для подавления врага, кроме всего прочего, нужно обладать двумя качествами: выдержкой и иронией.

¹ Согласно Н.Бердяеву, фраза звучала несколько по-иному: «Человек произошел от обезьяны следовательно будем любить друг друга» (*Прим. ред.*).

Выдержка у Сталина такая же, как у йога, а ирония его беспримерна... Медленно, незаметно, бесстрастно дразнит, колет он своего противника, подтрунивает, выводит из себя. Он устранял своих врагов, клеветца и унижая их. Он беспощаден и жесток. Его холодная усмешка временами переходит в язвительный смешок. Злой ли он человек в обычном понимании? Нет, он не убийца, не разбойник, не какой-нибудь преступник. Напротив, он желает людям самого лучшего. И все же есть в его характере зачаток чего-то чужеродно-злого. Может быть, он преследует какую-нибудь личную выгоду? Отнюдь нет. Земные радости — женщины, вино, азартные игры, дурман — для него не существуют. Характерно, что за грузинским столом, где все воздают должное Дионису, он один всегда оставался трезв. Он щедр постольку, поскольку находит этому оправдание. Не скупится и на советы, наставляя своих товарищей по революционной деятельности. Но он одинок. Будучи неспособным сказать кому-нибудь метафизическое «ты», он никого не может назвать своим настоящим другом, ибо любого, кто пытается сблизиться с ним, он подчиняет себе. Не исключено, что в глубине души он сознает это как печальный факт и порой даже страдает от собственного характера. В такие мгновения он, возможно, впадает в меланхолию. Но едва ли вероятно, чтобы он хоть на миг открыл перед кем бы то ни было свою душу. Что-то всегда удерживает его от откровения.

Со старым миром у него покончено. Ни кровное родство, ни народ, ни вера, ни сродство душ для него не существуют. Народ заменен массой, а душа — классом. Здесь он всегда в своей стихии. Для восприятия социалистической идеи он созрел вполне. Учение Сен-Симона и Фурье его не интересовало, так как он никогда не был склонен ни к романтике, ни к утопии. А вот доктрина Маркса поразила его воображение. Здесь были и логика, и твердость. Сталин — прирожденный большевик. В былые времена иного человека, случалось, называли дохристианским христианином. Сталина с полным правом можно назвать добольшевистским большевиком. Нелегальная марксистская литература поступала в Грузию из России. Среди этой литературы стали попадаться статьи Ленина. Они целиком захватили Сталина. Для него началась новая жизнь. В идеях Ленина Сталин нашел то, к чему шел сам слепо, на ощупь, — демонизм марксистской идеи. То, что на Западе было «словом», на Востоке должно было стать «делом». И «дело» это невиданным ураганом пронесется над миром, и без того потрясенным в своих основах войной.

Ленин представлял собой сжатую в кулак энергию этого урагана. Человечество не подозревало, какая вулканическая сила была сконцентрирована в plombированном вагоне, в котором он вместе со своими соратниками проследовал через всю Германию, чтобы раздуть пожар революции в России. Ленин появился в России как судьба революции. Он стал ее космическим творцом. Две стихии соединились в этом человеке — славянская и монгольская. Славянская — дыхание хаоса и презрение к пределам, монгольская — гнетущая меланхолия и страсть к просторам. Воля и инстинкт — вот его составные. Он обладал прирожденными качествами хирурга, которые с годами довел до совершенства: точный глазомер, безошибочная интуиция, самообладание, но не холодное, а пламенное, и твердая рука. При первой же встрече с Лениным эти черты давали о себе знать. Сталин почувствовал их еще до встречи с ним.

В 1903 году он получил из Европы письмо от Ленина, что было равнозначно для него получению Моисеевых скрижалей. В 1905 году Сталин встретился с Лениным на партийной конференции в Финляндии. Великий революционер сразу же распознал в молчаливом грузине надежного бойца и соратника. В 1906

году состоялся партийный съезд в Стокгольме, на котором большевики потерпели поражение. Но как воспринял это поражение Ленин? «Не горюйте, товарищи! Мы непременно победим, ибо мы на верном пути!» Среди его соратников Сталин был единственным, кто воспринял эти слова не только ушами. Уже в 1907 году на партсъезде в Лондоне большевики победили. И как отнесся Ленин к этой победе? Сталин позднее вспоминал об этом: «После своей победы он стал особенно бдительным и осторожным» и процитировал слова Ленина: «Во-первых, пусть успех не вскружит вам голову; во-вторых, закрепите успех; в-третьих, уничтожьте врага, ибо он лишь повержен, но еще не мертв». Эти слова более всего пришлись по душе Сталину, ибо сам он никогда не упивался победой и не оставлял противника недобитым. На съездах Сталин был неразговорчив. Он молчал, как и подобает человеку действия.

Стихия Сталина — масса. Здесь он всегда был самим собой. Повсюду, от скалистых берегов Финляндии до Колхидской низменности, он чувствовал себя органически слитым с массой. Он встречался с русскими, поляками, украинцами, грузинами, азербайджанцами, латышами, литовцами, евреями и с представителями многих других национальностей. Он хорошо изучил еще дремавшую тогда психологию рабочего класса. Он держал руку на пульсе масс, пробуждая их пролетарский инстинкт. Выкристаллизовал их волю и боевой дух. Встречался с тысячами и был знаком с тысячами. У него никогда не было друзей, а было лишь неисчислимое множество товарищей. Он не оставлял охранке следов, но в рабочих массах оставил неизгладимый след. Однако даже здесь он предпочитал оставаться в тени: появлялся на сходках нелегальных организаций как таинственный аноним пролетарской души. Ничего удивительного в том, что он с самого же начала постиг своеобразие русской революции. В 1917 году, после июльских событий состоялась партийная конференция. Ленин в работе конференции не участвовал, так как скрывался от властей. Не было на ней и Троцкого, ибо лишь на этой конференции его избрали членом Центрального Комитета. Руководил конференцией Сталин. Он произнес историческую речь: «Не исключено, что именно Россия станет той страной, которая проложит путь к социализму... Фундамент нашей революции гораздо шире, нежели в Западной Европе, где пролетариат один противостоит буржуазии. На стороне нашего рабочего класса беднейшее крестьянство... Следует раз и навсегда отказаться от мысли, что лишь Европа может указать нам наш путь...» Среди слушателей, очевидно, возникло сомнение, согласуется ли это утверждение с основными положениями марксизма. Сталин, по-видимому, заметил это и добавил: «Я сторонник творческого подхода к марксизму». Уже здесь он предстал во всем своем будущем величии.

На Ленина он произвел особое впечатление уже при первой встрече. Ленин чувствовал в этом революционере какую-то темную, слепую силу. В 1914 году Сталина отправляют в ссылку в город Туруханск Енисейской губернии. В ноябре того же года Ленин пишет в письме Карпинскому: «Я хочу попросить тебя об одном одолжении. Постарайся узнать фамилию Кобы (Иосиф Дж... Мы забыли ее). Это архиважно». Сталин находился в ссылке под своей настоящей фамилией — Джугашвили, которую Ленин не мог вспомнить. Ленин помнит о Сталине и в то же время забывает его фамилию, чувствуя что-то чужое, непонятное и вместе с тем притягательно-близкое в этом далеком грузине. Незадолго до Октябрьской революции Ленина обвиняют в принадлежности к германской агентуре. Оскорбленный до глубины своей благородной души Ленин решил выступить на суде тогдашнего Петроградского Совета в свою защиту.

Сталин почувствовал грозившую вождю опасность и убедил его не появляться на суде. Быть может, это неожиданное решение определило тогда судьбу Октября. После восстания Сталин всегда был рядом с Лениным, хотя и здесь — незримо. Когда Троцкий 15 февраля 1918 года телеграфировал Ленину из Брест-Литовска, прося дальнейших инструкций, тот ответил ему: «Я хотел бы предварительно переговорить со Сталиным, прежде чем ответить на Ваш вопрос». Возможно, тогда Троцкий впервые осознал, с кем ему придется иметь дело в будущем.

Сталин верил лишь в Ленина. Но рядом с Лениным вырастала вторая фигура — Троцкий. Если Ленин был судьбой революции, то Троцкого можно назвать ее полусудьбой — бывают ведь и полусудьбы. Гений революции больше воплощался в Ленине, талант же — в Троцком. Речь Троцкого представляла собой шедевр ораторского искусства; она росла, как бурлящие волны моря, увлекая слушателя за собой. Речь же Ленина была простой, сдержанной, без пафоса, но тем выразительнее. Слово первого воодушевляло, слово второго наставляло. Стиль Троцкого был отточен до предела. После Маркса никто из марксистов не владел пером так мастерски, как Троцкий. У Ленина вообще не было никакого стиля: фразы его путаны и тяжелы, однако они все же убеждали читателя. Троцкий занимался многими проблемами, кроме чисто революционных: искусством, литературой, театром. У Ленина же была лишь одна цель: обеспечить победу пролетариата путем революции. Словно единорог, направил он всю свою могучую волю по одному-единственному пути. Троцкий как революционер предпочитал зигзаги, иногда даже окольные пути. Возможно, именно в этом заключалась его полуфатальность. Троцкий обладал всеми необходимыми качествами великого революционера, однако ему недоставало большевистской души. Но существует ли таковая вообще?

В Евангелии Христос называется «Сыном Божиим» и «Сыном человеческим». Сын Божий в современном человеке почти умер. Вместо Логоса в нем царит Радио. Гомо сапиенс превратился в гомо техникус. В нем сохранился в цельности лишь Сын человеческий, а его божественный дар, заключающийся в том, чтобы быть в большей степени человеком, поставлен под угрозу. Поэтому мифотворческие силы, в которых лишь и проявляется божественность происхождения человека, начинают иссыхать, ибо животворное начало мифа утверждается только и только в том феномене, в котором еще жив формообразующий прафеномен.

Сознает ли современный человек себя еще как прафеномен? Едва ли. Будучи уже лишь сыном человеческим, то есть лишь феноменом, он воспринимает каждое явление только как феномен.

Земля для него уже не Великая Матерь, а просто некая геологическая реальность. Не оплодотворяемый Логосом, он и сам уже не в состоянии оплодотворять землю, он лишь использует, эксплуатирует ее. Он более не пестун ее, а лишь повелитель и насильник. Так обстоит дело в Европе и Америке.

Что же происходит теперь в большевистской России? То же, что и в Европе и Америке, вследствие развития техники. Разница лишь в том, что в России этому способствуют сознательно. Демифологизация мира, убиение Земли — материнского лона Божественного — вот чем одержим большевик. В этом направлении ясно прослеживается воля большевиков к власти. Ленин дал точное определение сути коммунизма: «советская власть плюс электрификация всей страны». В переводе на наш язык это означает: демонизм плюс американизм. Здесь гомо техникус превращается в дьявола. Для Европы и Америки утрата

силы Логоса в человеке — трагедия, для большевика же, безбожного человека, всем нутром своим ненавидящего Логос и презиравшего божественность своего происхождения, — это вакханалия и торжество нигилизма. Для Европы и Америки господство рации стало проклятием, в то время как большевик со злорадством воспринимает его как триумф своей воли. Европейец или американец, уже не оплодотворяя землю, чувствует, что лишен былого счастья, большевик же насилует землю, разлагает ее священную клеточную систему, и коллективизация лишь подтверждает, укрепляет «всемогущество». И вот что удивительно: если Европа и Америка наряду с утратой Логоса почти полностью лишились и низших пластов бытия — воспоминаний, инстинктов, корней, то у большевиков их запасы неисчерпаемы.

Еще одна загадка, еще одна отдельная тема для исследования. Лишите индейца божественного огня и внедрите в него интеллект, и вы получите большевистский тип человека. Рацию и инстинкт — трудно себе представить для революционера более подходящее сочетание. Ленин в полной мере обладал обоими этими качествами, Троцкий же — нет. Большевиком в глубине души он не был. В своем завещании из всех своих возможных преемников Ленин отдает предпочтение Троцкому. Весьма примечательно, однако, что он добавляет при этом: «Но Троцкий — не большевик».

Рассказывают следующий случай, происшедший с Троцким. Это было летом 1923 года. Власть в стране сосредоточилась в руках триумvirата — Сталина, Каменева и Зиновьева. Ленин был болен. Троцкий стоял в стороне. Он руководил Реввоенсоветом. Тень Бонапарта не давала ему покоя; после того, как Ленин слег, его пост приобретал все большее значение, а вместе с ним — и фигура Троцкого. Поэтому триумvirат принял решение направить несколько членов ЦК в Реввоенсовет, среди них, разумеется, и Сталина. Никто, конечно, не сомневался, что автором этого проекта был Сталин. В феврале состоялся пленум ЦК, на котором с предельной осторожностью был затронут вопрос о Реввоенсовете. Сталин сидел молча, выжидая. Троцкий сразу же почувствовал, что речь шла об ограничении его компетенции. Он стал горячиться, потерял самообладание. Предложение ввести членов ЦК в Реввоенсовет он воспринял как свидетельство недоверия к нему и с присущим ему пафосом обратился к присутствующим: «Освободите меня от занимаемой должности и отправьте в Германию рядовым солдатом революции!» Это было уж слишком — эффектный жест Троцкого не произвел однако желаемого впечатления, хотя не оставил равнодушным большинство членов ЦК. Но вдруг поднялся Зиновьев и, то ли подражая Троцкому, то ли не желая, чтобы тот заподозрил его в участии в заговоре, воскликнул: «Тогда вместе с Троцким и меня отправьте в Германию!»

Если слово Троцкого дышало огнем, то слово женственного Зиновьева было податливым, как спелая слива. Итак, пафос обратился в фарс. Лишь после этого поднялся Сталин и с видом огорчения произнес: «Разве может ЦК позволить себе рисковать жизнью двух таких выдающихся его членов?» Однако Троцкий не успокаивался и настаивал на своем. Вдруг встал делегат из Ленинграда Комаров и резко, грубо бросил: «Почему товарищ Троцкий придает этому такое значение? А вы, уважаемые руководители, совершенно напрасно волнуетесь из-за такого пустяка!» Это было для Троцкого неожиданным ударом. Дело, значит, дошло до того, что вопрос, поставленный им, Троцким, представляется какому-то Комарову пустяком?! Он в бешенстве вскочил, срываясь на крик, потребовал, чтобы его исключили из списка действующих лиц этого спектакля, и ринулся к двери.

Дверь в жизни Троцкого играла заметную роль. Всем памятно, как он с театральным пафосом крикнул в адрес всего капиталистического мира, когда в 1919 году над Советской страной нависла смертельная угроза: «Мы уйдем, но перед тем, как уйти, так хлопнем дверью, что мир сотрясется!» Может быть, теперь, идя к двери, Троцкий думал о той своей фразе? Он покидал явно сконфуженный пленум: ведь Троцкий еще ходил в великих революционерах. В зале воцарилось гнетущее молчание. То был исторический момент. Все ждали чего-то — возможно, что Троцкий вот-вот хлопнет дверью. Троцкий взялся за дверную ручку, вероятно, намереваясь хотя бы в малой степени исполнить свою угрозу, высказанную в 1919 году. Но он упустил из виду один пустяк — пленум ЦК заседал в Тронном зале Кремля, дверь которого была столь же массивной, сколь могущественной — бывшая династия Романовых. Троцкий резко дернул дверную ручку — но что это? Дверь не поддавалась. Он налег на нее всем телом, и она, наконец, стала медленно, предательски медленно открываться. Пленум смотрел на маленького, тщедушного, суеющегося человека, прилагавшего нечеловеческие усилия, чтобы открыть неумолимую дверь. Все члены ЦК подавили улыбку, и лишь один из них усмехнулся себе в усы. Троцкий, пристыженный, покинул Тронный зал. Все с нетерпением ждали, что он хлопнет дверью, но... жест, предназначавшийся для истории, не получился; и виной тому — эта строптивая массивная дверь. Человек, усмехнувшийся в усы, был Сталин. Кто-то, а он-то уж был уверен, что с ним едва ли случилось бы нечто подобное.

Сталин с самого начала был двойником Ленина. Он, как и Ленин, сочетал в себе рацию и инстинкт, но с той разницей, что второе было в нем развито сильнее первого. В сравнении с Лениным это давало Сталину даже некоторое преимущество. Своим звериным инстинктом Сталин чуял, что полуфатальный Троцкий не сможет руководить революцией. И с постоянным подозрением косился на Троцкого, ибо не вполне доверял ему.

При этом им руководила не зависть, а чутье настоящего революционера, распознавшего чуждый, выросший не из недр революции элемент. Наглядно это проявилось на примере Царицына. Троцкий намеревался использовать в Красной Армии бывших царских офицеров. Сталин же всей душой ненавидел любых интеллигентов. Произошло столкновение между выходцем из революции и пришедшим в нее извне. Ленин чувствовал необходимость как в одном, так и в другом, умело примиряя противоборствующие стороны. Он ограничивал бонапартизм Троцкого с помощью Сталина, а узкой прямолинейности Сталина противопоставлял Троцкого. И между двумя враждебными элементами, из которых один был всегда на виду, другой же постоянно держался в тени, разгорелась бескомпромиссная борьба.

Троцкий рос рядом с Лениным: полуфатальный, он становится полусудьбой революции. Однако без Ленина неожиданно утрачивает то, что называют в человеке роковой отвагой. Троцкий был не робкого десятка: в годы Гражданской войны он проявил демоническое мужество. Спасение Петрограда от армии генерала Юденича — полностью его заслуга; и заслуга немалая — ведь Ленин уже было смирился с тем, что Петроград придется отдать врагу, ибо над революцией тогда нависла и другая, более серьезная опасность. К тому же Ленин действовал чисто интуитивно лишь тогда, когда ему приходилось непосредственно вмешиваться в ход событий. Фронты же он поручил Троцкому. Троцкий убедил Ленина в необходимости защиты Петрограда любой ценой, и он защищал его со сверхчеловеческим упорством и мужеством. И все же за всем этим мужеством

непоколебимой скалой стояла судьба революции — Ленин. Когда Ленина разбил паралич, Троцкий сразу же лишился своего мужества.

Но вот наступает переломный, роковой для революции момент. В небольшом деле Троцкий терпит фиаско. И как раз в грузинском вопросе. Часть грузинских коммунистов во главе с Мдивани потребовала для Грузии большей национальной свободы. Против этого требования резче других выступил Сталин: ненавистник отца, он, естественно, не мог любить свою отчизну. Ленин понял, что Грузия представляет собой исключительно своеобразную страну, и поддержал группу Мдивани, хотя с чисто большевистской точки зрения более оправданной казалась, пожалуй, сталинская центристская линия... Не исключено, однако, что здесь действовали и другие силы. После паралича у Ленина, предчувствовавшего конец, обострился звериный инстинкт. Поверженный единорог своими мутными глазками увидел вдруг, что из обычной, ничем не приметной кошки, каковой казался ему Сталин, вырос тигр. Он упрекал себя, что в свое время недооценил Сталина. Он пытался собраться с силами и мощным окриком загнать угрожающе разинувшего пасть хищника назад, в кошачью шкуру, но слишком поздно. Надо полагать, это было самым горьким разочарованием Ленина... В грузинском вопросе Троцкий поддерживал Ленина — само собой разумеется, не из любви к Грузии. Больной Ленин подготовил доклад, который должен был сыграть на двенадцатой партконференции роль бомбы против Сталина. Однако, боясь повторного апоплексического удара, он передает весь материал Троцкому, а Каменеву — копию письма к Мдивани. Этого было достаточно, чтобы Сталин все узнал. Он приготовился к бою. Сначала попытался уговорить Ленина, но Крупская помешала ему встретиться с вождем. Здесь, по видимому, Сталин нанес оскорбление супруге вождя. Узнав об этом, Ленин в бешенстве продиктовал Крупской письмо к Сталину, в котором говорит, что рвет с ним, своим бывшим соратником, всякие личные отношения. Это было последнее письмо Ленина и вместе с тем самое роковое. Сталин, конечно, хорошо понимал, что означал для него разрыв с Лениным, и со свойственной ему цепкостью и молчаливой угрюмостью приготовился к прыжку. Троцкий вызвал к себе Каменева, сообщил ему все и потребовал, чтобы политика в национальном вопросе — в данном случае в грузинском — была изменена и чтобы Сталин извинился перед Крупской. Каменев передал эти требования Сталину. Сталин уступил: он принес Крупской свои извинения и послал Каменева в Грузию с поручением внести коррективы в национальную политику. Однако после этого он еще больше замкнулся в себе, помрачнел и затаился. Как раз в это время с Лениным случился второй апоплексический удар. Сталин тут же посылает Каменеву вслед телеграмму. Каменев же был достаточно хитрым политиком, чтобы не понять, как ему теперь следует поступить. По прибытии в Тбилиси он перешел на сторону Орджоникидзе, который придерживался сталинской ориентации в национальном вопросе. Вместо того, чтобы выполнить приказ вождя и распорядиться об изменении проводимой до сих пор национальной политики, он, наоборот, способствовал ее упрочению.

Так закончилась эта маленькая интермедия, в которой, однако, решалась судьба будущего вождя страны. Вместе с апоплексическим ударом Ленина Троцкий утрачивает свое историческое мужество, свою фатальную притягательную силу. Он становится неуверенным в себе. Он не знает, что в грузинском языке слова «судьба», «мужество» и «счастье» имеют один корень. Сталин же знал эти слова и не только их буквальное значение, хотя третье — «счастье» — он никогда до конца не понимал. Еще до смерти Ленина Сталин взял на себя

смелость быть Лениным. То, что произошло позднее, следует рассматривать лишь как развитие начала.

Несколько страниц из хроники того времени.

В 1923 году состоялась двенадцатая партийная конференция. Письмо Ленина относительно грузинского вопроса на ней зачитано не было. Сталин просто сообщил, что Ленин, де, получил из Грузии неверные сведения и предложил конференции свое решение вопроса, которое и было затем принято единогласно. Как ни странно, к этому решению тогда присоединился и Троцкий. Возможно, это было уже началом его душевного разлада. Так или иначе, но он горько сожалел об этом позднее. На съезде Коминтерна, состоявшемся в 1926 году, снова был поднят грузинский вопрос. Сталин спокойно и уверенно заявил (Ленина уже не было в живых), что тогда, дескать, Ленин болел и был не в состоянии вникнуть в грузинские дела. Относительно Мдивани он тогда же сказал: «Утверждают, что я преследовал Мдивани. Допустим, но ведь события, имевшие место позднее, показали, что так называемые уклоны, в которых справедливо упрекали Мдивани, потребовали и более строгих мер, нежели те, которые я применил по отношению к нему в качестве секретаря ЦК». В заключение он со скрытой усмешкой добавил, что Троцкий, мол, на двенадцатой партконференции голосовал за то решение грузинского вопроса. Троцкому ничего не оставалось, как с молчаливой досадой проглотить это напоминание.

С этого момента начинается длительная изоляция Троцкого. Сталин обрушил на него всю революционную гвардию — Зиновьева, Каменева, Калинина, Бухарина, Томского. Сам же полководец оставался в тени: для успеха дела это было удобно. Тут же появился термин «троцкизм» в противовес «ленинизму», и вот уже готов лозунг: «Долой троцкизм!»

Теперь Сталин почувствовал себя в безопасности. Его беспокоило лишь то, что в завещании Ленина он был подвергнут резкой критике. Ленин смутно чувствовал, что на посту генерального секретаря партии Сталин может сыграть роль злого гения революции. В завещании прямо об этом не говорилось, но это читалось между строк, и Сталин первым прочел это. Он учуял грозившую ему опасность. Но как нейтрализовать ее? Ему удалось воспрепятствовать оглашению завещания вождя и на тринадцатой партконференции. Однако все вокруг шептались об этом завещании. Тогда Сталин решился на следующий маневр: во время заседания пленума вновь избранного ЦК он сам зачитал текст завещания. В интимной атмосфере Центрального Комитета это произвело впечатление самоотвержения и самокритики. Он спокойно процитировал характеристику собственной персоны, данную в завещании вождя, и затем скромно спросил: «Разве я груб? Может быть, это и так. Но ведь я груб только по отношению к тем, кто идет против воли партии». (Это было сказано почти откровенно.) И далее: «Но если партия примет решение освободить меня от занимаемого поста секретаря, я готов». А это была уже явная уловка. Взвешенный, хитрый шахматный ход удался. «Просьба» об увольнении, конечно же, была отклонена: ведь большинство в ЦК во главе с Каменевым и Зиновьевым было заранее соответствующим образом обработано. Так Сталин одержал победу над завещанием Ленина.

Влияние Троцкого в партийных кругах начинает ослабевать. В 1925 году он опубликовал книгу под заглавием «Октябрь», в которой Зиновьев и Каменев, не принимавшие участия в Октябрьском восстании, называются трусами и предателями. В борьбе против Троцкого эта книга оказалась для Сталина

бесценной находкой: теперь Каменев и Зиновьев вынуждены сделать все для того, чтобы добить Троцкого. Они вспомнили об его прежних «грехах», о конфликте с Лениным и еще о многом другом — словом, объявили Троцкому непримиримую войну. Сталин лишь потирал руки от радости. В 1925 году Троцкий был «освобожден» от поста комиссара по военным делам. В результате он сразу же лишился своего положения, благодаря которому в свое время мог совершить государственный переворот. Троцкий был повержен. В борьбе двух демонов, как всегда, Ариман — порождение ненависти и злобы — одолел полугения Люцифера.

Лишь теперь Каменев и Зиновьев поняли, что были не более чем орудием в руках Сталина. Но покаяние опоздало. Они нейтрализовали именно того, кто мог сместить Сталина. Они заключают с Троцким союз против Сталина. Однако Троцкий уже не был прежним Троцким; грузинская поговорка гласит: рысак, которому хоть один-единственный раз свело ногу судорогой, уже ни к чему не пригоден. К тому же сам факт внезапного перехода Каменева и Зиновьева на сторону Троцкого, с которым они еще недавно вели отчаянную борьбу, в глазах большинства ЦК выглядел весьма неприглядным. Сталин, конечно, воспользовался и этим настроением. Каменев и Зиновьев объявили свою прежнюю борьбу с Троцким недоразумением, ошибкой. Это усугубило их и без того шаткое положение.

Однако оппозиция против Сталина не сдавалась. В 1926 году она повела наступление против выдвинутого Сталиным тезиса о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Сталин упорно защищался. Обе враждующие стороны забросали друг друга цитатами из Маркса, Энгельса, но больше всего, конечно, из Ленина. Никто, однако, по-настоящему не понимал, что с помощью цитат ничего доказать нельзя. А оппозиция к тому же забыла, что власть куется не цитатами. Произошло то, что и следовало ожидать: 16 октября того же года Троцкий, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Сокольников, Евдокимов прекратили борьбу. Они заявили, что подчиняются воле партийного большинства и просят сохранить за собой возможность отстаивать свои убеждения внутри партии. Это уже было коллективным поражением. Оппозиция все еще не видела, что «внутри партии» означало «в руках Сталина». До этого они имели уже возможность испытать на себе твердость этих рук — тем неожиданнее было их решение. На следующем же пленуме ЦК они смогли убедиться в этом: Троцкий и Каменев были выведены из состава политбюро, а Зиновьев отстранен от руководства Коминтерном. Тем не менее оппозиция не собиралась складывать оружие. Она продолжала борьбу в рамках Коминтерна. При этом она опять-таки упустила из виду, что Коминтерн был просто-напросто отдан на произвол Центрального Комитета, и снова потерпела фиаско. Особенно чувствительное поражение потерпел Каменев, которое он позднее, конечно, учел. В разгаре дискуссии Сталин с напускным безразличием, но с едкой иронией произнес: «Я говорю о случае, происшедшем с Каменевым в то время, когда он после отбытия срока ссылки еще находился в Сибири. Товарищ Каменев после мартовской революции встретился с ведущими коммерсантами Сибири для того, чтобы послать поздравительную телеграмму Михаилу Романову, которому царь после своего отречения уступил трон. Известный большевик вкупе с видными купцами посылает поздравительную телеграмму Михаилу Романову, брату бывшего царя, долженствующему сменить последнего на троне!?» Все члены ЦК были возмущены неслыханной выходкой Каменева. К дискутируемому вопросу это сообщение не имело прямого отношения, но тем сильнее, тем убийственнее

был его эффект. Пристыженная и смущенная оппозиция была вынуждена умолкнуть вместе с Каменевым.

Так была разбита левая фаланга ленинской гвардии.

Пронесся слух, что китайские союзники предали Сталина. За день до этого Сталин продикувал восторженную речь, посвященную китайской революции. Говорят, она уже была набрана для «Правды». Однако статья не увидела свет: как видно, Сталин хотел этим сказать, что и по отношению к китайским событиям он не допустит промаха. И тут побежденная оппозиция пришла в себя. Зиновьев вдруг осмелел: на собрании, участниками которого были и беспартийные, он злорадно намекнул руководству ЦК на отношение Сталина к китайцам. Троцкий же пошел еще дальше: он обвинил Сталина в предательстве дела мировой революции. Было распространено письмо, направленное против Сталина как руководителя партии, подписанное 38 старыми большевиками. Группа рабочих в составе 15 человек охарактеризовала политику Сталина как антипролетарскую. И снова разгорелась жестокая борьба. Разгневанный Сталин готовился к отмщению. Троцкий собрал свои последние силы. На очередном пленуме он просто потребовал освобождения Сталина от поста генерального секретаря ЦК. В ораторском пылу он сослался на пример Клемансо, который в 1914 году при приближении немецкой армии к столице Франции потребовал отставки несостоятельного французского правительства. Как всегда, Троцкий «увлекся». Этот его удар Сталин парировал с присущей ему легкостью: «В то время, как враг стоит не далее, чем в 80 километрах от стен Кремля, этот наш Клемансо, этот опереточный Клемансо, так как враг уже подошел вплотную к Кремлю, сначала, значит, расправится с существующим большинством [Центрального Комитета] и лишь после этого займется решением самого вопроса». И в этом не было никакой логики, однако, тем сильнее и точнее оказался контрудар. Очень тонко Сталин намекнул на то, что большинство ЦК на его стороне, а еще тоньше на то, что Троцкий лишь в непосредственной близости воображаемого противника намеревается проявить свое мужество, чтобы затем воспользоваться замешательством большинства ЦК. И все же решающую роль в контрударе Сталина сыграли вводные слова: «этот наш Клемансо, этот опереточный Клемансо». В стычках между революционерами метко брошенное словцо часто решало судьбу того, против кого оно было направлено, так случилось и на сей раз: прозвище, данное Сталиным Троцкому, прозвучало как приговор. Итак: Троцкий — опереточный Клемансо? Этот удар оказался тем убийственнее для Троцкого, что был совершенно неожиданным для него. И снова оппозиции пришлось отступить.

В 1927 году отмечалось десятилетие Октябрьской революции. Оппозиция попыталась еще раз собраться с силами: в Ленинграде и Москве она организовала массовые демонстрации против центрального руководства. Оппозиция, однако, не учла, что СССР — не царская Россия, в которой подобные средства борьбы с противником еще имели какой-то смысл. Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Та же судьба постигла на пятнадцатой партконференции Раковского, Радека, Пятакова, Каменева. Зиновьев и Каменев вскоре покались. Сталин назначил обоим, как «неисправимым ученикам», испытательный срок. Это означало для них уже не только политическую смерть, но и позор.

Так Сталин окончательно расправился с левой оппозицией. Кое-какие требования, выдвигавшиеся левыми, он все же счел в целом справедливыми и начал претворять их в жизнь. Так, он объявил непримиримую классовую борьбу кулакам, то есть зажиточным крестьянам.

Но вот появилась оппозиция справа, не обладающая, впрочем, ни силой, ни гибкостью, ни цепкостью левых. С нею Сталин справился играючи. На какой-то конференции он даже поднял на смех лидеров новой оппозиции — Рыкова, Бухарина, Томского: «Вы, — сказал он, — страдаете той же болезнью, что и известный герой Чехова, учитель греческого языка. Он, как вы знаете, постоянно ходил в галошах, в теплом пальто на вате, с зонтиком как в холодную, так и в теплую погоду. Когда его спрашивали, почему он в июльскую жару ходит в галошах и зимнем пальто, он неизменно отвечал: "Как бы чего не вышло... как бы мороз не ударил... Что тогда мне делать?" Он боялся всего нового и прежде всего того, что выпадало из привычной, монотонной жизни. Когда открывался новый ресторан, Беликов волновался: "Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло..." Появилось новое литературное общество, открыли читальню, а Беликов снова испугался: "Как бы чего не вышло..."» Сталин привел случаи из жизни и деятельности Рыкова, Бухарина, Томского, и они предстали перед многочисленной аудиторией в роли смешного, незадачливого учителя греческого языка. Дружный продолжительный хохот прокатился по залу, в котором проводилась конференция.

К тому времени Сталин уже был диктатором...

Проходили дни, недели, месяцы, годы... Оппозиционные группы справа и слева, как могли, противостояли Сталину, но, закаленный в борьбе, он неизменно одерживал над ними верх. Победенные склоняли головы перед ним и каялись в своих прегрешениях. Всех изумляли победы этого «чудесного грузина». Задним числом они пытались понять значение этого прозвища, данного Сталину вождем. Они дивились, но не понимали, откуда в этом грубом, диком кавказце такая неодолимая сила. Всем было невдомек, что неиссякаемый звериный инстинкт большевистской души Сталина питает рассудок. Для достижения победы именно этот фактор имел решающее значение. Победа следовала за победой, и не было силы, способной остановить его. В немифологическую эпоху на территории бывшей Российской империи вдруг появился человек, обладающий неслыханной тотемистической силой.

Судьба революции, Ленин, лежит в гробу — забальзамированный миф о новоявленном фараоне. Герой революции Троцкий, сосланный на берега Босфора, пишет там или где-то в другом месте мемуары. Штурвал революции в руках Сталина. Он сидит в Кремле, словно очеловеченный радиоприемник, принимая со всех концов Советского Союза бесчисленные радиоволны. Но Сталин — не только приемник, но и творец этих волн и их судья. Одним указом он притормозил всю коллективизацию, когда «успехи» вскружили голову не в меру ретивым и чуть было не привели страну к катастрофе. В течение восемнадцати лет он был погружен в молекулярные процессы, происходившие в массах рабочих, будучи сам редчайшей молекулой, и не было такой, которой бы он не коснулся. Другие его соратники жили до революции вне России. Они следили за развитием революционных событий на Родине из Европы, отсиживаясь в эмигрантских мансардах. Сталин постоянно находился в водовороте рабочих масс — незримый, но активный их элемент.

В прежние времена в вожаке племени концентрировалась сила всего рода. Сталин аккумулировал в себе энергию масс; и когда развитие революции стало приближаться к победному концу, он вдруг неожиданно для всех оказался в ее авангарде. Он олицетворял собой революцию. Он уже — не человек, он — существо или чудовище, непостижимое и страшное.

Кое-кто сравнивал его с Чингисханом или с Тимуром. Это неудачное

сравнение, ибо у монгольских завоевателей были страсть, душевные порывы и бредовые идеи. Для Сталина страсть нехарактерна вообще: он был холоднокровным существом. В определенном смысле это даже умножало его силу. Слова Ницше о зрелости гения: «К нему вернулась серьезность, которая была для него характерна в детстве, во время игры» к Сталину никак не отнести. Такой серьезностью он не обладал никогда, ибо у него и детства не было; с малых лет он был удручен и не любил играть. Свободный от каких бы то ни было комплексов или скованности, он действовал подобно стихии — слепо и всепоглощающе.

Поговаривали, что он завистлив, подтверждая это следующим случаем: за спасение Петрограда политбюро решило наградить Троцкого орденом Красного Знамени. Каменев вдруг предложил вручить этот орден и Сталину. «За что?» — громко спросил Калинин. И Бухарин объяснил: «Неужели вы не понимаете? Это предложил Ленин. Ведь Сталин не терпит, когда не получает того же, что и другие. Он этого просто не прощает». Об этом случае рассказывали, упустив из виду, что на сей раз, если это, конечно, не выдумка, Ленин ошибся, несмотря на свое превосходное знание людей. Сталин просто-напросто не мог быть завистливым. Он, правда, не выносил, когда кого-нибудь выделяли, но не потому, что сам хотел быть выделенным, а потому, что не терпел вообще никакого избранничества, будь то чужое или его собственное. Ощущение избранности — свойство экстатическое. Сталин же даже в переносном, отдаленном значении этого слова никогда не обладал дионисийским началом. Именно отсутствие этого качества послужило для Сталина своеобразным непробиваемым панцирем в борьбе за власть. Упоение победой чуждо ему.

Всех поражает аскетизм Сталина — то, что ему чужды чувственные наслаждения: женщины, вино, азартные игры. Однако никто не понимает, что Сталин никакой не аскет — наслаждение не в его натуре. Нужно любить, чтобы ощущать радость, радость до самозабвения. Сталин же никогда не забывался; и хотя Сталин не верит ни в ад, ни в рай и вслед за Лениным всякую веру в Бога принимает за труположество, но слова Достоевского об аде: «Он [ад] есть страдание о том, что нельзя уже более любить» — должно быть, заставляют его порой задуматься. Он не был наделен даром любви. Эта душевная пустота — причина его безграничной меланхолии, которую он скрывает за непроницаемой ширмой своей неутомимой деятельности.

Снедаемый лихорадкой активности, Сталин сидит в Кремле — власть имущий, но не властелин, ядро революционных сил, существо, но не человек, проводник с предостерегающей надписью: «Опасно для жизни!» Даже разговор с ним по телефону действует угнетающе. Никто не застрахован от него. Излучая флюиды, наводящие ужас на людей, он неприступным колоссом возвышается над всеми — слепой и холодный рок Советской страны, а, быть может, и всего мира. В редкие мгновения его жизни, когда в нем, невозмутимом и непоколебимом, отключаются эти флюиды и он выползает из их сети, опустошенный, чужой самому себе, в страхе сознающий, что силы его небеспределельны, тогда он, Сталин, — всего лишь Сосо Джугашвили, простой грузин. Тогда он смутно вспоминает далекую Грузию, от которой у него сохранились лишь вкус сациви, кахетинского вина, застольная песня «Мравалжамизэр» и грузинское проклятие: «Магати дэда ки ватирэ» — «Я заставлю рыдать их матерей».

Георгий Лорткипанидзе

Грузия на распутье

От режима личной диктатуры к кулуарному правлению

Меж Сциллой и Харибдой

Писать в российской прессе о современной Грузии — для грузина задача неблагоприятная. Любой автор, который рискнет затронуть ряд болезненных тем (от порушенной территориальной целостности до причин войны 2008 года), вряд ли избежит обвинений в субъективности и попадет в итоге — с высокой долей вероятности — под словесный обстрел с противоположных берегов...

Но с другой стороны, несмотря на ставшие, к сожалению, привычными драматизм и почти полный застой в грузино-российских отношениях, задача эта, как все полузапретное, чрезвычайно интересная. А быть может, не только интересная, но еще и полезная, хотя порой очень непросто различить невидимую грань между пасквильанством на свою страну и той дозой нелицеприятной критики, что необходима для ее же здоровья.

Несмотря на все эти соображения, еще и еще раз спрашиваю себя: допустимо ли стирать на людях грязное национальное белье? Это весьма серьезный вопрос для любой маленькой страны и конкретно для Грузии, тем более, что вечно тлеющий конфликт возник отнюдь не сегодня. Другое дело, что современные политики и политиканы очень уж постарались для того, чтобы придать ему оригинальные геополитические измерения. С моей точки зрения, искать корни этого конфликта в исторических дебрях правления царя Ираклия конца XVIII века малопродуктивно. Взаимные претензии современных политиков двух стран берут начало не в тумане двухсотлетней давности, а гораздо ближе — в советском прошлом.

Конечно, при создании модели конфликта всяк волен отталкиваться от разных исторических фактов: от оккупации 11-й армией Первой Грузинской республики в феврале 1921-го, от кровавого подавления антибольшевистского восстания 1924-го, от момента смерти Сталина, от таинственного умерщвления Лаврентия Бери и даже от вывертов национальной политики дорогого Никиты Сергеевича. Как знать, если у «верного ленинца» хватило бы ума воздержаться от расстрела массовой демонстрации в Тбилиси 9 марта 1956 года, то может мы избежали бы и последующего отчуждения двух народов, и впоследствии, на

Лорткипанидзе Георгий Борисович — грузинский прозаик и публицист, биофизик, кандидат биологических наук, автор ряда рассказов и повестей на грузинском языке и одного романа — «Станция Мортуис» — на русском. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

неровном изгибе девяностых, единая и мирная Грузия нашла бы себе достойное место в одном ряду с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а вовсе не с далекими от нее по ментальности и географии — при всем к ним уважении — прибалтийскими странами. В Грузии и по сей день живуча версия, согласно которой «главный кукурузник», ослепленный ненавистью и чувством мести за расстрелянного сына лично к Сталину, не только перенес эту ненависть на породившую великого вождя нацию, но даже собирался было «подать вагоны» для высылки всех грузин оптом куда-нибудь в сибирские или казахстанские степи. Документального подтверждения этой легенды нет, но в Грузии каждому известно, что сдержать непредсказуемый хрущевский гнев удалось лишь его же ставленнику, руководителю республики Василию Мжаванадзе... Угроза выселить целый народ — пусть и не прозвучавшая вслух, пусть и недоказанная, но технически осуществимая — слабо подпадает под действие принципа презумпции невиновности и ассоциируется, вольно или невольно, с возможностью совершения геноцида по этническому признаку. Для массового национального сознания это одна из наиболее непереносимых и трудно прощаемых провинностей...

Одним словом, поводов и причин для обид предостаточно. Все эти придуманные и реальные обстоятельства конца 50 — начала 60-х годов слишком глубоко отложились в глубинных пластах коллективной национальной памяти, возбудили никому не нужные комплексы вины, превосходства, преследования и т.д. Таким образом в тот период советской истории, в целом неплохой и известный больше как «хрущевская оттепель», добрым отношениям между грузинами и русскими была нанесена труднозаживаемая рана, от которой не удалось полностью избавиться даже в последующие, весьма благостные застойно-застольные времена.

Но как бы там ни было, мы — соседи. Географически Россия ближе к Грузии, чем США, и так будет всегда, несмотря на всю американскую помощь за последние четверть века, вместе взятую. Поэтому рискну утверждать, что многие ныне помалкивающие видные грузины хотели бы заручиться поддержкой Кремля, активнее сыграв на поле улучшения грузино-российских отношений. Но они оказались меж Сциллой и Харибдой. С одной стороны, эти люди боятся попасть под огонь критики не столько местных националистов, сколько куда более корыстных и фанатичных «европеизаторов», давно связавших свое политическое и личное благополучие с курсом на так называемую «евроинтеграцию». С другой, им грозит опасность стать жертвой российского, скажем так, «непонимания». Ведь исполнительная власть Российской Федерации — несмотря на высокопарную риторику некоторых думских патриотов — куда больше, чем власти любой Прибалтики, боится призрака СССР и его юридического восстановления. Даже в том фантастическом случае, если титульные народы бывших республик вдруг все вместе сойдут с ума и проголосуют на референдумах за восстановление Союза ССР в прежнем виде, это окажется весьма затратным мероприятием. Новая либерально-демократическая Россия с момента своего рождения в качестве суверенного государства всеми доступными для нее средствами — от экономических, силовых и до политико-пропагандистских — рьяно (хотя и скрытно) способствовала и поныне способствует приходу к власти в бывших союзных республиках антироссийских, националистических сил, а в ряде случаев заботилась о стабилизации подобных режимов (во всяком случае, так было до начала украинского кризиса, присоединения Крыма и известного донбасского кровопролития). Так что Грузия отнюдь не печальное исключение из правила.

Считаю себя обязанным напомнить очевидное: весьма прискорбно, но пора забыть о той прежней, веселой, дружелюбной Грузии — терпимой, легкой на руку, помыслы и подъем, свободно и с удовольствием изъясняющейся по-русски и столь хорошо знакомой советским людям старших поколений (и моим ровесникам, в том числе). Она, увы, кончилась! Однобокие и бесчеловечные реформы девяностых, густо замешанные на разного рода «национализмах», породили Грузию антисоветскую и химерическую, преисполненную «европейских» иллюзий, с мазохистским зудом переписывающую собственную новейшую историю и без конца конфликтующую со своим окружением. Государство с невнятным прошлым, невнятными границами и еще более невнятным будущим. В этом, кстати, моя страна, отнюдь не одинока, ибо таковой или похожей оказалась пагубная судьба (в той или иной степени различная, но по сути одинаковая) всех бывших союзных республик без исключения.

Все мы знаем и помним, каким диким образом развивались события на советском пространстве начиная со второй половины 80-х годов прошлого столетия и вплоть до сегодняшнего дня. И хотя после развала и исчезновения с политической карты мира нашей общей Родины — Советского Союза — давно уж нет на свете единого советского народа в прежнем понимании, однако постепенно выясняется, что корабль с горделивым названием «СССР», вопреки ожиданиям и надеждам его врагов, все же не затонул полностью и окончательно, а дрейфует по волнам памяти и в нашей общей больной совести в виде своеобразных обломков. Той, великой, державы уже действительно нет, но пока в живых числимся мы — отмирающие в «суверенных» республиках реликты, возвращенные на почву советской еще культуры — разговоры на тему «как хорошо было тогда» не прекратятся. В частности, под «реликтами» я имею в виду и тех моих соотечественников — граждан Грузии, которым до сих пор отнюдь не чужды ни русский язык, ни русская литература, ни ценности «дружбы народов СССР», пускай придуманные и искусственно привитые, но такие реальные в лучших своих проявлениях. Да, пусть мы сейчас и в меньшинстве, но зато обладаем бесценным опытом, разумом, исторической памятью, по-прежнему предпочитаем дружбу народов вражде между ними, не ленимся сравнивать день сегодняшний со днями вчерашним и позавчерашним и даже делать из этих сравнений кое-какие выводы. И можно ли корить нас за это?

Три формы правления

Начну издалека, с расхожего напоминания о том, что в стратегическом плане небольшая по размерам и населению Грузия все еще остается — хотя и в меньшей степени, чем в советскую эпоху, — ключевой страной Южного Кавказа и его своеобразным магнитом. Сказано это отнюдь не в обиду Азербайджану и Армении (обе эти конфликтующие меж собою страны сегодня развиваются быстрее Грузии — в том числе и благодаря тому, что они так и не стали объектами авантюрных «цветных» экспериментов и сохранили более-менее нормальные отношения с Россией). Особое положение Грузии коренится во влиянии православной традиции и срединном географическом положении страны. Свою роль играет и культурное наследие тех полузабытых времен, когда Тифлис — в коем пребывала резиденция наместника его императорского величества на

Кавказе — становился культурным центром региона подобно тому, как прикаспийский Баку стараниями Ротшильдов, Нобелей и Витте превращался в промышленный центр Закавказья. Ереван же, несмотря на древность своего происхождения, оформился как развитый современный город позже, уже при советской власти.

Кстати, и в прошлом, и сегодня подобное положение Грузии было не всегда выгодно населению, ибо обуславливало повышенную уязвимость территории с военно-стратегической точки зрения (особенно в конфликтных ситуациях, когда Кавказский хребет не мог считаться помехой). Но так уж вышло, что на планете не нашлось для грузин иного места. Историческая судьба страны сложилась так, что на ней и сегодня пересекается слишком много внешних интересов и силовых линий, а потому не стоит надеяться, что Грузия будет предоставлена самой себе, в особенности в условиях мировой глобализации, постепенно стирающей государственные и прочие границы. Ныне американский дипломат, сидящий в наиболее крупном на Южном Кавказе посольстве США в отдаленном от центра города тбилисском районе Глдани, определяет персональный состав грузинского правительства куда в большей степени, чем все депутаты нашего парламента вместе взятые. Такова довольно прискорбная черта геополитической реальности — вопреки «детским» иллюзиям первых лет «независимости и суверенитета».

После завершения советского этапа истории Грузии и повторного объявления ею независимости в 1991-м (о первой независимой Грузинской демократической республике (1918—1921) говорить здесь не стану) страна пустилась в плавание по бурным волнам мировой политики. То, что весьма амбициозное, но на деле довольно-таки утлое суденышко с весьма скромным водоизмещением, получив ряд пробоин, до сих пор не перевернулось и не затонуло, — это заслуга не столько ее незадачливых капитанов, сколько матросов, слишком часто бессловесных, но все еще вынуждающих считаться с собой в критических ситуациях.

За примерами далеко ходить не надо: за первые десять-пятнадцать лет после объявления независимости Грузия пережила чуть ли не полный набор испытаний с предсказуемым отрицательным исходом. Диапазон злоключений чрезвычайно широк. От войны гражданской до войны за территориальную целостность. От государственного переворота 1992 года до государственного переворота 2003-го. От гибели затравленного в мингрельских лесах бывшего советского диссидента, сына известного грузинского писателя-классика и одновременно пламенного национального лидера и первого избранного на свободных выборах президента страны Звиада Гамсахурдия до возвращения на трон не менее пламенного горбачевца, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. От этночисток в отношении грузин в Абхазии и до всплесков собственного «дикого национализма» в отношении нацменьшинств. От набегов неофициальных вооруженных формирований на города и села в стиле Калверы, бандита из знаменитого вестерна, до невиданной ранее по масштабам коррупции. От отсутствия зарплат, тепла и света до каждодневно галопирующей инфляции. От криминального «беспредела» до постепенного выталкивания Грузии «московскими властными западниками-демократами» в американскую зону влияния. Список можно легко продолжить, но стоит ли? Все это слишком общеизвестно. Правда, президенту Шеварднадзе

к концу девяностых все же удалось несколько стабилизировать ситуацию внутри страны, и к началу нового столетия Грузия подошла пусть и не вполне состоявшимся, но все же государством с собственными формальными институтами, с политиками, игравшими по постсоветским «понятиям и правилам», с выборами, с новой конституцией, с посольствами в разных странах, с правящим большинством в парламенте и т.д.

Если же для удобства принять за новую точку отсчета наступление текущего двадцать первого столетия, то за пятнадцать прошедших лет Грузия успела пережить три формы правления.

Первая: завершающая фаза становления «дикого капитализма» постсоветского типа под руководством тандема Шеварднадзе—Жвания (последний — спикер парламента, скончавшийся в феврале 2004-го при невыясненных обстоятельствах), продлившаяся до 2003 года.

Вторая: неолиберально-авторитарный режим личной диктатуры Михаила Саакашвили (2003—2012), захватившего власть на волне происшедшей в ноябре 2003-го «цветной революции роз». Все годы пребывания у власти наши «цветные революционеры» изо всех сил позиционировали себя в качестве «прозападной демократической витрины», что не удивительно, поскольку изначально были ставленниками определенных политических сил как США, так и — не удивляйтесь — России. Внутри страны их режим превратился в кошмар для многих моих соотечественников, ибо осуществлял реформы насильственными методами. Вместе с тем, несмотря на то что страна до сих пор еще пожинает плоды правления Саакашвили, не все они однозначно ядовиты. Надо признать, что в итоге девятилетнего нахождения «Национального движения» у власти ушел в прошлое невыносимый, жуткий бардак, столь характерный для последних лет эпохи Шеварднадзе. Было бы несправедливым отрицать вклад Саакашвили и его команды в наведение элементарного порядка. Однако атмосфера насилия и беззакония, царившая в стране, наряду с потерей значительной доли поддержки со стороны западных патронов, привело «Национальное движение» к банкротству на парламентских выборах 1 октября 2012 года.

Третья: приход к власти на этих выборах разношерстной межпартийной коалиции «Грузинская мечта» во главе с миллиардером-благотворителем Бидзиной Иванишвили. В предыдущее десятилетие он стал известен широкой грузинской общественности и, прежде всего, обнищавшей интеллигенции именно своей благотворительностью. Принадлежащий Иванишвили банк «Карту» годами спонсировал избранных интеллигентов, причем получаемые ими суммы иногда в десятки раз превышали их официальные зарплаты. Разумеется, такая широта души не могла пройти незамеченной. Впрочем, это не мешало тому же Иванишвили ранее в течении ряда лет наряду с другим известным американским «филантропом» Джорджем Соросом финансово поддерживать режим Саакашвили до тех пор, пока тот грубейшим нарушением прав человека, внесудебными и судебными расправами над оппозиционерами и силовым перераспределением собственности в интересах своего клана настолько себя скомпрометировал, что ассоциировать себя с ним перестало быть выгодным.

Плоды обещанной демократии

Причины, по которым «революция роз» вообще стала возможной, конечно же, ошибочно искать лишь за пределами родной страны. Корни ее здесь, на грузинской земле. Бесспорно, дело не обошлось без активного вмешательства извне, и только очень наивный человек не узрел бы связи в том, что вслед за «розовой» революцией на проспекте Руставели свершилась революция «оранжевая» на киевском майдане. А уже потом произошли известные события в Киргизии, в Узбекистане, в Азербайджане. Но как бы ни была высока степень вмешательства заинтересованных внешних сил, без наличия благодатного гумуса многомиллионные инъекции из-за океана были бы обречены на растворение в местной почве. Пора признать раз и навсегда: кабы не нагромождения несправедливостей, совершенных и поныне совершаемых на постсоветском пространстве «героями капиталистического труда» во имя торжества демократии и рыночной экономики, мы — все бывшие наши народы — не дошли бы до жизни такой.

Взять хотя бы пример моей родной Грузии. Какие плоды обещанной демократии выпали на ее долю — вернее на долю обычных, среднестатистических ее граждан — за двадцать пять постсоветских лет, кроме, разумеется, свободы и независимости? Свобода — это, конечно, прекрасно, но одним ее воздухом сыт не будешь, да и независимость как таковую намазать на хлеб невозможно. Любой идеализм имеет свои естественные пределы, а потому любое новоявленное государство, стремящееся не на словах, а на деле укреплять свой суверенитет, просто обязано научиться с умом распоряжаться вдруг привалившим к нему богатством.

Что же после распада СССР мы получили в Грузии — одной из наиболее благополучных в материальном (да и в культурном) отношении республик? Нескончаемые этнические и гражданские конфликты, инспирированные то ли злой внешней волей, то ли собственной глупостью, либо тем и другим вместе. Изъятие вкладов и сбережений населения. Наиболее глубокую на всем постсоветском пространстве искусственную инфляцию и, как следствие, массовое обнищание трудящегося люда (не путать с «новыми грузинами»). Гигантскую коррупцию (хотя, говоря по правде, о какой коррупции могла идти речь, если прожить на официальную зарплату было невозможно, а половина трудоспособного населения как не имела работы тогда, так не имеет ее и сейчас?). Недостойный для цивилизованного общества конца двадцатого столетия энергетический кризис. Прибавьте к этому каждодневную несправедливость, процветавшую под идеологическим прикрытием праволиберальных экономических теорий... И так далее.

Не удивительно, что попавшая в руки аферистов страна быстро подседа на внешние финансовые инъекции, набрала долгов и практически свела неожиданно-негаданно свалившуюся на нее независимость к символике, риторике да к ежегодным ритуальным представлениям. И главное: всего за несколько лет она успела потерять ряд своих провинций, получив вдобавок к своему и без того нищающему и вымерзающему в городах центральной Грузии населению еще и многотысячную массу беженцев и перемещенных лиц. Причем, наряду с чисто гуманитарными аспектами абхазской и юго-осетинских проблем, не следует забывать и о материальной, экономической стороне вопроса.

Взять хотя бы самое малое: резкое сокращение береговой линии и утерю

традиционных черноморских курортов. Не стоит и уточнять, что если абхазская автономия не вернется назад на любых мало-мальски разумных условиях, то Грузия фактически утратит перспективу развития морского туризма и соответствующие отчисления в свой бюджет. В конце концов, равнодушному большому миру наплевать на то, кому будет юридически принадлежать пара десятков тысяч квадратных километров где-то там, у подножья далеких кавказских гор. Может, я и заблуждаюсь, но в случае, если мирный процесс окончательно зайдет в тупик, мне крайне трудно будет представить себе грузинского политика (кем бы он ни был: страстным поклонником Маккейна или Сороса либо отъявленным противником их обоих) за таким занятием, как подписание документа о признании независимости Абхазии или, тем паче, о мирной ее передаче братской России.

Теоретически целостность страны можно сохранить, если ужаться в размерах. Таков, кажется, европейский подход, успешно апробированный в бывшей Чехословакии (мирно) и менее успешно в бывшей же Югославии (после кровавой бойни), но у нас такой способ вряд ли применим. Согласен: мирный путь к установлению всеобщего мира через трибунал типа Гаагского, возможно, и был бы наилучшим решением, но Гаага — это хорошо только в том случае, если всем сестрам достанется по вполне заслуженным серьям. А как раз это-то у нас и маловероятно. На Кавказе как-то не принято выдавать своих военных преступников международному правосудию. На Балканах уже выдают, а на Кавказе — пока нет. Хотя на словах все признают, что никому не разрешено поощрять геноцид, прикрываясь борьбой за национальные интересы, но на деле после распада СССР интересы у каждого кавказского государства — не говоря уже об автономиях — свои. Поди-ка сведи их к общему знаменателю мирным путем!

Что ж, приходится признать, что страсть к национальной независимости — даже не к свободе и демократии, а именно к собственной государственности, — нанесла поражение ностальгическим воспоминаниям старших поколений, разбив вдребезги саму идею интернационального союза советских людей. И это произошло во всех концах бывшей великой державы. Уже тогда, когда газетные передовицы пестрели призывами к «перестройке» и «ускорению», неумолимо наступала на нас новая эпоха — эпоха псевдобуржуазных перемен, эпоха даже не индивидуализма, а дикого ковбойства времен освоения американцами индейского запада. Только вот в отличие от ковбоев-янки, мы-то хорошо знали, что такое нормальная жизнь, свет и тепло в домах, и не могли даже гадать о том, что простая лампочка Ильича в одночасье превратится в роскошь. Объективно распад СССР оказался невыгоден большинству, он отнял у простых людей куда больше, чем им же дал. Наивность оказалась наказуемой...

Победа формы над содержанием

Феномен грузинской «революции роз» обернулся триумфальной (пусть и временной) победой формы над содержанием. Тогда у нас в Грузии резко поменялось не что иное, как форма. Изменились не строй, не ментальность общества — люди-то остались прежними: новоявленные наши «буржуа» как были компрадорами при Шеварднадзе, так и остались ими же при Саакашвили. Сменилась именно форма как внешнее выражение смены вех, или, иначе говоря, назревших и перезревших перемен, глубинный смысл которых не вполне еще понятен.

Правящий слой страны тогда резко помолодел. На руководящие должности массово назначались партийные активисты «Национального движения» лет двадцати пяти-тридцати, реже с умеренно полным, а чаще с неполным высшим образованием, вроде краткосрочных курсов в каком-нибудь модном европейском или американском колледже. Запись в трудовой книжке такого чиновника считалась неважной, а часто такой книжки и вовсе не было в природе. Основными достоинствами считались политическая лояльность прозападному курсу и личная преданность Михаилу Саакашвили. Действительный уровень компетентности руководителя такого типа уже по определению не мог играть сколь-либо значимой роли, и в глубине души подобный выдвиженец — кроме наиболее тяжелых случаев самообольщения — и сам был способен трезво оценивать свою истинную ценность.

Упомянутая выше смена вех не только открыла амбициозным молодым людям путь к недостижимым ранее должностным высотам, но и убедила многих из них в том, что наличие жизненного опыта — качество сугубо отрицательное. В конце концов, их жизненные установки формировались в крайне неудачные для Грузии девяностые годы, в период, когда в истинность известной максимы «после нас хоть потоп» поневоле уверовали и гораздо более зрелые люди. Поэтому драматичную и шумную передачу власти от старших к младшим, вошедшую в историю современной Грузии под ярким названием «революции роз», вполне допустимо рассматривать и как расплату за старые грехи, как реакцию на содеянный в роковые девяностые «беспредел», как своеобразную месть недообразованных потомков за свое несчастливое детство, отрочество и юность.

В основу массовой поддержки «революции роз» (ну не могу я здесь не кавычить — ибо строй-то как был олигархическим, так таковым и остался) легли не позитивные идеи переустройства коррумпированного общества или неприятие крайне несправедливых правил экономической игры, а всеобщее разочарование. К началу двухтысячных годов у подавляющего большинства населения сформировалась чуть ли не физиологическая, животная ненависть к обанкротившемуся президенту Шеварднадзе. Следует признать, что молодежный переворот не только подверг шоковой «терапии» всю бездарную и глубоко коррумпированную систему государственного управления, успевшую сложиться в Грузии после развала СССР, не только реанимировал надежду на возмездие, которая никогда не умирала у вытесненных на и за обочину прогресса аутсайдеров, но и ввел в обиход особое, основанное на ущемлении человеческого достоинства и материального благополучия противников политическое поведение в стиле «красных кхмеров». В конечном счете это и стубило юных триумфаторов.

Игра по правилам

К осени 2012 года где-то за океаном возобладало, думаю, понимание того, что долготерпение грузинского народа не безгранично и «своего сукиного сына» пора убирать из большой политики, хотя бы и на время. Причем законы демократии требовали, чтобы смена правителя произошла путем выборов, а не переворота. Само же проведение выборов и обеспечение их успешного исхода было делом техники.

Сценарий мирной передачи власти от Саакашвили к Иванишвили был, по-видимому, заранее составлен в тех же политических «центрах принятия решений», в которых девятью годами ранее была определена судьба предшественника

Саакашвили Эдуарда Шеварднадзе. Разумеется, я намеренно упрощаю схему. Саакашвили очень не хотелось покидать поле боя побежденным, и в течение всего 2012 года он и его партия вели на международной арене жесточайшие арьергардные бои и всячески оттягивали сроки проведения выборов. Но, как видно, решение о смене власти в Грузии было уже принято. К тому времени правящий режим был настолько дискредитирован, что при ином раскладе американцы рисковали вообще потерять Грузию целиком. Особое возмущение общественности вызвали дополнительные свидетельства о преступности режима, как-то уж очень подозрительно вовремя оказавшиеся в руках массмедиа к началу предвыборной кампании. Речь идет о видеозаписях пыток в Глданской тюрьме, а также о сделанных тайно съемках сексуальных соvrащений известных лиц, которые были показаны по нескольким телеканалам. Большую часть этих документов новое правительство публично уничтожило, признав их потенциальным орудием возможного шантажа. Замечу, однако, что в полную ликвидацию позорных файлов верят далеко не все.

Для правильного понимания происходивших тогда событий следует учесть еще один фактор. А именно психологическую атмосферу того периода — атмосферу ужаса перед постоянными телефонными прослушками, неожиданными увольнениями с работы, арестами, политическими процессами, изъятиями имущества и собственности, перед продолжением репрессии в случае возможной повторной победы «Национального движения»... Ведь задолго до выборов шантаж превратился в образ жизни. Люди постоянно опасались за свободу и даже за жизнь, свою и своих близких. Вот что на деле оказалось главным «достижением» меритократа Саакашвили.

Люди, голосовавшие за Иванишвили и его «Мечту», в большинстве своем надеялись (многие по наивности и поныне надеются) на восстановление поруганной справедливости и отмену тех несправедливых законов, посредством которых осуществлялась та самая «меритократическая» несправедливость. Избиратель «Мечты» возлагал свои надежды на справедливое возмездие, на кару, которая согласно обещаниям ожидала наглых и безграмотных фанатиков-«националов», которые бесчинствовали в течение чуть ли не десятилетия и не только безнаказанно «отжимали» собственность у разбогатевших при Шеварднадзе чиновных предпринимателей, но и пустили по миру многих «старых» советских интеллигентов. Отдельной строкой можно выделить сложные отношения команды Саакашвили в сообществе «воров в законе». С одной стороны, был принят закон, разрешающий привлечение к ответственности только за устное признание в принадлежности к воровскому миру. С другой — у людей Саакашвили, по слухам, сохранялись весьма специфические и взаимовыгодные отношения с наиболее выдающимися «ворами в законе» за пределами Грузии... Таким образом, грузинский избиратель, прогоняя из правительственных кабинетов команду Саакашвили, прежде всего рассчитывал на восстановление попранного достоинства и какую-то материальную компенсацию за понесенные потери. Мало кто из простых граждан мог бы предположить, что президенту Грузии, публично обвиненному оппозицией в массовых и грубейших нарушениях прав человека, удастся увильнуть от судебной ответственности.

Саакашвили сдал власть пусть и нехотя, но в целом мирно и без особых эксцессов. Многие наблюдатели полагают, что он в ходе предварительных кулуарных переговоров получил гарантии личной безопасности, возможно, еще до подсчета голосов на выборах. Более того, в качестве оппозиционной полити-

ческой силы было сохранено «Национальное движение», не получившее справедливого наказания за содеянные грехи.

После выборов Саакашвили, как и было предусмотрено конституцией, еще с полгода выполнял обязанности президента, а когда срок его полномочий истек, он был формально объявлен в розыск грузинскими правоохранительными органами. Однако несколько ранее те же самые органы сделали все возможное для того, чтобы он смог спокойно пересечь границу. Таковы, как видно, были правила игры, заранее навязанные премьеру Иванишвили. Привело это лишь к тому, что Михаил Саакашвили, вместо того чтобы отвечать на вопросы следователей в Грузии, объехал полмира, выступал с лекциями в американских и европейских университетах, давал многочисленные интервью, а в довершение всего возглавил Международный совет по реформе при украинском президенте Порошенко, а затем и стал одесским губернатором. На самом деле, нет ничего неожиданного в том, что социальный эксперимент с участием Саакашвили и его команды перекочевал не куда-нибудь, а на Украину. Ведь майданная власть тоже объявила курс на прозападные реформы и на «вхождение в Европу» любой ценой, и как тут ей обойтись без антироссийских советов вездесущего Мишико, в течение многих лет проводившего за рубежом (как видно, исключительно в познавательных целях) куда больше времени, чем в рабочем кабинете возведенного им для себя же роскошного президентского дворца?

В общем, после судьбоносных выборов довольно быстро стало очевидно, что лидеры «Грузинской мечты» несмотря на всю их радикальную предвыборную риторику совершенно не намеревались устраивать в Грузии новый Нюрнберг и судить режим Саакашвили как таковой. А судить было за что — только за первые месяцы, прошедшие после формирования нового правительства, в республиканскую прокуратуру поступили десятки тысяч заявлений и жалоб на действия прежних властей, но ни одной такой жалобе — за редчайшим исключением — не был дан ход.

Одним словом, «сливали» Саакашвили таким образом, чтобы «слив» не стал необратимым и у новых властей не возникли бы сомнения в стратегическом курсе Грузии на интеграцию с Западом и на партнерство с НАТО. В тот исторический момент США как бы выбирали между плохим и худшим, но в обоих случаях «своим».

Что же касается России, то она довольно индифферентно наблюдала за процессами, развивающимися в Грузии. Прошлого Иванишвили (а ранее он, как известно, был крупным российским банкиром, имевшим доступ в святая святых большого российского бизнеса) позволяло Кремлю надеяться на его будущую лояльность. Надежду эту подкрепляло также то, что Иванишвили и другие лидеры «Мечты» в своих публичных предвыборных выступлениях постоянно призывали к улучшению российско-грузинских отношений и возлагали на Саакашвили и его правительство всю ответственность за войну 08.08.08 и последующий внешнеполитический крах — дипломатическое признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Обещаниям «Грузинской мечты» улучшить отношения между Грузией и Россией поверил не только Кремль, но и массовый избиратель.

В итоге все это привело к созданию нового парламента с весьма причудливой конфигурацией. В него не попала ни одна политическая сила, настроенная более или менее лояльно по отношению к России. Эта ниша уже оказалась занята «Мечтой», которой грузинский народ был благодарен за избавление от ига навязанных извне авантюристов и готов был тогда (но не сейчас) прощать ей

решительно все. «Мечта» составила парламентское большинство. Однако и проигравшее «Национальное движение» получило 40 процентов голосов избирателей и не только не отправилось под суд, но получило парламентский зонтик и возделенную депутатскую неприкосновенность. О том, что эти проценты образовались в результате приписок Центризбиркома, в Грузии говорили тогда все, кому не лень. Десятки лишних депутатских мест, подаренные «Националам», были, в частности, призваны ублажить западные посольства... Но ведь после драки кулаками не машут! И вот в результате сегодня, почти три года спустя, у нас в стране такая официальная парламентская «оппозиция», какая есть...

Управление из-за кулис

Итак, страна вручила власть известному олигарху-филантропу Бидзине Иванишвили, который в некий критический момент прекратил поддерживать правящий режим и бросил свои несметные финансы на создание собственной оппозиционной политической партии, а позже межпартийной коалиции «Грузинская мечта». Ныне считается, что Иванишвили своевременно выступил в роли чуть ли не Спасителя и избавил грузин от профашистского «Национального движения» и его неуравновешенного лидера.

Впрочем, не прошло еще и года, как «спаситель» официально сложил с себя обязанности премьер-министра и тем самым снял со своих плеч львиную долю ответственности за настоящее и будущее страны. А ведь на выборах доверчивый народ вручил власть ему и только ему, а не каким-то там «партиям» и крутившемуся вокруг сонму временщиков и подставных лиц. Самое смешное при этом, что вся полнота реальной власти как была, так и осталась в руках Иванишвили, без согласования с которым не принимается ни одно серьезное решение. Однако он более ни за что официально не отвечает. Так в современном и настырно стремящемся в Европейский союз государстве, вопреки всем известным ранее мировым политическим канонам, возникла совершенно уникальная и, пожалуй, невиданная ранее (по крайней мере, в относительно развитых и претендующих на демократию странах) модель государственного управления — некая «секретная» полумонархия. Ее реального правителя как бы нет на сцене. Он предпочитает управлять из-за кулис «по своим понятиям» на основе довольно широкого общественного консенсуса. В рамках традиционной политики такую модель управления, при котором государством руководит неофициальное лицо, невозможно ни оправдать, ни объяснить (впрочем, Грузия видала и не такое: в конце концов, после государственного переворота 1991 года и до воцарения Шеварднадзе она несколько лет находилась под управлением откровенных уголовников).

Мне довольно трудно навскидку припомнить какую-либо аналогию такому правлению. Разве что приходит на ум Ливия времен Каддафи, который тоже не занимал официальных постов в Джамахирии и объявлял себя лишь лидером ливийской революции. Однако Каддафи, как ни крути, был человеком публичным и амбициозным диктатором, чуть ли не со школьной парты настроенным на арабский национализм и свержение монархии, как и полагалось тогда молодому ливийскому офицеру. Ничего подобного об Иванишвили сказать нельзя, и трагичная судьба Каддафи, надеюсь, в перспективе грузинскому кулуарному лидеру не грозит. Народ в своей массе по-прежнему почитает его за избавителя от засланных извне казачков-фанатиков. Ну а если он покинул свой

высокий пост — это, в конце концов, частное дело и личный выбор бизнесмена, имевшего «по понятиям» право на такой шаг. Другое дело, что он, конечно, никуда не уходил, и это прекрасно понимают все вменяемые граждане. И все же вряд ли стоит говорить о диктатуре и авторитаризме. Истинный банкир Иванишвили предпочитает тихие методы и кулуарное «ручное» управление, и такой подход, как ни странно, пока работает. Правда, я не вполне уверен, что это надолго. Грузия настолько уникальна, что общепринятые политические законы в ней не действуют. Поэтому не исключаю, что за их нарушение стране и обществу рано или поздно придется в какой-то форме заплатить.

С уходом Иванишвили его команда все чаще стала испытывать приступы растерянности. Довольно быстро выяснилось, что в «Грузинской мечте» явно не хватает ярких лидеров и сколь-либо независимых личностей. В качестве основной политической стратегии коалиция избрала курс на «кохабитацию» (сотрудничество) с «Национальным движением» внутри парламента и в рамках этого сотрудничества громогласно обвиняет оппонентов во всевозможных грехах. Очень удобно сваливать свои собственные непотребства, ошибки и просчеты на постоянных «мальчиков для битья». Столь зыбкое парламентское равновесие устраивает депутатский корпус в целом, по крайней мере, до поры до времени, до следующих выборов. Ну а в вопросах внешней политики всем парламентским фракциям остается лишь соревноваться друг с другом в прозападной и проамериканской риторике.

Таким образом, парламентская власть в стране поделена между «Грузинской мечтой» и «Национальным движением». Так было задумано с самого начала. Заокеанские кураторы Грузии как при Саакашвили, так и при Иванишвили поставили целью выстроить в Грузии двухпартийную систему управления по образу и подобию американской. В идеале коалиция «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» должны попеременно сменять друг друга, и в их «братский спор между собою» не сможет вмешаться никакая третья сила, пусть даже исходящая из реальных национальных интересов Грузии и получившая поддержку большинства населения. Ничего удивительного или нового в таком подходе нет — от «крестных отцов» грузинской политики иного и не следовало ожидать. Ведь как раз в таком разделении властей и состоит смысл проводимой правительством «Грузинской мечты» политики «кохабитации», подразумевающей и неизменность прозападного курса, и поиск оптимального числа «козлов отпущения», и продолжение активной деятельности Саакашвили за пределами Грузии.

Правда, для создания столь легко управляемой двухпартийной системы ее конструкторам придется расчистить политическое поле настолько, чтобы прекратила существование внесистемная оппозиция, уже сегодня оттягивающая на себя около трети потенциальных голосов. В то же время, как показывают последние социологические опросы (пусть и ненадежные, проводимые весьма заинтересованными зарубежными организациями), рейтинг правящей «Мечты» за последние полгода сильно упал. Типичный грузинский избиратель терпеть не может «Националов» и все менее склонен доверять «Грузинской мечте». По его мнению, навязанная стране политика «кохабитации», то есть симбиоза изначально враждебных сил, почти ничего в его жизни не изменила, а если и изменила, то к худшему. Сейчас никто не рискнул бы гарантировать «Мечте» честную победу на предстоящих выборах 2016-го, несмотря на все миллиарды Иванишвили.

Но поскольку заокеанские спонсоры не собираются отказываться от действующей в Грузии двухпартийной модели, которая обеспечивает США

геополитический перевес в регионе, то все чаще и чаще из гуши народной слышатся ропот и разговоры о том, что реальным правителем страны является не ее «спаситель» достославный Бидзина Иванишвили, а всемогущий посол США в Грузии г-н Норланд. Одновременно усиливаются, с одной стороны, призывы к Иванишвили вернуться в публичную политику и официально взять бразды правления в собственные руки, а с другой — опасения, что в Грузии исподволь готовится почва для реабилитации Саакашвили и предпринимаются подковерные меры по его возвращению в Грузию на белом коне в случае, если «Мечта» потерпит неудачу на будущих выборах.

Кстати, я не узрел бы в таком варианте ничего невозможного. Беспринципная и последовательная «кохабитация» увеличила шансы возвращения Саакашвили к власти. Не будь «кохабитации», в недрах грузинского общества, скорее всего, уже давно бы родилась некая массовая объединенная «третья сила» как альтернатива парламентским партиям. Об этом говорят итоги упомянутых выше социологических опросов — всего за год количество сторонников вступления Грузии в Евразийский союз увеличилось более чем вдвое — с 14 процентов до 31 процента. И это в условиях, когда отношения с Россией остаются никуда-шными, территориальная целостность страны по-прежнему порушена, от приемлемого для себя решения этой проблемы Грузия отстоит далеко как никогда, а Путин нашему руководству еще ничего даже не предлагал.

Но пока о «третьей силе» можно лишь мечтать, и мы имеем то, что имеем. Правительство «Мечты» не выполняет и десятой доли предвыборных обещаний и может похвастаться только двумя бесспорными достижениями: в стране стали на деле соблюдаться базовые права человека и люди перестали бояться обращения к врачу, поскольку система медицинского страхования заработала более или менее эффективно. Сказалось, что Иванишвили поставил руководить грузинским здравоохранением медика, а не очередного «эффективного менеджера». В сфере управления наукой и культурой ничего подобного, увы, не наблюдается. И сегодня Грузия — это страна с постепенно падающим жизненным уровнем, слабой экономикой и заметно полегчавшей после ухода Саакашвили (почти на четверть) национальной валютой. Это государство, выживающее очень нелегко, со скрипом, и достигшее ныне высшей стадии «феодальной демократии», управляемой из-за кулис. Это бедная страна, где безработица зашкаливает за критические пределы, но грузины — народ жизнерадостный, экономически активный, и черных «джипов» на улицах Тбилиси неожиданно много, поскольку разница в доходах «верхней сотни» и широких народных масс впечатляюще постыдна. Но чего же другого ожидать, если все мало-мальские принципиальные экономические решения правительство «Мечты» принимает исключительно в интересах крупного капитала?

А меж тем уставший народ голосует ногами: согласно недавней переписи, население Грузии за четверть века уменьшилось на миллион с лишним... Уезжают! Но ведь кто-то же должен оставаться, кому-то ведь придется вытягивать страну.

Одним словом, Грузия — как всегда — на распутье...

Георгий Нижарадзе

На пути к Европе

С грузинского. Перевод Динары Кондахсазовой

Times they are a-changing...

Bob Dylan

Вступление

С культурологической точки зрения Европа и Азия, Восток и Запад — понятия весьма условные и обобщенные. Если мы сравним, скажем, шведскую и греческую или японскую и иранскую культуры, то обнаружим не меньше количественных и качественных различий, чем между шведской и японской. Очевидно, что швед и грек — европейцы, а японец и иранец — азиаты, и с этой точки зрения основополагающим является не культурный, а географический фактор.

Несмотря на невозможность четко обозначить «чисто» азиатскую или европейскую культуры, научные исследования свидетельствуют, что некоторые ценности, взгляды, поведенческие стереотипы в европейских культурах встречаются чаще или же в иных ипостасях, нежели в азиатских, и наоборот. Но культуры достаточно быстро видоизменяются, и порой в исторических масштабах. Сто лет назад трудно было представить, что азиаты-японцы превзойдут швейцарцев в столь исключительно «европейских» качествах, как пунктуальность и умение ценить время.

Так что географическое расположение, разумеется, весьма важно, но не судьбоносно; и поэтому посмотрим с этой точки зрения на нашу евразийскую страну. Определение «евразийская», по всей видимости, не удивит ни одного грузина. Но у термина есть и научное обоснование: в ряде широкомасштабных культурологических исследований культурный профиль Грузии был самым «западным» среди восточных стран (например, в таких измерениях, как индивидуализм, рациональность, гендерное равенство и др.) и самым «восточным» — среди европейских (вместе с Болгарией и Россией).

Понятно, что в период независимости в грузинском обществе произошли и происходят весьма серьезные изменения. Хочу подчеркнуть, что большая часть

Нижарадзе Георгий — известный грузинский социопсихолог. Публикации в «Дружбе народов»: «Мы — грузины. Полемические заметки по поводу некоторых социально-психологических аспектов грузинской культуры» (№ 10, 1999); «Грузия: конец номенклатурной эпохи» (№ 3, 2004); «Лэптоп и крест» (№ 2, 2010).

этих изменений происходит в «западном направлении», чему способствуют несколько факторов — рыночная экономика, объявленный всеми властями прозападный тренд, и основа всего этого — историческое, хотя порой и не вполне признаваемое, стремление к Европе.

Так что можно сказать, движение начато, хотя впереди еще долгий путь. По нынешнему положению в Грузии условно «западник» видит себя в Европе, а приверженец Востока — в Азии. Я попытаюсь показать те ценности, обычаи, элементы повседневности, которые более или менее едины для условного «запада» и создают западную идентичность, хотя еще не вполне разделяемую большей частью грузинского общества. А разделить, то есть осознать, придется, что, конечно же, изменит правила жизни. Но не надо этого страшиться — культурной самобытности ничто не угрожает.

«Мы» и «они»

Джентльмен — это тот, кто остается джентльменом, имея дела с неджентльменом.

«Пшекруй», польский общественно-политический журнал

В прекрасном городе Прага я стал свидетелем такой сцены. На узкой улочке с односторонним движением у молодой женщины заглох перед светофором автомобиль, и, пока машину отгоняли в сторону с помощью добровольных помощников, на дороге выстроилась внушительная вереница машин. И на протяжении всего времени вынужденной остановки никто из попавших в пробку не сигнализировал и не чиховстил попавшую в беду даму и ее родственников.

Вежливость ценится и у нас (хотя, где же она не в чести?), но, по моим наблюдениям, правила вежливости мы применяем больше по отношению к «своим», а не посторонним. Случается, конечно, что водитель уступает дорогу пешеходу или другому автомобилю, но это пока не стало всеобщей нормой. Однажды я пропустил на пешеходном переходе пару европейской наружности, у которой, видимо, был опыт жизни в Тбилиси, и растроганные мужчина и женщина так долго благодарили меня, что я не знал, куда деться от стыда.

Возмущает, когда официальное лицо обращается к тебе на «ты», указывая «твое» место. В особенности грешат этим полицейские и врачи. В медицинских учреждениях пациенты лет за шестьдесят автоматически становятся «бабулями» или «дедулями», что, конечно же, нельзя назвать образцом хорошего тона. А откровенная ненависть к команде соперника, царящая на трибунах стадионов, уж никак не сочетается с нашим гостеприимством, которым мы так гордимся. Я не говорю уже об участившихся проявлениях расизма по отношению к прибывшим к нам людям с черным цветом кожи.

Грузинская культура коллективна и ориентирована на малые группы, состоящие из людей, которые лично знакомы между собой, являются родственниками, друзьями и встречаются достаточно часто, разделяют так или иначе общие нормы и ценности, а при необходимости приходят друг другу на помощь. Добавьте сюда сотрудников, соседей, приятелей — словом, всех тех, кого можно объединить словом «свои». В результате подобной структурированности обще-

ства социальная жизнь протекает под знаком ярко выраженного «внутригруппового фаворитизма», что характерно не только для нашей культуры. «Свой» всегда и во всем безусловно прав, его следует поддерживать и защищать, даже если он совершил проступок.

Однако в постсоветский период структура «малых групп» грузинского общества постепенно распадается под воздействием двух противоположных факторов.

Один из них — сильно возросшая роль Церкви, под влиянием которой происходит становление коллективизма нового типа — «приходского», включающего в себя недифференцированную паству и стоящего над ней пастыря, обладающего непререкаемым авторитетом и неподвластного никакой критике (к теме Церкви мы еще вернемся). Второй фактор — рыночная экономика, способствующая росту индивидуализма (в скобках отмечу, что фактором усиления индивидуализма явилось широкое распространение таких высокотехнологичных «индивидуальных» устройств, как компьютер и мобильный телефон, которые пришли на смену «коллективному» телевизору и городскому телефону).

Индивидуализм ни в коей мере не следует отождествлять с эгоизмом. Напротив, с распространением индивидуалистических ценностей растет гражданская активность. Чувство принадлежности к «нашим», разумеется, не исчезает, но актуальнее становится оценка личности по ее профессиональным и нравственным качествам, а не по принадлежности к той или иной группе.

И если не случится нечто чрезвычайное, то в ближайшие десятилетия социальную жизнь Грузии будет определять обозначенная тенденция — противостояние индивидуализма и коллективизма.

Щекотливая тема — чистота

Уровень цивилизации определяется качеством канализации.

Туристская поговорка

Однажды я встретил на улице свою бывшую студентку. Оказалось, что она недавно вернулась из Австрии, где училась и жила в университетском кампусе. Когда я спросил ее о впечатлениях, она, к моему удивлению, сказала: «Австрийцы — такие грязнули...» Я не мог не поинтересоваться, чем была вызвана ее оценка, и она ответила: «Представляете, они стирают спортивную обувь в стиральной машине». Я, признаться, не сразу уловил в сказанном какую-либо логику, но позже понял, что странное заявление может объяснить глубоко укоренившееся в отечественной культуре убеждение. Девушка исходила из распространенного у нас представления о чистоте.

Логика такова: земля связана с грязью, и поэтому обувь, которая соприкасается с землей, тоже грязная, а стало быть, ей не место в стиральной машине. Другими словами, место «чистого» должно быть чистым, место «грязного» — грязным. На практике это выражается в том, что в деревнях (в основном) туалеты по сей день располагаются вне дома (как может туалет находиться в доме?!) во дворе, и их не чистят.

Это в корне расходится с «западной» житейской философией, в соответствии с которой и место, в котором скапливается грязь, должно оставаться

чистым. Это убеждение настолько там значимо, что профессия дворника считается весьма почетной, и в особенности в Австрии.

Конечно, прогресс налицо. Развитие туристического бизнеса и иные международные контакты были бы невозможны вне определенных условий, в числе которых потребности гигиены стоят на первом месте. Наш евразийский сосед, Турция, — хороший тому пример.

Весьма способствовали соблюдению чистоты мусорные баки. Правда, у нас имеется одно весьма значительное отличие от развитых стран — там контейнеры, как правило, стоят *закрытыми*. Тот, кто выбрасывает мусор, сам открывает и закрывает крышку, потому что баки настолько чисты, что к ним не противно прикасаться.

Насколько мне известно, в Западной Грузии претворяется в жизнь широкомасштабный проект проведения канализации. Не знаю, как другие, но я считаю это делом не менее значимым, чем прокладывание дорог и интернетизация страны. Хотя с выброшенными из окон окурками и мусором, оставшимся после пикников, нам еще придется долго бороться.

Время

Время... которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем.

Илья Ильф и Евгений Петров. «Золотой теленок»

В Северной Америке шутят, что пять минут американца равны одному часу мексиканца. Речь идет о промежутке времени, за который следует извиниться в случае опоздания. У нас это десять-двадцать минут, так что можно сказать, что Мексику мы опережаем, вернее, опередили. У меня давний опыт телевизионных выступлений. Так вот, лет двенадцать назад любая запись телевизионной передачи запаздывала минимум на час по разным причинам: «Ждем еще одного гостя», «Поврежден кабель», «Где же Васико?» и т. д. Теперь время запаздания сократилось до десяти-двадцати минут, что служит показателем прогресса. И все-таки в результате нашей «нормы опоздания» много времени расходуется зря, а нервы пунктуальных людей испытываются на прочность.

Взаимоотношения со временем, разумеется, выражаются не только в той или иной степени пунктуальности. Весьма значительным культурологическим параметром принято считать локус времени, или, иными словами, на что преимущественно ориентировано данное общество — на прошлое, настоящее или будущее.

Посмотрим, что подразумевает ориентация на настоящее. Известный британский зоолог Джералд Даррелл отправился в одну из стран Западной Африки, чтобы отловить редких животных для Лондонского зоопарка. Ловцы зверей вознаграждались определенным гонораром. Поначалу дела шли хорошо, но потом начался спад. Как писал Даррелл, ловцы не приступали к работе, пока у них не заканчивались выданные ранее деньги. Пока у них оставались средства на жизнь, они их тратили. Когда же деньги заканчивались, они уповали на то, что пропитание тем или иным образом найдется.

Именно подобным стилем жизни объясняют то, что многие бедные страны никак не улучшают свое положение несмотря на солидную финансовую

поддержку из-за рубежа: полученные деньги тратятся быстро и бессмысленно. Это — проявление «психологии бедности», о которой речь еще пойдет впереди.

Ориентация на прошлое понятна: у нас были мудрые предки, они раз и навсегда установили верные правила жизни, менять которые неприемлемо и опасно. В трудные моменты жизни нам следует внимательнее приглядеться к наследию отцов и дедов, которые все предусмотрели. А ведь поистине нового ничего и не происходит... Одним словом, старое порой лучше нового, а прошлое лучше настоящего и будущего. Таковы патриархальные (традиционалистские) общества.

Новое понимание времени родилось в конце Средних веков в Европе и во многом способствовало ее закату. Согласно этому пониманию, будущее не предопределено, и человеку подвластно влиять на него, поступая разумно, учитывая возможные риски и понимая, какие блага нынешние действия принесут последующим поколениям. Впечатляющий пример: по распоряжению Жана Батиста Кольбера (1619–1683), министра финансов при дворе Людовика XIV, была посажена дубовая роща в расчете на то, что дубы пойдут на древесину лет через триста. Отсюда сама собой вытекает идея обновления жизни, идея прогресса. Все новое непременно проходит испытание на практике и в случае успеха безусловно приходит на смену прошлому опыту, даже если он воспринимается как догма.

Сегодня практически в любом обществе мы наблюдаем три схематичных локуса времени, характеризующих отдельных людей, группы или целые субкультуры. Так и в Грузии. Здесь нередко встретишь тех, кто живут одним днем, а исходя из моей довольно долгой практики общения со студентами, могу сказать, что число ориентированной на будущее молодежи растет с каждым годом. Но доминирующим локусом по-прежнему остается прошлое.

В подтверждение можно привести множество примеров, но я ограничусь лишь одним — из сферы, в которой манипулирование настроением общества жизненно опасно. Задумывались ли вы о том, как часто в грузинской рекламе используется эпитет «старый»? «Вернулся старый "Боржом"», «вкус старого кофе», десятки «старых» ресторанов... Правда, и «новый» встречается, но в основном в переводных зарубежных клипах. Но «новых» кафе или ресторанов я не встречал вовсе.

Разумеется, я никого не призываю забыть старое или прошлое. Но лелею надежду, что спустя несколько лет, получив весточку от иностранного друга, в которой он интересуется, будем ли мы свободны и сможем ли встретиться через два месяца, в пятницу, в семь часов вечера, мы не улыбнемся. А если и улыбнемся, то не так, как сегодня.

Деньги

Я хотел бы жить как бедняк, но с большими деньгами.

Пабло Пикассо

Частенько приходилось слышать: «Это мне обошлось в миллион с чем-то», а это «с чем-то» способно обеспечить существование десяти семей в течение года... Когда мы перешли к национальной валюте, то вскоре из обихода исчезла

мелочь, потом вновь появилась и снова исчезла. Сдачу возвращали разве что в крупных супермаркетах и аптеках, но большинство покупателей оставляло ее у кассы. Иными словами, отношение к мелочи у нас — пренебрежительное. А вот в Америке на самых мелких денежных знаках — долларе и центе — изображены два почитаемых президента: Вашингтон и Линкольн.

В нашей культуре деньги как ценность маркированы отрицательно. Деньги — тлен, говорить о них — дурной тон. Поэтому в обиход входит эвфемизм «сумма». Работа, связанная с деньгами, торговля и коммерция считаются занятиями недостойными... Можно сказать, что деньги мы не уважаем, хотя и очень их любим.

Мастер парадоксов Оскар Уайльд заметил, что бедняки чаще богачей думают о деньгах. Наблюдение, безусловно, верное, но с одним уточнением: представители разных социальных групп думают о деньгах по-разному.

Как показали исследования, у представителей бедных слоев в разных странах наряду со значительными культурными различиями есть и общие черты. Выделю основные. Деньги нужны только для достижения сиюминутных удовольствий. Богатство понимается как обилие еды (в действительности дело обстоит иначе — среди бедных тучных людей больше, чем среди богатых). Недоверчиво-враждебное отношение к государственным структурам, особенно к полиции. Убежденность, что достатка нельзя добиться честным путем. Мечта об «упавшем с неба» богатстве (именно поэтому основную часть прибыли тотализаторам и подобным им «предприятиям» приносят бедные люди). Примат личных симпатий над деловыми взаимоотношениями. И наконец, что особенно интересно, преобладание обобщенного образа «матери» над образом «отца» (вспомним «Мать Грузию»)¹.

Глубокий анализ дал основание исследователям прийти к следующему заключению: описанные нами убеждения не являются последствием бедности. Напротив, большая часть людей, следующих этим жизненным принципам, никогда не поднимется над нищетой, живи они в Китае, Англии или Грузии. Другое дело, что в богатых странах прослойка людей, обладающих таким менталитетом, сравнительно невелика.

Американский бизнес-тренер и психолог Джим Рон (1930–2009) высказал такую мысль: если собрать все богатства мира и поровну распределить на всех жителей Земли, то вскоре богатые вновь разбогатеют, а бедные — обеднеют. Понятно, что проверить это предположение невозможно, однако научные данные по большей части подтверждают его.

А теперь разберемся в том, что происходит, когда обладатель «менталитета бедняка» неожиданно богатеет то ли криминальным путем, то ли благодаря своим исключительным способностям или получению наследства. Для обозначения такого социального типа во многих языках появляются специальные слова и выражения: нувориши («новые богатые») — во французском, «новые русские» — в русском. Как правило, они носят иронический характер и перекликаются по смыслу с грузинским выражением, дословный перевод которого — «не видевший ничего, что можно увидеть». Иными словами,

¹ Монумент в Тбилиси высотой 20 метров, стоящий на вершине холма Сололаки. Один из символов города. (Прим. переводчика)

«разбогатевший бедняк» не соответствует новому социальному статусу — с обретенным богатством обращается «по-бедняцки»: покупает мраморные хоромы, позолоченные лимузины, а на собственные дни рождения «заказывает» самых раскрученных и популярных певцов.

Нетрудно догадаться к чему я веду разговор: культура богатства в нашей стране — дефицит. Да и откуда ей взяться, если более или менее серьезные деньги появляются в Грузии в частной собственности, за редким исключением, только в советское время. Источником их были ущербная экономика и тотальная коррупция, которые способствовали обретению незаконных состояний. В таких условиях говорить о какой-либо бизнес-этике, об инвестициях и тому подобном — просто излишне.

Итак, на пути к Европе грузинским богачам надлежит изменить стиль жизни (понятно, что и беднякам это не повредит). Несколько примеров, достойных подражания, уже имеется, но это только начало, и настоящие изменения произойдут не скоро. Разбогатевший бедняк глубоко убежден, что он все знает и учиться ему нет никакой необходимости. Так что для становления культуры богатства должно смениться как минимум одно-два поколения. Это не мало, но и не слишком много. Я мечтаю застать время, когда процессы на фондовых биржах будут вызывать в нашем обществе не меньший интерес, чем очередной тур чемпионата по футболу в Бельгии, когда репутация начнет цениться больше, чем удачливость, а содержание завещаний станет иметь значение только для персонажей детективных романов.

Труд и работа

Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен.

Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным.

Клод Гельвеций

Представьте себе, эта тема кажется мне самой проблемной. В конце 1990-х годов мне довелось отправиться в командировку в Поти. В гостинице, где я остановился, проживало много арабов и пакистанцев. Оказалось, что они работают сварщиками на нефтепроводе. Я поинтересовался, почему на эту работу не нанимают грузин, ведь это обойдется дешевле. И тут я узнал новость, которая заставила меня задуматься: из более чем ста местных кандидатов только один прошел тест.

Число сто — это уже статистика. Это значит, что вы и ваша семья — не жертвы какого-то загадочного проклятия, вследствие которого сантехник, маляр и прочая братия вечно опаздывают к вам на вызов или же вовсе не являются, а явившись, работу выполняют плохо и к тому же дорого дерут, и после их ухода надо потратить несколько дней на восстановительные работы. Это всеобщая тенденция, свидетельствующая о низкой культуре труда в стране. Причем труда не только физического, но и интеллектуального. Это относится и к качеству труда, и к отношению к труду. (Пример различия этих двух определений — и японцы, и китайцы отличаются высочайшей трудоспособностью, но продукция первых намного качественнее.) Так что мне трудно представить производствен-

ную сферу, в которой грузины смогли бы создавать конкурентоспособную продукцию. Долго думал, обнародовать или нет данные о том, какое количество наших сограждан положительно относятся к постулату «хочу много денег и ничего не делать». Решил воздержаться, поскольку результаты исследования не были опубликованы. Скажу только, что процент тех, кто так думает, сравним с рейтингом патриарха.

Есть большой соблазн обвинить во всем советское прошлое. Понятно, что недооценивать этот фактор нельзя: социализм никого не подвигнул на любовь к труду. Но, может быть, стоит поискать и другие причины...

Выдающийся немецкий социолог Макс Вебер (1864–1920) в своем классическом труде «Протестантская этика и дух капитализма» связывал присущие тому или иному обществу особенности экономического поведения с доминантной религией. Так, одно из главных направлений протестантизма — кальвинизм поставил труд в ряд главнейших религиозных ценностей, а полученное добросовестным трудом богатство объявил залогом спасения в загробной жизни. По Веберу, именно эти ценности способствовали развитию таких характерных для капитализма факторов, как рациональное ведение хозяйства, бизнеса и т. п., способствовавших в итоге расцвету капитализма и индустриальной революции в протестантских странах.

У Вебера незамедлительно появились критики, полемика продолжается и сегодня. Однако, ясно одно: доминантная религия, а также церковь, которая поныне в отдельных культурах, включая грузинскую, остается одним из основных институтов социализации, оказывают огромное влияние практически на все сферы социальной жизни, в том числе и на трудовую деятельность. Примечательно, что это влияние распространяется не только на верующих, но и на атеистов. Более того, оно сохраняется даже при атеистических режимах, какими были советская власть и китайский социализм.

Попытаемся с позиций Вебера взглянуть на православную трудовую этику.

Можно ли считать случайностью, что все православные страны (за исключением Греции, о ней — ниже) оказались в социалистическом лагере? И то, что в кругу стран-участниц Варшавского договора «неправославные» ГДР, Венгрия, Чехословакия и Польша по экономическим показателям значительно опережали православные Румынию и Болгарию? Таким же было положение и в самом Советском Союзе: Прибалтика определенно опережала остальные республики¹. Не много ли совпадений?

¹ В действительности, успехи прибалтийских республик объяснялись тем, что «государство, определяя хозяйственные приоритеты, тем самым создавало преимущества тем республикам, в которых была велика доля производств, подпадающих под государственную протекцию. Это относится в первую очередь к Прибалтике, где главное место в народном хозяйстве принадлежало машиностроению, легкой и пищевой промышленности. В то же время, как известно, в СССР продукция добывающих отраслей поставлялась по заниженным ценам. Таким образом, произведенный национальный доход прибалтийских республик в значительной мере складывался путем присвоения части национального дохода других республик СССР, прежде всего России и Украины. С учетом данного фактора, по подсчетам латвийского экономиста Малинковского... величина присвоения этой стоимости Латвией в 1987 году составляла 22,8 процента от величины всего произведенного национального дохода республики. Выводы можно проверить и дополнить с помощью анализа межреспубликанского обмена. Например, в 1972 году Эстония ввезла товаров на 135,2 млн рублей больше, чем вывезла; Литва — на 240 млн; Латвия — на 57,1 млн рублей. С годами разрыв между ввозом и вывозом рос и в 1988 году составил уже 700 млн рублей для Эстонии, 1 млрд 530 млн рублей для Литвы и 695 млн рублей для Латвии». См. *Политов Ю.* Спасибо никто не сказал // «Известия», 20 октября 2010. <http://izvestia.ru/news/367236> (Прим. ред.)

Что касается Греции, то известно, что она в последние годы испытывает тяжелейший финансовый кризис, из-за которого ее членство в Евросоюзе оказалось под вопросом. Анализ экономических причин этого кризиса далек от моей компетенции, но хочу привести один эпизод, который, как мне кажется, ярко воспроизводит социальный фон случившегося.

В 2012 году, когда кризис уже бушевал всюду, я находился в Греции, на острове Родос. По дороге в аэропорт со мной разговаривал водитель такси, который, вероятно, продолжил беседу, начатую с кем-то из предыдущих пассажиров. Поначалу он убедился, что я не из Западной Европы, и лишь потом поделился собственными взглядами. Он считал, что поскольку Грецию приняли в Евросоюз, Запад обязан о ней заботиться. «Мы, греки, особенный народ, трудимся для того, чтобы жить, а не наоборот, как европейцы, которые живут для того, чтобы работать. К примеру, я, — заключил он, — считаю день потерянным, если вечером не натанцуюсь вдоволь».

Так может, православная этика сопротивляется продуктивному труду и развитию экономики? И если не сопротивляется, то и не способствует ему? Обратимся к аргументам.

В христианских традициях значительное место отводится *семи смертным грехам*. Один из них в западном и восточном христианстве трактуется по-разному. Грех, именуемый словом греческого происхождения *acedia*, что в переводе означает «апатия»¹, интерпретируется в православии как «уныние», а в католицизме — как «леность». Соответственно, в православных церквях, в том числе и в грузинской, «леность» не считается тяжким грехом, и нередко даже является оправдывающим аргументом («талантлив, но ленив»).

Кроме того в грузинской церковной традиции труд не рассматривается как ценность, а понимается как *способ* обеспечения физического существования. А цель физического существования — духовное совершенство. Православие больше ориентировано на слово, чем на дело. Дело воспринимается прежде всего как «духовное делание» (с этим сопряжена традиция грузинского застолья, во время которого тост — словесное выражение лояльности к разделяемым всеми ценностям — практически отождествляется с исполнением социальных обязанностей). По сравнению с материальным благополучием приоритет заботы о душе, казалось бы, не должен вызывать сомнений, но поскольку зримые итоги успехов на пути духовном не столь очевидны, как успехи на ниве физического или интеллектуального труда, то это дает возможность оправдать неисполнение своих обязанностей или даже банальную лень «заботой о душе».

Церковь по сути своей — консервативный институт, хотя, как свидетельствует история, и в этой консервативности есть градации. Так, католическая церковь признала происходящие в мире радикальные изменения лишь тогда, когда индустриальная революция уже прошла свой пик. Папа римский Лев XIII в 1891 году опубликовал энциклику «*Regum novarum*», в которой зафиксировал официальную позицию церкви по отношению к частной собственности, социальным конфликтам, справедливому вознаграждению, к допустимым формам протеста и иным понятиям, уже сформировавшимся в социальной сфере жизни

¹ «Краткий оксфордский словарь христианской церкви» определяет *acedia* как «состояние беспокойства и неспособности работать или молиться». См. *The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church*. Ed. E. A. Livingstone. Oxford University Press, 2006. <http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t95.e35> (Прим. ред.)

общества. Русская православная церковь сходный документ приняла лишь в 2000 году. Насколько мне известно, к этому же времени относится начало разработки чего-то подобного и в Грузинской церкви, но пока дело не сдвинулось дальше обсуждения, что само по себе уже свидетельствует об отношении к этому вопросу.

Наверное, мы не ошибемся, если предположим, что «невнимание» к социальной политике обусловлено одним из основополагающих постулатов православных церквей, в том числе и грузинской. Это убеждение в том, что они наиболее точно по сравнению с другими христианскими церквями и течениями соблюдают решения первых соборов, которые непреложны и не подлежат изменениям. В этой традиции социальные и технологические изменения, произошедшие за последние двадцать веков, не воспринимаются как существенные, природа и назначение человека представляются прежними, а вектор времени направлен в прошлое. Ревизия догматического учения воспринимается как бесспорная опасность. Соответственно, при общении с паствой православный священнослужитель предпочитает раннехристианскую простоту, апеллирует к незамысловатым сюжетам с понятными персонажами. Трудящийся человек в основном отождествляется с земледельцем или ремесленником, для которых работа — лишь средство к существованию.

Одним словом, для того чтобы повысить культуру труда и усилить ее мотивирующую составляющую, нам не следует ждать импульсов от церкви, необходимо искать иные источники развития — использовать потенциал рыночной экономики и новые методы воспитания молодежи. Иных возможностей я пока назвать не смогу, так как уже указывал, что эта сфера представляется мне наиболее проблемной.

Рамки статьи ограничивают рассмотрение областей, которые требуют изменения отношения общества и стереотипов поведения в XXI веке. А их немало: экология, богословие, толерантность, гендерные вопросы, здравоохранение... Ну что ж, ограничусь вышесказанным, тем более, что уверен — начатые изменения в рассмотренных выше сферах будут влиять и на остальные аспекты общественной жизни. Но прежде чем поставить точку, хочу отметить: я не любитель дидактики и вовсе не хочу, чтобы этот текст был воспринят как некое поучение. Более того, я не считаю, что «западные» жизненные устои во всем и всегда правильнее и нравственнее тех, что присущи нашему обществу. Как известно, у всего на свете существуют своя «обратная сторона» и своя цена. И именно эту цену нам следует постичь, чтобы европейское сообщество приняло нас как «своих», как равноправных членов, а не использовало бы в качестве мелкой разменной монеты в геополитической игре.

Лев Аннинский

Излучение Кавказа

Восемьсот с лишним страниц изрядного формата. Несметное количество иллюстраций. Глиняные фигурки богинь шестого века до нашей эры и портреты людей, работающих в разных концах и на всех уровнях современной материальной и духовной культуры. Глоссарий: около тысячи терминов. Библиографический список — вдвое больше. Огромный, плотный, научно выверенный текст вмещает историю народа, внесшего уникальный вклад в мировую культуру, — как сказано в первой фразе «Введения», «одного из древнейших автохтонных народов Кавказа».

При слове «Кавказ» — цепочка ассоциаций. Куда причалил Ноев ковчег? Где орел клевал печень Прометею? Да, во все времена Кавказ — одно из самых драматичных мест земного шара. Народы соприкасаются на кавказских путях, части света меряются влияниями. Тысячи и тысячи погибших упокоены тут же, в ущельях.

И этот томище — один из огромной серии, выпускаемой под титулом «Народы и культуры». Вышло 25 выпусков: от «Русских», датированных 1997-м (и потом переизданных в переработанном виде), до... если опираться на алфавит — от «Абхазов» до «Якутов».

Не знаю, у кого достанет силы сразу полностью освоить грузинский том, вышедший только что. Это создано для многократного и выборочного чтения... Я приведу названия глав, чтобы читатель почувствовал захват и охват: «Этническая и политическая история» — «Письмен-

ная культура» — «Материальная культура» (тут особенно впечатляет раздел «Оружие») — «Хозяйство» (тут неиссякаемое «Виноделие») — «Промыслы и ремесла» — «Семья и семейный быт» — «Общественный быт и экономические отношения» — «Религиозные представления» — «Духовная культура» («Фольклор», «Народная музыка», «Народная медицина») — «Профессиональная культура» («Литература», «Изо», «Театр», «Кино») — «Грузинские диаспоры» (тут моему сердцу ближе всего раздел «Грузины России»).

Вообще-то у них хватало напастей и без нашего брата. «Положение на месте слияния западной и восточной цивилизаций, с одной стороны, было выгодно с точки зрения восприятия различных культурных традиций, однако это представляло важный фактор, направленный против консолидации страны, поскольку на этой территории сталкивались политико-стратегические интересы великих империй». Кто только не рвал эту страну на части! То монголы, то персы, то турки... И Тамерлан тут как тут, и Шах Аббас...

Я давно привык к мысли, что Георгиевский трактат прекратил эти мучения, и что союз русских и грузин обозначил торжество нерушимости нашей дружбы... Да вот начало этого великого контакта несколько охладило мой пыл (при чтении тома). Знаете, что началось, когда Александр Первый объявил Картли-Кахетинское царство губернией России? Да имперское обалдение российских властей! Переселение донских казаков в долину Ингури! Тысячи русских мужиков, беглых крестьян, отставных военных, всяких сектантов, властям надоевших... И еще немцев, чехов, армян...

Как должны были терпеть это наше-

«Грузины». — Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН; Национальная академия наук Грузии; Комиссия по истории, археологии и этнологии НАН Грузии. — М.: Изд-во «Наука», 2015.

ствие исконные жители — грузины? Да вот терпели. Искренняя вековая дружба русских и грузин, скрепленная кровью, вовсе не была на протяжении веков такой уж безоблачной. И послесоветские проблемы времен Звиада и «Мишико» — у всех нас на памяти.

А все-таки взаимотяга русских и грузин из самой глубины исторических судеб держала нас вместе. Кто увенчал красным знаменем обреченный берлинский рейхстаг? Сейчас историки высветили этот вопрос: знамен-дублей было приготовлено несколько, и боевых групп, прорывавшихся на крышу рейхстага, несколько. Но в памяти народа на первом месте оказались два имени. Егоров и Кантария. Потому что боевая связь русских и грузин воспринималась как бытийно-выстраданная.

И без Сталина тут не обойтись. Хотя, по мнению его дочери (и историков, внимавших в вопрос), этому урожденному грузину куда ближе и дороже была советская интернациональная мощь плюс русская двужилость. Он и вошел в Историю как фигура мирового, а не национального масштаба. Хотя где-то в Гори продолжают лелеять о нем чисто национальную память. То и другое рядом: слава и низвержение его — события мирового, всемирного, земшарного прицела, и тут же — мистически сохранявшийся грузинский окрас... Вплоть до акцента. И одно другому не мешает. Не странно ли? Все-человеческая роль должна бы стереть черты этнического облика — не стерла!

Грузинская верность — тысячелетнему преемству! Вплоть до алфавита! Обычаи хранятся и в семьях, и в общинах, и при дворах. Уж тут-то бы и замкнуться культуре, отгородившись от мировых поветрий! Нет... «Витязь в тигровой шкуре» продолжает пленять людей нового времени, хотя грузинские фамилии гуляют на мировых поприщах.

Русская драма нелегка. Но сквозь все ее низвержения и вознесения — неизменна наша взаимотяга. Подтверждена — Пастернаком и Мандельштамом (сравнившим Грузию со спасительно-тихой Швейцарией), Евтушенко и Ахмадулиной (подарившей нам пленительные «Сны о Грузии»).

Завершу пробег по энциклопедии «Грузины» ссылкой на сферу, к которой давно привержен: это кинематограф.

«Грузинское кино одно из самых старых в мире, с самого начала и до сегодняшнего дня представляет собой признанный в мире феномен, со своими темами, со своим неповторимым лицом. Среди самых строгих опросов в списках шедевров мы находим немало грузинских фильмов или фильмов, сделанных грузинами. Они получали высшие награды на наиболее престижных международных фестивалях, от Канн до Торонто...»

Возвращаюсь под родные осины.

Во времена немого кино в Грузии снял фильм «Соль Сванетии» молодой Михаил Калатозов. Две эпохи спустя, во времена взлета послевоенного кинематографа он снял на «Мосфильме» фильм «Летят журавли» — и принес советскому киноискусству единственную, так и оставшуюся уникальной «Золотую пальмовую ветвь» (1958).

Еще имена?

Кто в те же послевоенные, постсталинские годы стал одним из провозвестников нового, обновленного кинематографа, в котором с потрясающей силой выразило себя поколение, окрещенное потом «шестидесятниками»?

Марлен Хуциев.

Еще есть кого вспомнить:

«Великий грузинский режиссер армянского происхождения Сергей Параджанов сказал совершенно новое слово в кино. Он вернулся в родной Тбилиси из Киева, чтобы снять здесь свои шедевры...»

Еще?

Начиная с «Листопада» (дебют 1966 года) Отар Иоселиани создал все свои следующие шедевры во Франции, где и получил в 2013 году «Золотого леопарда» за «Вклад в киноискусство» (мировое). Оставаясь при этом грузином в жизни и на экране.

Один французский кинокритик высказался о грузинском вкладе в мировое кино так:

«Как в столь маленькой стране могла быть представлена столь разнообразная палитра создателей, стилей и тем?»

Ответ на этот вопрос — в томе «Грузины». На восьмистах его страницах.

Авторов не перечисляю: их около семидесяти.

Имена ответственных редакторов тома назову, их трое: Л. К. Бериашвили, Л. Ш. Меликишвили, Л. Т. Соловьева.

Искренняя им всем благодарность!

Наталия Соколовская

Великий подвиг книги

«Вепхисткаосани» Шота Руставели — один из самых известных, но *непрочитанных* памятников мировой литературы. Поэтические переложения поэмы *Вепхисткаосани*, которую на русском языке принято называть «Витязь в тигровой шкуре», — плод титанического труда переводчиков, но любой из переводов лишь до известной степени передал бездонность текста Руставели. И то обстоятельство, что многие крайне важные смыслы невозможно было сохранить и, следовательно, откомментировать, подвигло издателей на публикацию прозаического перевода Соломона Иорданишвили. Узнать и понять *подлинную историю* ушедшего в схиму воина, облаченного в тигровую шкуру, — узнать и понять историю *Вепхисткаосани* — помогают комментарии, которые отсутствовали в предыдущих русскоязычных изданиях.

Издание, впервые сопровождаемое научным комментарием профессора, доктора филологических наук Нестан Сулава (перевод с грузинского Иринэ Модебадзе), было осуществлено в 2007 году издательством «Вита Нова» (в основу лег перевод С. Иорданишвили, сделанный в 1933 году и опубликованный в 1966 году под редакцией специальной комиссии в составе Ш.Апхаидзе, Л.Каландадзе, М.Заверина и А.Беставашвили). Поэма была проиллюстрирована заслуженным художником Грузии Лореттой Абашидзе-Шенгелия. Однако ограниченный тираж и цена сразу же сделали книгу раритетом. Поэтому возникло решение выпустить недорогое демократичное издание, которое было

бы доступно массовому читателю, попало бы в библиотеки, вузы и школы.

И вот в 2015 году издательство «Симпозиум» выпустило книгу под названием: «Шота Руставели. Вепхисткаосани (Витязь в тигровой шкуре). *Подлинная история*». Осуществить этот проект помог президент грузинской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Бадри Какабадзе. Вот что сказал на презентации директор издательства Александр Конов: «Смысл издания — чтобы все "разобрать на детали" и чтобы эти детали можно было рассмотреть, вникнуть в них. И понять то, что невозможно понять в поэтических переводах. Мы, рассмотрев эти детали, поймем, почему эта книга занимает такое место в грузинской культуре и почему уже на протяжении почти столетия с переводом и с осмыслением этой книги "носятся", в хорошем смысле слова, представители русской культуры, и этот процесс никогда не закончится».

Насквозь пронизанная библейскими аллюзиями, эта поэма, созданная в конце XII века, менее всего — восточная сказка или средневековый рыцарский роман. Точно так же как страсти носящего тигровую шкуру Таризла не столько обязательный жанровый элемент повествования, сколько мучительное продвижение души к вечной Любви, Мудрости и Гармонии: для того нам и дарована жизнь, чтобы «влииться в сонм высшего уклада». Комментированное издание поэмы объясняет, почему на родине Руставели ее называют «Грузинской библией».

В статье Нестан Сулава, предваряющей комментарии, раскрыты вещи, несомненно важные для понимания поэмы. Остановимся, например, на пояснениях к девятой строфе поэмы, где речь идет об истории ее создания — «*персидском сказании, переложенном на речь грузинскую*». Оп-

Шота Руставели. «Вепхисткаосани» («Витязь в тигровой шкуре»): Подлинная история. Подстрочный перевод с грузинского Соломона Иорданишвили. Комментарий Н.Сулава. — СПб.: «Симпозиум», 2015.

ределение «персидское», будучи неправильно понятым, послужило поводом к серьезной научной полемике (начиная с трудов Н.Я.Марра). Упомянутое в строфе слово *спарсули* (досл. — персидский) — «персидское сказание» вызвало множество толкований. Первый издатель поэмы — просвещенный правитель и сам поэт — царь Картли Вахтанг VI, комментируя эту строфу, отмечал, что в Персии эта история не обнаруживается, а значит, Руставели сам ее придумал. Мнение такого знатока персидского языка и литературы, каким был Вахтанг VI, несомненно, заслуживает доверия. Но, несмотря на его комментарий, содержание этой строфы было понято неверно. Слово «персидское» в данном контексте означает не заимствование персидского сюжета, но понятие гораздо более широкое, а строфа в целом выражает авторскую концепцию. История, сюжет, фабула, которые составили основу поэмы, — не являлись христианскими и именно поэтому упоминаются как «персидские», т.е., *нехристианские*. «Переложив на речь грузинскую» — следует понимать как *христианизировав*. Таким образом, «персидское», равно как и «грузинское», выступают в качестве объемных понятий-терминов, выражающих как художественно-эстетическую, политико-идеологическую, культурную, философскую, так и мировоззренческую позицию Руставели. Ведь то, что было «персидским», преобразилось в «грузинское», и в этом заключен глубокий символический смысл. Именно в этих терминах обозначил Руставели воссозданное в поэме качественное преобразование старого («ветхого»), *нехристианского* мира в новый — христианский.

Особого пояснения требует и название поэмы, потому что никакого «витязя» в ее названии нет и в помине. Да и с «тигром» тоже оказалось не все просто.

В переводах поэмы (частичных) XIX века в названии присутствовало слово «барс» («Барсова кожа»). В раннем переводе К.Бальмонта (1917) тоже: «Носящий барсову шкуру». В более поздних переводах — в том числе и в более поздних изданиях перевода К.Бальмонта — в названии присутствует слово «тигр». Адекватный перевод названия был бы неблагозвучен («Барсовошкуроносец» / «Тигровошкуроносец», по типу «копыносец», или «Барсовош-

курник» / «Тигровошкурник», по типу «лучник», «конник» и др.). Поэтому ни один из имеющихся переводов названия не является точным. Ближе всех к подлиннику тот самый перевод К.Бальмонта: «Носящий барсову шкуру». Вариантом заглавия могло бы служить: «Некто в барсовой (тигровой) шкуре». Однако переводчики остановились на более соответствующем характеру и социальному статусу героя — но при этом несколько «русифицированном» — варианте «витязь». (Теоретически на месте «витязя» мог оказаться более европейский вариант — «рыцарь».)

Но что же вынес в название поэмы сам автор? Вепхисткаосани — это Таризл, один из героев поэмы. Основанием для выбора заглавия стала сложившаяся в сознании Таризла ассоциация возлюбленной с разъяренным «вепхви». Перевод этого понятия неизбежно ведет к разночтениям: *тигр, барс, леопард*. В древнегрузинской литературе под общим именем «вепхви» подразумевались как пятнистые, так и полосатые хищники. В частности, в толковом «Словаре грузинского языка», составленном в конце XVII века грузинским лексикографом С.-С.Орбелиани, приводится название жирафа как композита, составленного из двух слов: «вепхв-аклема» (досл. «барс/тигр-верблюд»), что также является свидетельством того, что «вепхви» — общее название всех пятнистых и полосатых животных.

Вепхви — это женский символ: под ним подразумевается женщина, которая должна родить наследника. Итак, Таризл сравнивает возлюбленную с разъяренным вепхви (в русских переводах традиционно — тигрицей): «Она лежала как разъяренная тигрица у расщелины скалы, с лицом громоизвергающим». «Разъяренная тигрица» — это внешнее проявление внутреннего состояния Нестан, которое со временем вытесняется символом красоты ее духовного и интеллектуального мира, и в воображении героя она предстанет уже «тигрицей прекрасной». Убив в поединке тигрицу, Таризл облачается в ее шкуру: «Оттого, что в тигрице прекрасной образ ее (Нестан-Дареджан) я провижу, Потому люблю ее (тигрицы) шкуру, делаю из нее свое платье». Следующее пояснение поступка Таризла еще больше углубляет смысл названия поэмы: шкура вепхви для Таризла — это и внешний

способ укрыться от мира, уединиться, временно «стать неузнаваемым». Ношение этого одеяния символизирует период душевных терзаний героя, осознания им своего греха (убийство сына Хорезмшаха), раскаяния и духовного очищения. Этот период показателен как время самоуглубления, ведущего к внутреннему перерождению героя в «нового человека» путем обретения духовности, т.е. подготовки духовного обновления через пещерничество (отшельничество в пещере). Причины нарушения гармонии в мире (вселенной) должны открыться *внутреннему* взору Таризла. Поэтому-то время действовать для Таризла не настанет до тех пор, пока он не «прошел пещеру» — период отшельничества, пустынь, в платоническом и библейско-агиографическом понимании. Лишь так он смог получить искомое *просветление*. Живя в пещере, в борьбе с самим собой, Таризл проживает сложный период катарсиса и достигает духовного совершенства, т.е. полностью принимает Божью волю и покоряется Провидению. Только так, пройдя путь духовного очищения, может он постичь вечные ценности и приобщиться к «мудрости замысла Всевышнего».

...Первое упоминание *Вепхисткаосани* в России принадлежит писателю-богослову митрополиту Евгению Болховитинову. В книге «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и ученом ее состоянии» (СПб., 1802) он, в частности, писал: «Сцены действий подобны Ариостовой поэме о Роланде, но красоты, оригинальность картин, естественность идей и чувствований — Оссиановы».

Первый русский частичный стихотворный перевод был осуществлен Ипполитом Бардтинским. Под заголовком «Таризель. Барсова кожа» этот перевод был опубликован в журнале «Иллюстрация» в № 6–7 за 1845 год. Подстрочник делал профессор Петербургского университета Давид Чубинашвили.

Первый русский (неполный) перевод поэмы, сделанный в XX веке, принадлежит Константину Бальмонту. Примечательно, что знакомство Бальмонта с поэмой Руставели состоялось в ее прозаическом переводе на английский язык Марджори Скотт Уордроп. Впервые перевод Бальмонта со статьей на русском, французском и английском языках издан

в Париже в 1933 году. «Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели есть Грузия... Народ, если он великий, создаст песню и выносит в лоне своем мирового поэта. Таким венценосцем в веках <...> был избранник Грузии, Шота Руставели, давший в XII веке своей родине знамя и зов — "Вепхисткаосани" — "Носящий барсову шкуру". Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю», — писал Бальмонт в предисловии к парижскому изданию поэмы.

Кроме перевода Бальмонта существуют еще четыре полных поэтических перевода на русский: Пантелеймона Петренко (при участии К. Чичинадзе) (1938), Георгия Цагарели (1937), Шалвы Нудубидзе (1941) и Николая Заболоцкого (1937, в обработке для юношества; 1957, полный перевод).

У «Вепхисткаосани» было в истории Грузии особое предназначение. Пять веков поэма передавалась изустно, кроме того, до нашего времени дошло около ста семидесяти полных или фрагментарных списков поэмы.

В 1712 году грузинский царь Вахтанг VI осуществил первое печатное издание поэмы. Именно в начале XVIII века, в тяжелейший для Грузии период персидской оккупации, эта книга сплотила вокруг себя нацию, стала краеугольным камнем национального самосознания.

Тамаз Чиладзе, автор предисловия к двум последним комментированным изданиям Руставели, написал: «Данте в «Пире» называл итальянский язык «ячменным хлебом», то есть чем-то, доступным для всех. Руставели написал свою бессмертную поэму именно таким, ясным, понятным для всех языком. Подняв на высочайшую вершину грузинский литературный язык, он превратил его в институт духовного воспитания народа, сделал основой национальной этики и морали... В мирные времена именно *книга* выводила Грузию на международную арену. И во время бедствий именно она спасала страну от гибели. Не в первый раз стало очевидным могучее воздействие «Вепхисткаосани» на всю страну, что можно расценивать как *великий подвиг книги*, которая в катастрофической обстановке осуществила идейное объединение Грузии».

Наталия Миминошвили

Грузинский текст русской литературы

Свою книгу Галина Михайловна Цурикова (1928—2009) задумала почти пятьдесят лет назад, в период недолгой «оттепели», когда можно было называть вещи своими именами и прямо указать дату убийства поэта Тициана Табидзе: 15 декабря 1937 года. Много позже это подтвердится вошедшим в настоящее издание листом из следственного дела: «Являлся активным членом национал-фашистской организации в Грузии; проводил вредительскую работу на фронте литературы и искусства... Расстрелять».

Книга Г. М. Цуриковой была сдана в набор в октябре 1969 года. Однако из подписанной в печать (только в марте 1971 года) верстки сведения о гибели поэта исчезли. Вместо них появился эвфемизм: «ушел из жизни»... Цензуре подвергся весь текст, последняя глава исчезла.

Тогда книга вышла крошечным по тем временам тиражом в пять тысяч экземпляров, быстро став библиографической редкостью. С тех пор ни на русском, ни на грузинском языках монографий о Тициане Табидзе не появлялось.

Однако до-цензурная корректура книги сохранилась в личном архиве Г. М. Цуриковой, а после ее смерти была передана родными в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Именно этот полный текст (с вкраплениями позднейшей авторской редактуры) лег в основу настоящего издания.

Г. М. Цурикова была историком литературы, критиком. В 1960-е годы работала в «Библиотеке поэта». После разгрома редакции в 1968 году была уволена. Она автор монографий о творчестве Ольги

Берггольц и Бориса Корнилова. В конце шестидесятых она начала работу над книгой о Тициане Табидзе.

За время работы Галина Михайловна стала (на всю жизнь) другом семьи Тициана. Тогда еще была жива Нина Александровна, вдова поэта. Ее голос, ее воспоминания, позже вошедшие в книгу «Радуга на рассвете» (Тбилиси, изд-во «Мерани», 1992), звучат со страниц книги, воскрешая истории дружб, связавших русскую и грузинскую поэзию. Константин Бальмонт, Осип Мандельштам, Паоло Яшвили, Андрей Белый, Сергей Есенин, Симон Чиковани, Илья Эренбург, Сергей Городецкий, Гогла Леонидзе, Николай Тихонов, Борис Пастернак...

Бесценным проводником в мир Тициана стала и его дочь, Нита. Надо подчеркнуть, что письма Бориса Пастернака, приведенные в книге, тогда хранились в личном архиве Нины Табидзе, и книга Цуриковой в 1971 году могла быть местом их первой публикации.

Многие страницы этой книги посвящены душевному и творческому родству Тициана Табидзе и Бориса Пастернака. Выброшенную цензурой главу «Пепел рассвета» Цурикова начинает цитатой из автобиографического очерка Пастернака «Люди и положения»: «Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих, вместе с судьбой Цветаевой, должна была стать самым большим моим горем». «Эти два человека» — это Тициан и его друг, «близнец», как называл его Тициан, — поэт Паоло Яшвили, ему посвящены многие страницы книги.

Галина Цурикова. Тициан Табидзе: жизнь и поэзия. — СПб.: ООО «Изд-во "Росток"», 2015.

Еще надеясь на то, что Тициан жив, Пастернак пишет Нине Табидзе в сороковых годах:

«Тициан — лицо коренное моего существования, он бог моей жизни, в греческом и мифологическом смысле. Мне кажется, я не мог бы быть таким счастливым, так любить Вас, занимать такое место во времени и ждать еще так много для себя впереди, если бы Тициан еще не предстоял мне...»

«Тициан для меня лучший образ моей собственной жизни, это мое отношение к земле и поэзии, приснившееся мне в самом счастливом сне; он для меня почти то же, что для Вас. Когда я прочел из Ваших строк, что он жив, мой долг сознаться Вам, что я не в состоянии верить этому счастью. Как раз в последние годы, и особенно военными зимами, мне показалось, и я примирился с мыслью, что я живу в большом, большом помещении, называемом миром, где его больше нет. Это совершенно видоизменило для меня действительность...» (1941)

Дружба Тициана Табидзе и Бориса Пастернака не закончилась с гибелью одного из них. Это общение, продленное через смерть. Эта потребность в Тициане постоянно звучит в письмах Пастернака к Нине Табидзе: «Милый, милый, милый друг! Вы знаете, я давно не верю в возможность того, чтобы Тициан был жив. Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы. И Ваша возродившаяся вера в то, что, быть может, мы его увидим, на минуту заразила меня. Если он в живых, он непременно вернется в мою и Вашу жизнь. Это было бы невысказанное счастье: это, именно это, а не что-нибудь другое, совершенно перевернуло бы ее для меня» (1953).

И вот горькие, провидческие, в наше настоящее обращенные строки из письма 1955 года: «Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства... Нужно как-то выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести Вам облегчение и утишить упрек и жалобу этой тени, удовлетворить

ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск. Все это делается не в письме, все это, может быть, когда-нибудь сделается. Когда в редкие, почти несуществующие моменты я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвращением начнется новая жизнь для меня, новая форма личной радости и счастья. Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотнительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, наученным таким страшным уроком ...»

...Писатели, художники, музыканты, упомянутые в этой книге, бывали в доме Тициана на Грибоедовской, 18. Сидели за овальным столом, под удивительным, сине-зелено-черным портретом работы Ладо Гудиашвили: коленопреклоненный Тициан держит на вытянутой руке блюдо с халдейскими городами. Портрет этот и сейчас можно увидеть в мемориальном Музее-квартире Тициана на Грибоедовской улице, и стол, за которым он любил работать, как прежде, стоит в столовой... Только гораздо реже, чем это было в двадцатые и тридцатые, а потом в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, собираются за ним приезжающие в Грузию русские поэты.

Книга Г.М.Цуриковой — это книга о Грузии, с которой связаны, начиная с Пушкина и Лермонтова, самые, может быть, прекрасные страницы русской поэзии. В русской литературе существует введенное В.Н.Топоровым понятие «петербургский текст». О том, что правомочно понятие «грузинский текст русской литературы», рассказывает, в том числе, и эта книга, читая которую, хочется, как сформулировал в одном из писем Борис Пастернак, «в тоске по русской культуре — вспомнить с благодарностью Тифлис и затосковать по нем именно этой тоскою».

В качестве приложения в книгу включен большой поэтический корпус. Стихи Тициана Табидзе последний раз выходили на русском языке двадцать лет назад (Автопортрет: Избранное. — СПб., 1995). Это была книга, которую мы полностью воспроизводим в настоящем издании. Она была уникальна не только благодаря вошедшим в нее стихам Тициана, никогда ранее не переводившимся на русский язык,

но и благодаря новым переводам уже известных стихотворений. Поэтому читателям представится уникальная возможность прочитать разные переводы одних и тех же стихов Тициана, приведенных в тексте Г.М.Цуриковой и в поэтическом приложении к книге.

Несколько слов необходимо сказать о книге, вышедшей в 1995 году. Удивительны и сами обстоятельства ее появления на свет.

Книга была подготовлена к печати Главной редакционной коллегией по переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии в конце 1980-х годов (предыдущая книга Тициана Табидзе в русских переводах выходила в 1967 году). Планировался двухтомник: стихи и проза. Но случился апрель 1989 года. Потом война 1991-1992 годов. Здание Коллегии находилось почти в центре боевых действий. Однако машинопись первого тома, которая так и осталась лежать на редакторском столе, уцелела.

В начале девяностых машинописный вариант привез в Петербург составитель книги, поэт Илья Дадашидзе. Книга вышла в издательстве «Всемирное слово». В

нее вошли переводы Б.Пастернака, Н.Тихонова, Н.Заболоцкого, Б.Лившица, С.Спасского, С.Ботвинника, П.Антокольского, Б.Ахмадулиной, Л.Озерова, В.Державина, Л.Мальцева, Ю.Даниэля, И.Дадашидзе, В.Леонovichа, Ю.Ряшенцева, С.Гандлевского, А.Ахундовой, А.Кушнера, Н.Соколовской и др.

Последний творческий вечер Тициана состоялся 21 марта 1937 года в Ленинграде. Эта книга Г.М.Цуриковой вышла в Петербурге, в сто двадцатую годовщину со дня рождения Тициана Табидзе и сто двадцать пятую годовщину со дня рождения Бориса Пастернака.

...Многое переменялось и в мире, и в политических отношениях между двумя странами, Россией и Грузией. И уже как-то не получается самозабвенно повторить вслед за Беллой Ахмадулиной: «Что же, дважды будем живы — двух невероятных стран речь и речь нерасторжимы, как Борис и Тициан»... Однако грузинская поэзия, грузинская культура не перестали быть для нас тем, чем были последние два века: необходимой частью русской литературы и русской культуры.

Ольга Лебёдушкина

Срез

Предыдущий сборник грузинской короткой прозы вышел в свет тридцать лет назад. (Современный грузинский рассказ. — М.: Изд-во «Известия», 1985, серия «Биб-

лиотека "Дружбы народов".) По тем временам это было событие вполне рядовое, хотя и заметное. Советская интеллигенция ценила грузинское вино, грузинское кино и грузинскую литературу. Не зная прозу Отара Чиладзе в среде людей читающих считалось дурным тоном. Нодара Думбадзе изучали в школе.

За эти три десятилетия грузинское вино

За хребтом Кавказа: Современный грузинский рассказ. — М.: Редакция журнала «Дружба народов»; Изд-во «Культурная революция», 2014.

разрешал и запрещал Роспотребнадзор, грузинское кино не единожды претендовало на «Оскара». А еще были две войны и самодельные значки «Я — грузин».

Все это время грузинская литература постепенно уходила из поля русского языка и поля зрения русского читателя. Ушла бы совсем, если бы не публикации «толстых» журналов с их, впрочем, неуклонно сужающейся аудиторией.

В этом отношении сборник «За хребтом Кавказа. Современный грузинский рассказ» — подарок для читателя, который успел по грузинской литературе соскучиться. Правда, этого же читателя при знакомстве с книгой ожидает ощущение, близкое к шоковому.

Говоря «грузинская литература», я имею в виду прежде всего устойчивый комплекс читательских ожиданий. За что советский читатель эту литературу любил? Прежде всего, за то, что по сравнению с официально публикуемой литературой на русском языке, даже очень хорошей, в ней было больше свободы. Негласная «квота» на экзистенциализм, неомифологизм и магический реализм никак не обсуждалась или маскировалась под эвфемизмами вроде «национального своеобразия» или «богатых культурных традиций», но все знали: у грузинской и армянской литературы она точно есть, потому и тянулись к книгам Отара Чиладзе или Гранта Матевосяна. Это вовсе не значило, что книги, переведенные с грузинского и армянского, служили своего рода интеллектуальным «импортозамещением» в ситуации, когда Маркеса на всех не хватало. Ни о вторичности, ни о культурном эрзаце здесь говорить не приходится. Читатель ждал и получал переводную прозу мирового уровня, и для этого не нужно было пробивать брешь в «железном занавесе».

Эта ностальгическая нота присутствует и в настоящем издании: книгу открывает абсолютно канонический в плане прежних ожиданий рассказ Джемала Карчхадзе «Цветок магнолии, или Кончина бабушки Анны». Обряд деревенских похорон описан буквально покaдрово, так что проза сама собой превращается в воображаемый кинематограф. Последний рассказ сборника — «Тур-вожак» Отиа Иоселиани, современная грузинская клас-

сика, единственный текст, объединяющий две книги, между которыми 30 лет. Дух и настроение той грузинской прозы, которая была любима ранее, напоминают о себе в рассказах Годердзи Чохели, Резо Чеишвили и Реваза Инанишвили. Но на этом с привычными надеждами на «экзистенциализм, неомифологизм, магический реализм» в их прежнем изводе приходится расстаться. Дальше читателю предстоит открывать для себя другую грузинскую литературу и другую Грузию.

Для тех, кто помнит «грузинский» номер «Дружбы народов», вышедший 11 лет назад (2004, №3), и несколько последующих публикаций журнала на протяжении последнего десятилетия, эффект неожиданности, возможно, будет меньшим. Но когда тексты разных лет оказываются собранными вместе, трудно не заметить: от былой философичности, былой медитативности и былого лиризма мало что осталось. Современный грузинский писатель, при всем разнообразии стилей и техник, представленных в книге, пишет так же, как пишут сегодня в Германии, Голландии, Франции или США, то есть экономно, динамично, ориентируясь больше на non fiction и документалистику, даже если речь о фантастике, а значит рассчитывает быть там понятым — и находит понимание, потому что многие участники сборника активно переводятся на основные европейские языки. И здесь речь уже не об ориентированности на европейские образцы, это сами европейские образцы, если иметь в виду наиболее современный и «продвинутый» уровень письма.

В этом глобальном мире у каждой национальной литературы — свое послание. Она выживет, если ей есть что сказать не только своим соотечественникам, но и всем. О чем говорит миру грузинская литература?

В первую очередь, о войне, увиденной с разных точек зрения — глазами гражданских и глазами военных.

Повесть Тамты Мелашвили «Считалка» написана, как можно догадаться, «по следам» грузино-абхазского конфликта, но написана так, что ее действие легко переносится куда угодно — в бывшую Югославию или Восточную Украину. И тут принципиально неважно, кто, с кем

и за что воюет. Когда несколько женщин, детей и стариков оказываются в почти пустой, то есть — почти вымершей деревне возле самой линии фронта, в окружении минных полей, весь ужас заключается именно в этой универсальной «легкопереносимости» и приложимости к любому месту и в любое время:

«Во дворе сидел дед Заур. Уставился куда-то и не шевелился. В замызганном костюме, собравшем весь мусор, с медалями на груди. Глянь на него. Нормальный, да! — сказала Нинцо. Так в медалях и сидит весь день. А выступает-то как!

Выступает! — сказал дед Заур. Стерва из нее растет. Оторва.

И из тебя стерва. В доме ее бабушка помирает, а она выступает...

Дедушка, сказала Нинцо, иди в дом, ты же видишь, они опять разлетались, опасно. Да ну их! — сказал дед Заур и отвернулся».

О повседневности войны в повести рассказывает тринадцатилетняя девочка, но детский взгляд воспринимает происходящее не как исключение, а как правило обыденной жизни.

«Считалка» Тамты Мелашвили и «Цветок магнолии...» Джемала Карчхадзе, вероятно, образуют смысловую ось не только книги, но и современной литературной ситуации в целом. Это столкновение древнейшего культурного уклада, с одной стороны, с реальностью войны и хаоса — с другой. При этом многовековая традиция обнаруживает свою уязвимость и хрупкость. С бабушкой Ламарой из «Считалки», наверное, попрощаются не менее торжественно и неспешно, чем с бабушкой Анной из рассказа Карчхадзе, но герои Мелашвили живут в той катастрофической реальности, где похоронить своих мертвых редко когда удастся.

Настоящая грузинская «военная проза» — повесть Гелы Чкванавы «Гладиаторы». Во многом она близка отечественной «военной прозе» последних десятилетий — «афганской» и «кавказской», от Олега Ермакова до Захара Прилепина. У Чкванавы война точно так же приобретает отчужденно-абстрактный характер, превращаясь в трагический квест, с той разницей, что стреляют и убивают «по правде», так же непонятно, каковы цели, кроме «найти и уничтожить противника», и

так же на первый план выступают ценности выживания в экстремальных условиях — еда, отдых, мужская дружба и взаимовыручка. На такой войне солдаты умирают не с именем родины или возлюбленной на устах, как в старых романтических книжках, а с ощущением нестерпимой усталости от собственного тела.

В этом отношении к войне как к абстрактному злу проза Тамты Мелашвили и Гелы Чкванавы демонстрирует неожиданное сходство таких не похожих друг на друга авторов.

Апокалиптический образ распада и разрухи, крушения всего человеческого рисует «Больной город» Шота Иаташвили — то ли дистопия, то ли невеселая социальная сатира, то ли кафкианская притча. Жители города поражены таинственной болезнью, а вместе с болезнью в городе поселились нищета, голод и насилие. В гротескных сценах городской жизни вполне угадываются постсоветские реалии начала 90-х, но от гротеска Иаташвили рукой подать до жестко реалистической картины действительности того же времени в других рассказах сборника. Жители Больного города стоят в очередях за мышинными консервами и повидлом из тараканов. Героиня рассказа «Фашист Кауперс» застает свою мать собирающей объедки в мусорном баке и понимает, почему хлеб в доме всегда заплесневелый.

«Я живу в больном городе. Здесь я родился, вырос и, по-видимому, здесь умру, ибо вырваться из больно́го города почти невозможно. Не потому, что он окружен высокими стенами с бдительной стражей на башнях, а по той простой причине, что за его пределами больные никому не нужны. Наше место только здесь», — говорит герой Иаташвили, и это еще одна ключевая тема всей книги — крушение иллюзий.

И здесь перекликаются два, казалось бы, совершенно разных и по времени написания, и по содержанию, и по стилистике рассказа о женских судьбах — «Лили» Лейлы Берошвили и «Фашист Кауперс» Джемала Мехришвили. «Лили» (опубликован в «Дружбе народов» в 1998 году) — история деревенской девушки, выросшей в нищей семье, мечтавшей о любви и погибшей, когда окончательно осознала,

что любимый ее предал, — такая советско-колхозная «Бедная Лиза», без всякого намека на сентиментальность, зато с мощной феминистской метафорой в самом начале: маленькую Лили вместо манежа держат в плетеном загончике, как зверька. «Фашист Кауперс» — тоже вроде бы частная история о разбитом сердце и одновременно вариант типичного для постсоветских литератур 90-х и 2000-х годов «романа с немцем», когда отношения с открываемым заново Западом довольно часто трансформировались в любовный сюжет. Правда, роман у Ламзиры, героини рассказа Мехришвили, получается воображаемый: подружка Нана, уехавшая в Германию в поисках лучшей доли, вместе с впечатлениями от райской жизни в Европе поделилась с Ламзирой и впечатлениями от знакомства с «истинным арийцем» Отто Кауперсом, а та заочно влюбилась — не то в не подозревающего ни о чем немца, не то в образ европейского рая («свет никогда не гаснет, и вода почти всегда есть — горячая и холодная»). Потом мечты рушатся: подружка Нана, обещавшая прислать приглашение, выходит замуж и отбывает в дальние страны, а предмет тайного обожания «женится на какой-то кроатке», потому и превращается для оскорбленной Ламзиры в «фашиста». А тем временем в Тбилиси начинаются новые времена — отключается свет, не хватает еды, нет денег на лекарства для больного отца, и Ламзире приходится идти работать к новому «хозяину жизни» Зако, а потом и вовсе против воли стать его наложницей. Позже, не выдержав унижений, Ламзира Зако убьет, но во всем, что с ней случилось, будет виноват «фашист Кауперс».

Намеренно или нет, в этом сюжете оказалась идеально закодирована история очарованности постсоветского человека западным образом жизни и европейскими ценностями, а затем — абсолютно разочарования.

Горькая усмешка по поводу собственных иллюзий постоянно окрашивает западные культурные реалии, знаки маскульта, неизбежные англицизмы в речи и прочие приметы неизбежной глобализации.

Ирония сквозит уже в том, как стыкуются название и подзаголовок в рассказе

Михо Мосулишвили «Глухомань. Новелла в стиле боп» и в монологе его персонажа:

«Эгей, браток, я же знаю, ты нас слушаешь, а что такое «дерби», не знаешь. Английское слово... Означает состязанье трехлеток и четырехлеток. Близ Лондона, в Эпсومه, происходит то, что и поныне называется именно так... именно «дерби». А на американском жаргоне это котелок, шляпа, вроде той, что носит в своих фильмах гениальный бродяга Чарли Чаплин.

Ты не кайфуешь, Захар?! А ведь какой повод для кайфа я тебе сейчас предоставлю».

Иронически остранными смотрятся и истории из жизни вполне космополитичной богемной молодежи у молодой писательницы Нестан Квиникадзе («Вращение диска, Аполло Парнаус и Джексон», «Young Writer», «Lee»).

Впрочем, именно такой иронический взгляд делает новую грузинскую прозу еще более европейской по своей стилистике и ментальности.

Такая «глобализация» стилистики при сохранении уникальности национального опыта становится общей для всех постсоветских литератур. Не исключение и русская литература.

Но в сравнении с отечественной литературной ситуацией грузинская представляется более подвижной и более ориентированной на изменения. Разумеется, сборник короткой прозы не может претендовать на полное отображение всех направлений и тенденций¹. Но представление о том самом уникальном опыте, о том «меседже», который несет в себе литература, он дает. В этом отношении «За хребтом Кавказа» — это своего рода «контрольный срез».

Каковы, если коротко, его результаты?

Современный опыт, который несет в себе постсоветская литература Грузии, — тяжелый и во многом трагический. Не хотелось бы спекулировать на том, что тяжелые времена рожают литературный расцвет. Иногда так совпадает. В случае Грузии — совпало.

¹ О направлениях и тенденциях в современной грузинской литературе — в подробном обзоре И. Ратиани «Современный грузинский литературный процесс» // «Вопросы литературы» № 2 — 2015.

Гамарджоба, Сакартвело!

Рубрику ведет Лев Аннинский

«Грузия» вошла в мою жизнь обжигающим ожиданием праздника.

Своим шестилетним разумом я не сразу осознал, что это такое, поначалу меня больше околдовало то, что я полечу на самолете — впервые в жизни! Ожидание оправдалось: «Дуглас» на аэродроме, колдовство взлета, синее небо над синим морем, сухумский аэровокзал и наконец — отец, с лучезарной улыбкой появившийся из зелени парка.

«Батя! Мы прилетели!»

От него я узнал, в чем причина такого удивительного странствия. На киностудии «Мосфильм» (где отец работал в дирекции) решили в темпе снять оборонно-патриотическую ленту под названием «Два командира». Отцу поручили обеспечить темп и качество съемок, которые начались в Батуми. Он и обеспечивал. И еще сообразил, что другого такого шанса выгащить нас с матерью на Кавказ на целых два каникулярных месяца скорее всего не будет.

Как только у матери в техникуме кончился учебный год, мы полетели под сверкающее солнце юга.

Из Сухуми морем — в Батуми. Чудеса продолжаются — медузы и тюлени за бортом теплохода.

В Батуми снимаем комнату и присоединяемся жить к отцу.

Он попробовал взять меня на съемку, но быстро отказался от этой затеи: эпизоды предполагались в контексте неприступных и опасных утесов, а я лез куда не надо.

Устроились так: глава семейства с утра отбывает на съемки, мать хлопочет по быту, а я предоставлен самому себе и гуляю в обнесенном деревьями и кустами дворике.

Дворик тоже полон чудес: со мной мгновенно сдружился пес, соседские ребята-школьники принялись обучать меня грузинскому языку, я быстро научился здороваться, охотнее же всего выдаю: «чкара-чкара», что означает: «скорей-скорей».

Если отец появляется засветло — идем на пляж большой компанией. Скорей-скорей!

Нас окружают местные сослуживцы, участники съемок. Отец что-то громко рассказывает, они хохочут.

Иногда высоко в зените обнаруживается самолет, и все наблюдают его повороты, гадая, чей он: наш или турецкий.

Самое чудесное — закат. Солнце медленно падает к горизонту и тонет в

море; я жду момента, когда багровый диск коснется воды, а потом уйдет весь... И тут Батя сзади обнимает меня за голову, вздымает на высоту своего изрядного роста... и я вновь вижу — две-три секунды — верхний краешек багрового диска!

Это было такое чудо!

Но вот чудеса иссякли: съемки закончились, мы собрались в Москву.

Последние дни провели уже в Тбилиси. Посетили знаменитые места: Зеленый Мыс, Гору Давида... Уникальный фуникулер на горе.

Этот фуникулер — если встать у нижней кассы и взглянуть вверх, — зрелище незабываемое: рельсы до вершины — как натянутые стальные струны, вагончики идут навстречу друг другу и, встретившись точно посередине пути, вежливо разъезжаются по изгибам рельс — а потом катят дальше, вернувшись на свои пути.

Поездка наша завершилась. Фильм монтировали в Москве всю осень, потом зиму, весну...его завершили к лету и приготовились выпустить в свет.

Не выпустили. Началась война.

Готовую картину заложили в непроницаемый пакет и опустили на дно мосфильмовского пруда — был такой способ сохранения ценностей.

Больше того пакета никто не видел: то ли он разгерметизировался и стал водой, то ли ушел вглубь дна и стал песком.

Я фильм не вспоминал — я вспоминал отца, который ушел на фронт и пропал без вести.

Мы с матерью не верили в его гибель, продолжали ждать. Не дождались.

Поездка в Закавказье осталась в моей душе как последний, прощальный, предсмертный дар отца.

Съездить туда еще раз, увидеть море, небо, алый диск в волнах — стало моим мучительным желанием, чем-то вроде обета.

Три десятка лет я ждал такой возможности. Дождался — в 1959 году.

Я уже был журналистом, сотрудничал в «Литературной газете», занимался народами СССР и дорос наконец до командировки в Тбилиси.

Командировка была насыщенная, я записывал диалоги с грузинскими писателями, накапливал материалы к своему отчету. Не было ни секунды свободного времени. Память не давала покоя, но вырваться не удавалось. Вырвался я лишь в день отъезда и побежал к давней знакомой точке — к фуникулеру.

Подошел к нижней кассе и взглянул вверх — к вершине.

Рельсы сверкали, как натянутые струны.

Вагончики встречались и разъезжались.

Тьма замерла...

Вдруг я ощутил тепло рук — словно Батя обнял мою голову, возникши сзади.

Я почувствовал, что теряю сознание.

Схватившись за перила, удержался на ногах.

Со дна памяти запылало: скорей-скорей...и всплыло навсегда сохраненное: — Грузия, здравствуй!

Summary

Our August issue is dedicated to Georgian literature.

Poetry is presented by some chapters from the poem of the eminent poet **Dato Magradze** and pointed like a social pamphlet poem by **Zviad Ratiani** – from the generation of forty-years-old.

Masterpieces of the poets of some previous generations are presented on our **Golden Pages**.

In his novel “**A Bomb with Large Spectacles**” **Guram Odisharia** with a heavy heart shares the details of the Georgian-Abkhazian tragedy.

Quite unexpected are the collisions in the short story by **Beki Kurkhuli** about the Georgian subdivisions of UNO peacemakers in Afghanistan.

Sarcastic absurdity of **Iraklij Lomouri**’s novellas is a peculiar illustration of the times of the social collapse.

Patriarchal Georgia involved into the whirlpool of the new realities is shown in the sad short story by **Beso Solomonashvili** and the poetical “retro” by **Nugzar Shataidze**.

“DN” is the first to acquaint the Russian-speaking readers with the famous essay about Stalin by one of the most prominent Georgian writers of the XX century **Grigol Robakidze**.

The socio-psychologist **Georgij Nidgaradze** in his essay meditates on the place of Georgia between the East and the West.

Suggesting his opinion on tendencies and perspectives of the current political development in Georgia biophysicist **Georgij Lortkipanidze** shows how productive may be an unprofessional detached view.

This “detached view” is the novelty of the whole issue. At our request Russian writers connected with Georgia share their impressions and memoirs in the section titled “**Dreams about Georgia**”.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»